

Г. АНДРЕЕВ

ГОРЬКИЕ ВОДЫ

ПОСЕВ

1954

Г. АНДРЕЕВ

ГОРЬКИЕ ВОДЫ

ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ

ПОСЕВ

1954

Copyright by Author

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek, K. G. Frankfurt / Main

*Все жду, кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль.
Зевака бледный окровавит
Торцовую сухую пыль.*

*И с этого пойдет, начнется
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется
И станет горькая вода . . .*

*Вл. Ходасевич
Из сборника „Тяжелая лира“*

ОЧЕРКИ

НА СТЫКЕ ДВУХ ЭПОХ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Выход из преисподней

Одно из первых впечатлений раннего детства долго преследовало меня. По пыльным улицам города, в котором я родился и вырос, бродил древний обомшелый дедка, с пусавой шарманкой. Его незамысловатый одноногий ящик уныло выводил в наизидание нам, ребятам, еще не подозревавшим о существовании рока:

Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда...

Эта шарманочная истина запомнилась неистребимо. Вспыхнула революция, пришли годы разброда, голодовок, расстрелов, виселиц — встав на дыбы, под властной рукой неведомого возницы жизнь взвихренно рванулась и понеслась, нещадно, до смерти колотя своих седоков на бесчисленных ухабах дороги, которой еще нет конца. И ничего не оставалось, как подчиниться этой сумасбродной скачке, отдаться на волю непонятной, непостижимой судьбы.

Подхваченный сумасшедшим вихрем, во второй половине двадцатых годов я очутился в концлагере. Шарманоч-

В этих очерках нет ничего нового. Но время вырабатывает штампы и пережитое часто приобретает не только застывший, но и искаженный вид. Поэтому не мешает иногда вспомнить недавнее прошлое, — а оно во многом остается и настоящим, — в жизни, в движении. Этой задаче и подчинены очерки, которые, вероятно, лучше было бы назвать «заметками»: они написаны и в очерковом и в публицистическом жанрах и я не стремился придать им форму художественных очерков.

ный мотив и там преследовал меня. «Судьба играет человеком» — пели воры, проигравшиеся в пух и прах в карты или посаженные в карцер за воровство. Знак судьбы был написан на лицах умирающих в концлагере сотнями ни в чем неповинных людей, почему-то выбранных в жертву — кому или чему? Они умирали чаще покорно, безропотно: на ропот уже не было сил и он был бесполезен, ибо не было у людей другого утешения, как только сказать: на всё судьба!

Помня шарманочный мотив, то выбираясь на поверхность, то сбрасываемый на самый низ, в преисподнюю даже концлагерного бытия, постоянно балансируя на краю жизни и смерти и не раз чудом ускользая от костлявой старухи с косой, даже и не мирясь, в конце концов мирился и я: что ж, такова судьба! Сколько пришлось пережить непостижимых капризов этой злодейки! . . .

К сожалению, приходится еще воздерживаться от точного указания имен, мест и дат, встречающихся в очерках: лишние данные могли бы соблазнить МВД на розыск части упоминаемых мной лиц.

Всеми приходит конец и судьба иногда меняет гнев на милость. Два раза погрозив расстрелом и восемь лет протаскав по всем кругам концлагерного ада, в 1935 году судьба вызвала меня к столу освобождения Учетно-Распределительного Отдела одного из больших концлагерей.

В ожидании этого дня я долго думал, что делать дальше. За годы заключения все мои связи с волей давно прервались и было совершенно безразлично, куда ехать. Можно было взять географическую карту, закрыть глаза и ткнуть наугад пальцем: куда попаду, туда и поеду.

Работник стола освобождения, тоже заключенный, мой хороший знакомый, встретил шуткой:

— Довольно небо коптить, отпускаю на все четыре стороны! Говори, куда поедешь?

— В Москву, — неуверенно пошутил я.

— С суконным рылом в калашный ряд не пускают. Говори делом.

— А ты говори, как меня освобождают! — рассердился я.

— На общих основаниях.

Это было понятно: мне можно ехать в любое место Советского Союза, за исключением сорока одного города — Москвы, Ленинграда, всех столиц союзных республик, боль-

ших промышленных центров, и еще — двухсоткилометровой пограничной полосы. Кроме этого в России оставалось место — я выбрал маленький районный городок на юго-востоке страны.

Спустя два дня я получил документы и покинул лагерь. На мне была чистая чёрная спецовка, не очень искусно залатанные сзади брюки и не особенно рваные ботинки. Выходить на волю в истасканном лагерном обмундировании я не хотел, а ничего другого достать не мог. В кармане лежали справка об освобождении, литер на проезд и 25 рублей, подмышкой — сверток с буханкой хлеба и пятью селедками, выданными «для питания во время следования к избранному месту жительства», — с этим надо было начинать новую жизнь.

В последние годы заключения я с волнением думал о предстоявшей мне новой жизни. Сколько бы ни протестовало сознание, она всегда представлялась чудесной. Казалось, что не будет радостнее дня, чем тот, в который я выйду из лагеря. Думалось, что я буду не идти, а танцевать, что я опьянею от чувства свободы, когда, наконец, получу её. А освободившись, ничего этого я не ощутил.

Я вышел через проходные ворота, мимо последнего охранника на моем пути, не испытывая ни радости, ни подъема. С тяжелым чувством уходил я от лагеря и не раз оглядывался на длинную ограду из колючей проволоки, с вышками по углам, на ряды слепых, придавленных к земле словно тяжкой судьбой бараков. В них что-то большое оставалось от меня. Восемь лет назад вошел я в одну из таких оград юнцом, еще ничего не понимавшим в жизни. В лагере я узнал жизнь. Теперь, освободившись, я тоже был еще совсем молодым человеком, но разве я мог иметь то чувство силы, здоровья, уверенности в себе, что составляет молодость и окрыляет её? Разве не осталось это чувство за колючей оградой и разве не был на мне слишком тяжкий груз пережитого, увиденного и пережитого? Да и чему было радоваться, если я, один из миллионов, иду, наконец, вне проволоки, а за ней остаются мои друзья, знакомые, миллионы таких же, как я? Нет, причин для радости не было.

Со стесненным чувством сел в поезд. В вагоне ехала артель сезонников, с пилами, топорами, еще пассажиры — я видел их как сквозь прозрачную пелену, невидимо отделяв-

шую меня от всех. За окном проплывали леса, озера, гранитные скалы — упрямый и дикий, до мелочей знакомый северный пейзаж, — мне он казался мертвой декорацией, нарисованной на полотне. На станциях входили и выходили люди — я смотрел на них, как на экспонаты музея восковых фигур. Разве они — настоящие люди? Вот по залитому солнцем перрону бегут две молоденькие девушки в светлых платьях, они чему-то весело хохочут. Я смотрю с недоумением: как они могут смеяться? Как все эти люди могут ходить, разговаривать, смеяться, как будто в мире ничего не происходит необычного, как будто рядом с ними не стоит нечто, забываемое, как кошмар? Неужели они ничего не знают, неужели не чувствуют за собой колючей оградой и человека с винтовкой? Я был как в оцепенении, во мне будто что-то застыло и чувствовать себя так, как окружающие, я не мог.

В Ленинграде пришлось провести ночь, в ожидании поезда, на который надо было пересаживаться. До утра я проходил по улицам Северной Пальмиры, залитой неотразимым в своей нежной прелести светом белой петербургской ночи.

Невским проспектом, не спеша, прошёл к Неве. Город спал; изредка встречался одинокий прохожий, шурша, проскальзывал автомобиль. На набережной я долго смотрел, как плывут серебряные воды широкой реки, такой же призрачной, как и сам величественный и царственно-холодный город. Прорезал небо знакомый по открыткам шпиль Адмиралтейства, чернела громада Петропавловской крепости, темной дорогой перебрасывался на другой берег разводной мост. В неподвижном сне застыл град Петра, сам сон чудесный и таинственный, символ Империи. . . Спит город, — а, может, и нет его, может быть это только призрак, мираж лунный, возникший из колдовства смутной и непостижимой красы белой ночи? И я сам, околдованный этой красой, через день после выхода из преисподней, — тоже призрак? Может быть, всё это только снится мне, и сейчас раздастся грубый и хлесткий окрик: «Строиться!» — и рушится белое очарование, исчезнет мираж, а я проснусь на жестких нарах и побегу, как сумасшедший, в строй, к человеку с ружьем? . .

Рано утром на другой день я сел в поезд и поехал дальше, а к вечеру третьего дня прибыл к месту своего нового жительства.

Первые шаги

Первым делом разыскал единственную в городе гостиницу: приближалась ночь. Дежурившая в каморке у входа девица посмотрела мою бумажку об освобождении и заявила, что не может пустить меня: они дают место только людям, командированным по делам службы. Перспектива провести ночь на улице мне не понравилась, да и вообще надо было устраиваться основательнее: надо узнавать, как принимает меня новая жизнь. Подумав, я пошёл в милицию.

Заспанный дежурный милиционер немного оживился, прочитав мой документ, повертел его так и этак, и с любопытством оглядывал незнакомого пришельца. Любопытство перешло в недоумение, когда я сказал, что мне негде переночевать.

— Что же вы хотите от меня? — спросил милиционер.

— Вероятно, вы поможете мне найти место для ночлега в первые дни, пока я не устроюсь сам, — немного смущённый своей дерзостью, ответил я. Как ни как, в какой-то степени я был «казённым человеком», — для большей основательности добавил: — Я не совсем по своей воле приехал к вам.

Дежурный почесал в затылке, нерешительно сказал:

— Не знаю, чем могу помочь вам...

— Позвоните в гостиницу, пусть дадут мне место.

— А вы можете, в гостиницу? — воскликнул милиционер, должно быть обрадованный надеждой избавиться от странного посетителя.

— Почему же нет? Меня не пускают, потому что там только для командировочных.

— Не пускают? — нахмурил брови милиционер. — Я сейчас, — и решительным жестом схватил ручку телефона.

Минут через десять я располагался на койке в общежитии гостиницы. После трех суток в поезде эту ночь я проспал, как убитый, и даже лагерь не снился мне.

Утром я призадумался. В дороге я предавался неосмотрительному кутежу: покупал булочки, израсходовал десятку на пиво и колбасу, вкус которых в лагере давно забыл. У меня оставалось всего около десяти рублей, а койка стоила три рубля в сутки, надо было и питаться. Необходимо искать работу. Безработицы у нас нет и работы всем хватает, но мне,

только что вышедшему из концлагеря, в условиях «организованного набора рабочей силы», вряд ли будет легко получить работу.

Сначала, впрочем, как предписывалось справкой об освобождении, надо представиться местному начальству. Я пошёл опять в милицию, оттуда меня направили к районному уполномоченному НКВД. Молодой человек в выгнуженной военной форме встретил приветливо, попросил сесть и дружелюбно расспросил о моих прежах перед советской властью.

— Что же вы намерены делать? — участливо улыбаясь, спросил уполномоченный в конце беседы.

— Жить, работать, — неопределенно ответил я.

— К старому больше не вернетесь? — еще приветливее улыбнулся уполномоченный.

— Нет, благодарю вас, я сыт по горло, — тоже улыбаясь, показал я на бумажку об освобождении.

— Охотно верю. Что ж, желаю вам удачи в новой, трудовой жизни, — уполномоченный поднялся со стула. — Да, вас предупреждали, что лучше не распространяться о том, как вы жили, там? — спросил он.

— О, это само собой разумеется! — Я тоже встал. — Вы разрешите, у меня к вам один вопрос?

— Пожалуйста, слушаю вас?

— Я опасаясь, что у меня могут быть затруднения с поступлением на работу. Если меня не будут принимать из-за моего прошлого, могу я обратиться к вам?

— Да, да, конечно! — горячо воскликнул уполномоченный.

Ну, вот, тыл у меня обеспечен. Не плохо всё же основательно знать НКВД: мы теперь отлично понимаем друг друга. Стесняться же с ними нечего и — с паршивой овцы хоть шерсти клок, — думал я, выходя из красивого, утопавшего в зелени особняка НКВД. — А теперь мы ринемся в бой.

И я ринулся. В маленьком городке, единственной отрадой которого было то, что он стоял на берегу большой реки, насчитывалось около двадцати тысяч жителей и десятка три различных предприятий и учреждений. В нем было всё, что полагается иметь южному степному городку: маслозавод, паровая мельница, винокуренный завод, разные мастерские и артели кустарей, инвалидов; райторг и райпотребсоюз, от-

деление госбанка, финансовый отдел и статистическое бюро, другие районные учреждения — во всех этих заведениях исписывались горы бумаги. Казалось бы, в одном из них мне не трудно получить работу: в лагере, волею судьбы и против своей воли, мне пришлось выучить искусство бухгалтерии, хотя до заключения представление о канцелярии вызывало во мне дрожь отвращения. Но теперь думать о перемене специальности не приходилось, надо было поскорее устраиваться. К тому же, так уж повелось почти с начала революции, что места бухгалтеров, плановиков, учетчиков, кладовщиков дают кусок хлеба «подозрительному элементу»: на этой работе обычно спасаются бывшие белые офицеры, торговцы, сбежавшие от раскулачивания крестьяне, священники и нежелательные для власти интеллигентные люди. Не мне было изменять установившуюся традицию и избегать общую участь.

За три дня я обошел почти все городские учреждения — и нигде не получил работу. Доверия к моей бумажке об освобождении ни у кого не оказывалось. В двух-трех местах предложили наведаться через недельку, но таким тоном, что только ребенок мог не понять, что заходить к ним больше незачем. Денег у меня не оставалось ни копейки. Не было основания и идти к уполномоченному за содействием: никто не отказывал мне из-за моего прошлого, меня не принимали без объяснения причин. Я начал было впадать в уныние, но на четвертый день судьба неожиданно улыбнулась.

Главный бухгалтер лесопильного завода тоже рассмотрел мою бумажку со всех сторон, но категорического «нет» не говорил. Мне показалось, что он отнесся ко мне с сочувствием. С видом раздумья, он пошел к директору. Я ждал, немного волнуясь: директор — член партии, а это обнадеживать не могло.

Минут через пять меня позвали к директору. Им оказался совсем молодой человек, ровесник мне, небольшого роста, щуплый, в вышитой рубашке с расстегнутым воротником. Его острые глаза смотрели бойко и задорно.

Утонув в кресле за письменным столом, под портретом Сталина, директор держал мою справку об освобождении. Пригласив сесть, он сказал:

— Бумажечка-то у вас того, страшноватая. Как это вас угораздило?

Глаза директора смеялись, я тоже улыбнулся.

— Долго рассказывать. Если страшно, тогда не о чем и говорить.

— А может, я не из трусливых? — засмеялся директор. — Мне нужны работники, но только стоящие. Раз у вас такая бумажка, значит, у вас голова на плечах, — брякнул он, должно быть не сознавая, какая двусмысленность заключена в его словах. Ничего не оставалось, как только улыбнуться.

— Что вы знаете?

Я объяснил.

— А плановое дело? Нам плановик нужен.

— Нет, никогда с планами не работал, — признался я.

— Э, это чепуха, пустяк! — пренебрежительно махнул рукой директор. — Быстро познакомьтесь, вот, Иван Иванович объяснит, — кивнул он на главбуха. — У нас ничего сложного нет, пока будете только статистику вести, а потом войдете в курс. Согласны? На какой оклад вы претендуете?

Отказываться, когда чаемая работа перед тобой, было бы легкомыслием. Я сказал, что меня устроило бы так: я поступлю к ним, но не плановиком, а на любую самую малую должность и на самый малый оклад. Меня устроят даже сто рублей в месяц, только бы прожить. А через месяц, когда выяснится, способен ли я на что-нибудь, поговорим о дальнейшем.

Директор засмеялся:

— Ладно, будем посмотреть, как говорится. Согласовано: приходите завтра на работу. . .

Утром на следующий день я узнал, что директор не согласился с моим предложением: он назначил мне 250 рублей в месяц. Для начала лучшего я не мог ожидать.

«Не боги горшки лепят»: плановое дело, тем более для бывалого человека, оказалось не хитрым. Через полтора-два месяца я вполне освоился с ним, а еще месяца через два был уже заведующим плановым отделом и получал 500 рублей. Я мог только благодарить судьбу, продолжавшую пока покровительствовать мне.

Освобождение

Покровительство судьбы сказалось еще в том, что она освободила меня из концлагеря тогда, когда отгремела потрясшая страну буря первой пятилетки и «сплющенной коллективизации», уже были отменены карточки и положение в стране материально было сносным. Страшную голодовку 1932-33 годов я пережил в концлагере и мог судить о ней только по скупым рассказам жителей, неохотно вспоминавшим о голодном море и случаях людоедства. Слава Богу, я не застал того времени. При мне в магазинах городка продавались все товары первой необходимости; местные артели начали выделывать даже деликатесы: варенье, халву и другие кондитерские изделия. Окрестные колхозники, которым незадолго перед моим освобождением Сталин вынужден был разрешить иметь корову на семью, немного мелкого скота, кур и крохотный приусадебный участок, приносили на базар масло, молоко, яйца, мясо, овощи. И хотя всё это доставлялось в скудном количестве и по высоким ценам, население всё же могло не голодать. Тем более не голодал я: один, по местным условиям я получал большую зарплату, которая позволила мне постепенно даже кое-как одеться, приобрести приличный внешний вид.

Всё это очень способствовало тому, чтобы отдохнуть душевно после концлагеря. Я поселился в маленькой комнатке, в домике вдовы рабочего. При домике был по провинциальному обширный двор, густо заросший лохматой травой, которую тут называли «вениками», с кустами сирени и десятком фруктовых деревьев. На заднем дворе вдова держала козу, пять-шесть кур — они, фрукты, вязаные и моя плата за квартиру и услуги давали вдове средства к существованию. Хлопотливая старушка постоянно была занята хозяйством, неслышно и неторопливо она ходила по дому, сопровождаемая старым ленивым котом, тоже баловнем судьбы.

Вечерами я выходил во двор, ложился в траву и часами бездумно смотрел в пыльное небо, блиставшее бездной звезд. Я отходил от лагеря; наедине с шорохами травы и сиреневых кустов, с темной листвой деревьев, в тишине задумчивой южной ночи я медленно освобождался от безобразной концлагерной шкуры, постепенно вновь привыкая к вечной и незамысловатой простоте жизни.

Процесс внутреннего освобождения занял не мало времени. Я долго еще как бы с недоумением присматривался к людям и вещам, словно со стороны. Все слова и поступки казались мне неважными и несущественными, потому что во мне всё еще стоял вопрос: зачем это? Зачем, если где-то позади остается то, чего нельзя, невозможно забыть? Я не мог разделять интересы окружающих меня людей и моя жизнь резко делилась на две: на работе я старался быть, как все, но только дома, в обществе тихой старушки и молчаливых трав, сирени, звезд я чувствовал себя на своем месте.

Моя отдаленность была замечена: первое время я прослыл на заводе нелюдимым чудачком. Но мое прошлое, которое скоро стало известно на заводе, привлекало людское сочувствие. Спустя короткое время я начал его замечать во взглядах рабочих, в том, что на нашей заводской окраине незнакомые женщины, жены рабочих, приветливо кланялись при встрече. Никто ни о чем не расспрашивал меня, никто прямо не высказывал мне сочувствия, но оно угадывалось во взглядах, в тоне голоса, носилось в воздухе. И это сочувствие простых и добрых людей очень укрепляло душевно.

В городе было кино, сад, рабочий клуб, уютный и всегда пустовавший — молодежь предпочитала ему танцевальную площадку в саду или кино, в хорошо обставленном фойе которого тоже можно было танцевать. Была небольшая, но приличная библиотека, читальня при ней — и роскошные обрывы к реке, на которых вечерами можно было сидеть, забыв обо всем, спокойно-взволнованно наблюдая, как чёрный шатер бархатной ночи накрывает речную и заречную ширь. Жизнь текла мирно; служилый люд, выполнив днем положенное, по вечерам ходил друг к другу в гости, добродушно сплетничал, чаевничал, отводил душу в долгих разговорах и так же, как предки-чиновники, проводили часы за преферансом и маусом «по маленькой». События, совершавшиеся где-то далеко в центре, в Москве и в больших городах, проходили как бы мимо нашей глуши стороной, мало задевая нас, — а может быть и отскакивая от прочно сложившегося быта, во многом повторявшего старьёй добротный провинциальный быт.

Мне остается только еще раз поблагодарить судьбу за то, что она освободила меня именно в ту пору, в те короткие два-три года, когда страна медленно оправлялась от потря-

сений первого натиска «социалистического строительства» и люди на минуту вздохнули — перед новым наступлением на них власти и перед другим страшным испытанием, разразившимся через четыре-пять лет в виде губительного военного смерча. Я очень рад, что прожил тогда полтора года в тихом степном городке: простые люди, человеческие отношения, как и несложные в своей вечной красоте травы, солнце, звезды, вместе с ласковой заботливостью старушки-хозяйки с её мурлыкающим котом, сняли-таки с меня концлагерную шкуру, убедив в том, что настоящее не там, откуда я вернулся, а здесь.

Работал я добросовестно, а после того, как снял с себя концлагерное оцепенение, даже увлекся работой. Большую роль в этом сыграл директор завода Григорий Петрович Непоседов.

Непоседа Непоседов

Непоседов был незаурядным человеком. Родителей своих он не знал: отец его был убит в первую мировую войну, мать умерла в начале революции. Непоседов воспитывался в детских домах, не раз бегал из них — и всё же в 25 лет он был уже директором завода. И не потому, что был «предан партии и правительству», а потому, что был энергичным и способным человеком, которому к тому же «повезло».

Подростком Непоседов пошёл работать на электро-механический завод. Скоро стал монтером, записался в комсомол, а потом как-то попался на глаза нарктому, изредка посещавшему завод. Чем-то он произвел на наркома большое впечатление — нарком «выдвинул» молодого монтера; года через два-три Непоседов стал директором небольших мастерских, потом небольшого завода, после чего был назначен на завод, на котором мы познакомились с ним. Весь этот путь Непоседов проделал «не переводя дыхания», постоянно горя, всегда в движении — таким он был и во время моей работы с ним.

Он и ходить тихо не умел. Щуплый и маленький, он ходил по заводу так быстро, что казалось, будто он не ходит, а бежит. Тучный механик обливался потом, поспевая за директором, сменные мастера смеялись, говоря, что у директора «пропеллер вставлен». Непоседов редко сидел в каби-

нете и если нужно было подписать какие-нибудь бумаги, его надо было идти искать в конторке механика, в цехах, а то и в подвале под цехами, где проходили трансмиссии и стояли моторы станков. Там его часто можно было застать перемазанного маслом, с гаечным ключом в руках, ругающегося с машинистами и слесарями и яростно доказывающего им, что они ни черта не понимают и что делать надо так, как говорит он. Но он не смущался, если машинистам удавалось доказать свою правоту: не признаваясь в посрамлении, Непоседов немедленно переделывал так, как предлагали оппоненты. Смущался он другому: оторвав его от спора с чумазыми, как называли у нас бригаду слесарей, я извлекал директора на дневной свет и показывал на его недавно снежно-белые брюки:

— Сегодня жена вам всыпет!

— Да, будет баня, — крутил Непоседов головой, разглядывая чёрные пятна на штанах и пытаюсь вытереть их рукавом рубашки, от чего и рукав становился чёрным. — И кто только выдумал жен? — Впрочем, жену свою и двух детей Непоседов любил и был хорошим семьянином. Подписав бумаги, он забывал и о штанах и о жене и снова забирался вглубь подвала.

Вот это горение его, способность забываться в несомненно творческом напряжении без остатка, бескорыстная отдача себя целиком, были заразительны. Около Непоседова нельзя было жить, не заражаясь его энергией, он всех расталкивал, зажигал — и если ему не удавалось кого-нибудь расшевелить, о таком человеке можно было безошибочно говорить, что он либо мертв, либо так, ни рыба, ни мясо.

Недостаток образования Непоседов восполнял природной талантливостью и большой практической сметкой, что позволяло ему схватывать знания на лету. Но он был и дотошным: ему до всего хотелось докопаться самому и если он встречался с чем-нибудь непонятным, непоседливость его немедленно исчезала: он садился с книгами, чертежами и просиживал с механиком ночи до утра, заставляя механика объяснять до тех пор, пока не осиливал непонятного. После этого он ходил сияющий, еще больше уверовавший в свои силы и в силу техники и стремился немедленно претворить узнанное в практику, в жизнь.

Завод, цеха, техника были стихией Непоседова. Казалось, что к канцелярщине он должен был бы относиться с пренебрежением. Однако, это было совсем не так: меня поражала в нем едва ли не большая, чем к технике, любовь к бумажному крючкотворству. Ему нравился витиеватый, особенный стиль официальных бумаг, еще больше он ценил «подводные камни», незаметно вставленные в договоры и обязательства с нашими поставщиками и потребителями. Если, благодаря этим крючкотворским штучкам, нам удавалось клиента «обвести вокруг пальца», Непоседов был счастлив: в его лице пропадал изощренный адвокат. Движимый дотошностью, Непоседов заставил главбуха преподавать себе бухгалтерию, после чего с большим удовольствием поражал своими знаниями других бухгалтеров, обычно считающих, что директора понимают в бухгалтерии не больше, чем, как говорится, свиньи в апельсинах.

Писал Непоседов беспомощным детским почерком, с ужасающими ошибками, и малограмотности своей стыдился. Красноречием тоже не обладал, но выступать на собраниях любил. Вообще любил немного похорохориться, порисоваться: «Вот какие мы!» — но выходило это у него простодушно, без желания, из чувства превосходства, унижить и подавить себе подобных.

Непоседову нужен был грамотный человек: он постоянно был полон новыми проектами, замыслами, так как довольствоваться тем, что есть, не мог. Он рационализировал, экспериментировал, — техническую сторону своих проектов Непоседов разрабатывал и оформлял с механиком, но нужно было еще финансовое и просто бумажное оформление: писание в Москву докладных и объяснительных записок, составление расчетов, без чего ни один его проект не сдвинулся бы с места. Главбуха и технорука, людей пожилых и медлительных, Непоседов недолго любил: ему нужны были люди, быстро реагирующие на его чувства и замыслы, хотя бы это была даже отрицательная реакция, только раззадоривавшая Непоседова. Судьба и определила меня таким «грамотным человеком» к Непоседову, а то, что он скоро почувствовал, что его горение не оставляет меня равнодушным, сделало нас с течением времени друзьями.

Непоседовское горение и беспокойство никому не вредили и были доказательством только его силы и здоровья. И

вообще он, при случае любивший схитрить, слухавить, был цельным и бесхитростным человеком, с открытой и отзывчивой душой. Ближе узнав Непоседова, я убедился, что он и к партии относился своеобразно: он подчинялся распоряжениям райкома, исправно выполнял партийные нагрузки, а наедине со мной ворчал, что райком докучает ему «всякой ерундой» и «мешает работать». «Политики» он не любил. И хотя он был выдвинут партией и, казалось бы, должен был быть ей за это благодарным, никакой благодарности к партии он не питал: Непоседов словно подсознательно был убежден в том, что своего положения он добился сам и что оно как раз по нему, по его силам. А порядок, благодаря которому он добился своего положения, Непоседов считал как бы само собой разумеющимся, созданным самой жизнью: об этом он никогда не задумывался.

В те первые полтора года работы с Непоседовым, признаться, мы много накрутили и накуралесили. Мы были еще неопытными в лесном деле людьми и попали-таки впросак.

Завод был старым, с изношенным оборудованием и работал ни шатко, ни валко. Но Непоседов сумел так модернизировать оборудование, что мы подняли производительность почти вдвое и годовой план выполнили меньше, чем в восемь месяцев. Этим все были довольны: Наркомат, областные и районные организации потому, что подведомственное предприятие работает отличными темпами; рабочие были довольны повысившейся зарплатой, а мы — успехом и премиями. Непоседов чувствовал себя именинником, ходил веселый и старался поднять производительность еще выше. Мы еще нажали, а потом заметили, что сырье у нас на исходе и что, пожалуй, никто его нам больше не даст. Так и случилось: Наркомат, считая наш завод маловажным, дефицитного сырья нам не дал и приказал завод законсервировать. Мы рассчитали рабочих, уплатив им положенное выходное пособие, сами еще два месяца составляли ликвидационный отчет, потом тоже получили выходное пособие и должны были распрощаться с заводом и друг с другом. Чувствовали мы себя неловко: не прояви мы такой прыти, завод работал бы еще по крайней мере полгода, а за это время нам, может быть, удалось бы достать сырье. Теперь же остава-

лось только казнить себя и давать себе зарок не зарываться в будущем.

Непоседова отозвали в Москву, в резерв работников Наркомата, а я решил переехать в областной город.

Снова каверзы судьбы

К тому времени я уже имел все необходимые документы: паспорт, трудовую книжку, военный и профсоюзный билеты. Я стал будто бы полноправным гражданином. Поэтому я мог рассчитывать, что теперь без труда найду работу. И я переехал в большой университетский город, с намерением поступить на вечерние курсы университета, чтобы продолжить прерванное когда-то арестом образование. Днем я буду работать, вечером учиться — в моем представлении всё складывалось хорошо.

Я снял комнатку тоже в рабочей семье — хозяин с женой помещались в другой комнате, немного побольше моей, а их сын спал у меня. Подросток, он был спокойным мальчуганом и мне не мешал.

Исполненный лучших намерений, я начал искать работу. И вот тут судьба снова обернулась злодейкой: четыре месяца я проходил в поисках работы и найти её не мог.

Я обошел сотни учреждений и предприятий. Везде происходила одинаковая история. Сначала я узнавал, нужны ли в этом учреждении работники моей специальности, — обычно оказывалось, что очень нужны, так как учреждениям всегда не хватает работников. Я предлагал свои услуги, — предложение встречалось охотно, но за этим следовал процесс рассматривания моих документов и обязательный вопрос: где я работал до завода, с которого недавно уволился? Приходилось опять показывать свою справку об освобождении из концлагеря. Её читали так, как будто держали в руках готовую разорваться бомбу. Приветливый вид, с которым до этого разговаривали со мной, менялся на сухо-официальный и я слышал, что нет, они еще могут обойтись без новых работников или что они подумают, взять им меня или кого-нибудь другого. Как и в степном городке, никто мне не отказывал сразу и прямо, но никто и не принимал меня на работу.

Я мог нервничать, думать и делать всё, что угодно — ничто не могло помочь. Я понимал отказывавших мне: газеты начали наполняться воплями о бдительности, о шпионах, диверсантах, вредителях — каждый, узнав о том, что я сидел в концлагере за контрреволюцию, боялся принимать меня. Кому охота рисковать своим положением, а может быть и головой, принимая столь подозрительного и незнакомого человека, как я? Знакомых же в этом городе у меня не было, тогда как только они могли помочь мне. Я еще из концлагеря помнил поговорку: «Блат — выше совнаркома» *.

С университетом тоже ничего не вышло, да я и прекратил попытки поступить в него, так как учиться без работы всё равно не мог. Впоследствии мне удалось поступить лишь на заочное отделение недавно открытого в этом городе планово-экономического института.

Скромная жизнь в городе, из которого я приехал, позволила мне сделать небольшие сбережения. Они и полученное при увольнении выходное пособие дали мне возможность прожить четыре месяца без работы. Но как я ни экономил, в конце концов средства иссякли. Можно было бы попытаться поступить куда-нибудь простым рабочим, но с моим прошлым и это было не легко. Скрыть его я никак не мог, а в таком случае устройство рабочим для будущего ничего не могло мне сулить. А я был еще слишком молод, чтобы не рассчитывать на будущее.

Бесконечные поиски работы утомили меня, перспективы никакой не было и я решил вернуться в степной городок, где меня уже знали. Но вдруг судьба сделала вновь неожиданный вольт.

Проходя однажды по улице, я увидел на двери объявление: «Срочно нужны счетные работники». Я поднял голову, на вывеске над подъездом прочитал: «Областная контора Союзрыбы». Машинально открыл дверь, нашел главного бухгалтера и предложил свои услуги. И тут произошло чудо: едва взглянув в мою трудовую книжку, главбух сказал, что ему немедленно нужны работники, на временную работу, с окладом в 300 рублей в месяц, и что если я согласен, то могу завтра же утром приходить на работу.

* Блат — слово из воровского жаргона, прочно вошедшее в советский обиход. Здесь в смысле «протекция», «знакомство».

Всё это произошло в течение пяти минут и немного ошеломило меня. Я вышел, еще не соображая, что случилось, и забыв обрадоваться наконец-то найденной работе.

Продолжение превратностей

Чудо раскрылось на другой день. Дело было просто: областная контора Союзрыбы окончательно запутала свои расчеты с контрагентами, за что получила жестокий нагоняй из Москвы и приказ немедленно устранить путаницу. Начальству конторы было не до того, чтобы интересоваться прошлым предлагающих свои услуги, тем более, что работа была временной, на три-четыре месяца, и оно взяло первых четырех подвернувшихся под руку людей. Для меня это было счастливым случаем.

Работа была нестерпимо скучной: два года липовые специалисты по расчетам товары, отправленные, например, в Москву, записывали на карточку Ярославля или Ростова, а отправленные в Ростов Тамбову или Пензе. Получение товаров записывалось таким же порядком. В области было более 30 районов — товары, отправленные 30 райторгам и 30 райпотребсоюзам, были так хитро перепутаны между собой, что можно было придти в отчаяние. Но удивляться было нечему: счетоводами работали молодые только что окончившие школу девушки, а у них ни знания работы, ни интереса к ней не было, да и вряд ли могло быть. Нужно было перевернуть гору документов, проверить каждую запись, сличить новые данные с контрагентами — на всё это требовалась уйма времени. У контрагентов положение часто оказывалось не лучше нашего: у них тоже работали девушки, такие же, как и у нас.

Но на проверке междуконторных расчетов у меня еще в концлагере выработалось какое-то особое чутье к ошибкам и я удачно начал свою работу. Из свойственного людям стремления всюду вносить порядок, я систематизировал проверку, предложил её форсировать путем выезда к контрагентам. Начальство одобрило мою работу, немного повысило оклад и назначило «старшим бригады контролеров». А одобрение моей идеи поездок понравилось уже мне: чем сидеть в Союзрыбе, приятнее ездить по градам и весям, чувствуя себя почти вольной птицей.

Три месяца я проездил на поездах, пароходах, на автомашинах, побывал в нескольких больших городах и во многих районных селах. Иногда забирался в такую «глубинку», с которой не было никакого пассажирского сообщения. Тогда подсаживался на телегу к попутному колхознику или шел на ближайший большак и терпеливо ждал случайную машину. Показывалась машина, я «семафорил», шофер останавливался, брал меня и мы неслись, вздымая тучи пыли.

Наши шоферы — потомки ямщиков. Многие из них любят разухабистую вихревую езду. Однажды я думал, что не останусь в живых: шофер-девушка, богатырски сильная и до-черна загоревшая, перед этим, занятая срочной работой, не спала две ночи. Она дремала, склонившись на руль, но машину гнала так, словно мы катили не по степной дороге, а на бесконечном утрамбованном плацу. Два раза мы въезжали в неглубокую придорожную канаву, несколько раз шаркали бортом о телеграфные столбы — то ли чудо выручало, то ли крепость самодельных бортов трехтонки, но аварии миновали нас. Шофер только встряхивала головой, отгоняя сон, таращила закрывающиеся глаза, ругала на чем свет стоит нехстати подвернувшийся столб и неслась дальше, опять склоняя голову на руль.

Кто ездил на автомашинах только в городах, тот не знает, что такое наш шофер: его можно почувствовать лишь на дорогах степных просторов. Только там можно и оценить, что за пройдохи эти шоферы: они безошибочно знали, с кого взять больше и если с колхозника брали за проезд рубль, то с меня драли десять. Я не очень обижался: контора оплачивала дорогу по таксе, но вместе с командировочными денег мне хватало, а шоферам тоже надо было подрабатывать.

Подростком, я был большим бродягой и любил уходить в степь на целый день. Разъезжая по районам, я вспомнил старую любовь и иногда шел пешком, десять-пятнадцать километров, чтобы снова испытать то волнующее чувство слияния с природой, которое полно я испытывал только в степи. Плетется дорога по холмам и пригоркам, гудят нескончаемую песню провода над головой, гулко прожужжит, вдруг откуда-то вылетев, навозный жук, заливается в неотглядном небе невидимая пичуга — ширь, простор, и в груди такая же ширь и радостный, светлый, примиряющий покой. Никого не видно на десяток километров, идешь один, и ни-

чего нет: ни Союзрыбы, ни прошлого, ни будущего, только вечные степные тишина и покой. Такие прогулки — как ванна: окунешься в нее и словно омылся, чище стал и легче после этого дышится...

Вместо трех-четырех проверка заняла больше пяти месяцев. Я заканчивал её один, остальные три бухгалтера были уже уволены. А мое положение в конторе упрочилось: меня давно зачислили в штат, вскоре я должен был занять место старшего бухгалтера одного из отделов. Но почему-то у меня было смутное предчувствие, что в Союзрыбе я ко двору не прийдусь.

Предчувствие оправдалось. Однажды ко мне подошёл секретарь конторы, положил передо мной бланк и сказал:

— На вас почему-то нет карточки по учету кадров, заполните, пожалуйста.

Я заполнил около шестидесяти параграфов анкеты, прослеживавших мою родословную и каждый мой шаг, подумав, что это, вероятно, моя последняя работа в Союзрыбе. Отдав анкету, я скоро заметил, что главбух смотрит на меня с паническим беспокойством. Раньше никто не интересовался мной — теперь приходил то заместитель управляющего, то секретарь, казалось, только для того, чтобы взглянуть на меня. Смотрели они так, как будто прежде меня никогда не видели, словно я стал другим. Я решил, что анкета произвела сильное впечатление.

Главбухом у нас был полный, рыхлый человек, не плохой по душевным качествам, но перед начальством робкий и беспрекословно подчиняющийся. После работы он задержал меня и, когда все ушли, спросил, сделав большие глаза:

— Как же так, батенька? Почему вы раньше не сказали?

— А что я должен был сказать?

— Как что?! То, что вы в концлагере сидели!

— Но меня об этом никто не спрашивал, — возразил я.

— Если бы спросили, сказал бы, а сам зачем я буду трубить?

— Ну, как же можно, — укоризненно протянул главбух. — Знаете, что там было? — кивнул он на кабинет управляющего. — Такая гроза, что ни приведи Боже. Всем досталось, а больше всех мне: почему принял без проверки? А я при чем? Проверять работников их дело, а не мое. Наверно уволит вас.

Я пожал плечами: на всё судьба.

С управляющим конторой мне не приходилось близко сталкиваться. По рассказам сослуживцев я знал, что он, в прошлом балтийский матрос, член партии с 1918 года, был тупым и ограниченным человеком. Упрямый и недалекий, он только преданно выполнял распоряжения партии и высшего начальства, не позволяя ни на иоту отклоняться от них. С подчиненными был сух, часто груб, и, кроме работы, никакого контакта с ними не имел. В Обкоме партии он, как старый большевик, был своим человеком. Человечного отношения ожидать от него не приходилось — я понял, что моя работа в Союзрыбе кончилась.

Утром на другой день мне объявили приказ по конторе: я уволен с работы «за сокрытие своего прошлого». Сотрудники смотрели на меня с испуганным недоумением: тогда с концлагерями были знакомы еще не очень многие люди.

Вызов судьбе

Увольнение мое было незаконным: незадолго до этого Сталин в одной из своих речей заявил, что «сын за отца не ответчик» и что по прошлому нельзя судить о человеке. Уже была опубликована «сталинская конституция», духу которой мое увольнение тоже противоречило. Существовало постановление Комиссии Советского Контроля о том, что прошлая судимость не может быть препятствием для выполнения той или другой работы. Поэтому управляющий не мог не знать о незаконности своего приказа. Но он знал и цену советской законности; знал он и то, что цена эта мне тоже известна, почему я должен был бы покорно подчиниться его воле.

А я решил не подчиняться. Этому были причины. Одна — вздорная: меня попросту «заело» и я решил померяться неравными силами с одним из новых самодуров. Вторая причина была серьезной: если в мою трудовую книжку впишут приказ об увольнении в редакции управляющего, найти другую работу будет уже совершенно невозможно. Я окончательно превращусь в подозрительного человека, так как пятну прошлого такой приказ придаст еще более отпугивающий вид и мой документ станет настоящим «волчьим пас-

портом». Надо постараться хотя бы изменить формулировку приказа.

Возможности для этого были. Я «контрреволюционер» и мне рискованно тягаться с начальством: можно опять угодить в НКВД. Но зная механику советской бюрократической машины, можно надеяться этого избежать. Надо осторожно использовать все говорящие в мою пользу обстоятельства, провести дело без шума, по возможности среди «маленьких людей» и на строго-официальной основе: бумажная волокита, ссылки на законы и параграфы все же действуют на людей. Важно сохранить исключительно трудовой характер нашего конфликта, чтобы избежать появления к нему интереса со стороны НКВД. Кроме того, тревожное настроение, перед ежовщиной, в среде партийцев усиливалось — в такой обстановке управляющий вряд ли мог рискнуть обратиться за содействием в НКВД. У него нет никакой гарантии против того, что, если меня арестуют по его доносу, из злобного чувства я не наговорю чего-нибудь на его контору и на него в НКВД. А там — разбирайся! Пока разберутся, насидишься. Поэтому управляющий вряд ли мог обратиться в НКВД по такому мелочному делу, как мое.

Взвесив все за и против, я обжаловал приказ об увольнении в Расценочно-Конфликтную Комиссию нашей конторы. РКК состояла у нас из заместителя управляющего, тоже партийца, в качестве «представителя администрации», секретаря месткома (он же был секретарем конторы), как представителя профсоюза, и женщины-счетовода — «представителя трудящихся». Два последние своего голоса не имели и против управляющего выступать не решились бы — я знал, что РКК мне откажет. Но надо провести дело по всем инстанциям, начиная с низшей.

РКК в тот же день вынесла постановление, соглашающееся с приказом управляющего. На другой день я обжаловал это постановление в Областной Комитет нашего профсоюза.

Председателем Обкома была женщина, тоже старая большевичка, приятельница нашего управляющего, — в отрицательном исходе моего дела у нее я тоже не сомневался. Но надо перешагнуть и эту ступень. Дней через пять я получил постановление Обкома профсоюза о том, что решение РКК он находит правильным.

Оставалась последняя инстанция: ЦК профсоюза. Каковы отношения нашего Обкома с ЦК? Этого я не знал. Но я знал общую тенденцию начальства относиться к нижестоящим свысока, «чтобы не зазнавались», знал и то, что в Москве можно надеяться найти и объективный подход к делу. Высшее начальство любит иногда продемонстрировать свою «справедливость», долженствующую обозначать, что в произволе оно не виновато: произвол-де, допускается без его ведома, внизу. Была ли у председательницы Обкома «сильная рука» в Москве и как там ко мне отнесутся? Довести дело до конца необходимо. Можно, конечно, написать в ЦК, — но тогда придется, вероятнее всего, прождать многие месяцы, да и заявление мое могло попросту утонуть бесследно в бумажном море. Подумав, я сел в поезд и поехал в Москву.

Всё это время у меня было странное противоречивое чувство. Я ощущал себя карликом, вышедшим бороться с великаном. Перед огромной государственной машиной я был ничтожеством, которое эта машина могла в любую минуту раздавить без остатка, так, что от меня не останется ни следа, ни воспоминания. Я действовал осторожно, но что значила моя осторожность перед бездушной нерассуждающей машиной, действий которой я не могу предугадать? Неуловимое движение её рычагов, на которое я никак не могу повлиять и от которого никак не могу защититься — и машина проглотит меня. Для нее я был ничто, пустое место — временами я и чувствовал себя «ничем» и это-то и было странным: вот я, сижу в вагоне, а вместе с тем меня в сущности нет. Я словно переходил то на одну, то на другую сторону грани, разделявшей реальное от ирреального, бытие от небытия. Можно было удивляться, что это «ничто» пытается еще сопротивляться реальности. Но во мне сидело и упорство, тоже не рассуждающее: взялся, — иди до конца, не смотря ни на что...

В Москве, прямо с вокзала, я поехал на Солянку, в огромный Воспитательный дом, «Дворец Труда». Поплутав по темным длинным коридорам, разыскал ЦК нашего профсоюза и не без почтительности открыл тяжелую дверь.

Меня принял полный мужчина, с обрюзгшим значительно-равнодушным лицом, главный консультант по трудовым конфликтам. По тому, как неподвижно сидел он в тлу-

боком кресле, почти сливаясь с пыльной мебелью, можно было предположить, что сидит он здесь уже много лет. Поседел, опруз на своем месте, и, конечно, знает его не хуже, чем я междуконторные расчеты. Мое впечатление оказалось верным: профсоюзный бонза едва просмотрел мои бумаги и, не поднимая головы и не глядя на меня, прогудел глухим басом:

— Решения вынесены вопреки трудовому законодательству. Дело будет рассмотрено завтра на заседании Президиума ЦК. Зайдите через два дня.

Я вышел с чувством, будто у меня гора свалилась с плеч: мое дело выиграно...

Два дня я беззаботно пробродил по Москве, выполнив весь ритуал, положенный провинциалу, приехавшему в сердце своей родины. Зашел в Третьяковку, в Исторический, поглазел на Кремль, съездил на Воробьевы горы, походил по вечерним улицам. Москва менялась: сносили и передвигали дома, строили новые, но она оставалась такой же путаной, суматошной и домашней, близкой. В Художественный и Большой не попал: билеты распроданы, а перекупщики мне не по карману. Зашел и в Наркомат, под началом которого работал с Непоседовым, и узнал, что Непоседов недавно назначен директором другого лесопильного завода, недалеко от Москвы.

Через два дня тот же профсоюзный бонза, молча и опять не подняв от стола глаз, будто я в самом деле был для него пустым местом, вручил мне выписку из постановления ЦК профсоюза. Поблагодарив, я вышел в коридор и прочитал её. «На основании того-то и того-то решения РКК и Обкома профсоюза по жалобе гражданина Андреева отменить и предоставить ему право обратиться в народный суд с жалобой на неверные действия администрации».

Я возвращался из Москвы с радостным чувством: единоборство свое я выиграл по всем статьям. На выписке стояли штамп и печать со словами: ЦК и Москва. В ней написано, что действия администрации не верны. Какой судья в провинции решится отказать мне, пойти против этих магических слов? Если управляющий не предпримет ничего неожиданного, успех обеспечен.

По приезде я тотчас же подал в суд. Он состоялся через две недели. От ответчика присутствовали юрисконсульт Со-

юзрыбы, старый адвокат, мягкий и добродушный человек. Ожидая разбора дела, мы сидели с ним в коридоре, я рассказывал о своей поездке, о Москве, о том, как принимал меня консультант ЦК. Адвокат вздыхал:

— Это ж такой дуб, каких я не видывал, — жаловался он на управляющего. — Уперся, как пень: вы должны выиграть дело. А как я его выиграю, против решения Москвы?

Суд длился всего пять минут: выписка всё решила. Решение суда гласило: «Увольнение произведено неправильно, пражданина Андреева на работе восстановить, обязав администрацию уплатить ему зарплату со дня увольнения, как за прогул по вине администрации».

Получив решение суда, на другой день я пошёл в Союзрыбу и вручил главному бухгалтеру две бумаги: решение суда и заявление с просьбой освободить меня от работы. Больше испытывать судьбу не следовало: после этой истории работать в Союзрыбе было бы опасно.

Главбух долго пропадал в кабинете управляющего. Туда вызвали и юрисконсульта. Наконец, главбух вернулся и прошептал мне:

— Опять была буря. Крик поднял, обжаловать хотел. Ведь это же подрыв его авторитета, подрыв дисциплины — понимаете, как он расценивает? Насилу уговорили: всё равно проиграем и только денег больше заплатим.

Через полчаса я получил деньги и расписался в прочтении нового приказа. В § 1 было написано: «Бухгалтера Андреева на работе восстановить. Основание: решение суда». В § 2: «Бухгалтера Андреева от работы освободить, по его просьбе. Основание: заявление с просьбой об увольнении». Секретарь написал в моей трудовой книжке то, что мне требовалось: «Уволен по собственному желанию». Я распрощался с сослуживцами и покинул Союзрыбу навсегда.

Дома меня ждала телеграмма. За несколько дней до суда я отправил Непоседову письмо, в котором писал, что жизнь в этом городе мне не нравится и спрашивал, нет ли у него для меня работы. Вскрыв телеграмму, я прочел: «Выезжайте немедленно. Проезд оплачу. Непоседов». Я улыбнулся, подумав, что при советской власти мне, вероятно, работать можно только с Непоседовым. И пошел на вокзал покупать билет.

Злоключения Непоседова

С Непоседовым встретились по приятельски. Он повез меня к себе на квартиру, отдохнуть с дороги. Непоседов остался таким же порывистым, беспокойным, но меня поразила перемена в его внешности: и раньше худой, теперь он словно высох. Втянутые щеки, на лбу морщины — постарел он лет на пять и выглядел так, как будто перенес тяжелую болезнь. Я спросил о причине перемены. Шагая по комнате, Непоседов рассказал, что он делал за это время.

— Сначала меня назначили сотрудником для особых поручений. Муторная штука, не понравилось мне: сегодня сюда ткнут, завтра туда, как мальчишка на побегушках. Я всё настаивал, чтобы мне собственное дело дали, на производство направили. И настоял на свою голову: такое дело определили, что мне небо маленьким показалось.

— Послали в Ногинск, директорствовать на кирпичный завод. Приехал, осмотрелся: завод хороший, механизированный, малина, не завод. Только почему он план выполняет всего на 30 - 40 % и тишина на нем, как на кладбище? В чем дело, спрашиваю? Рабочих нет. Технический персонал налицо, рабочие-специалисты тоже, а подсобников и в карьеры, глину добывать, нет. Почему нет? Потому, говорят, что завод денег не имеет, нечем зарплату платить. Что за чепуха, кирпич на вес золота, а вы денег не имеете? А это, отвечают, очень даже просто: вагон кирпича мы отпускаем по твердым ценам за 200 рублей, а нам он по плану стоит 250, а фактически 500 - 600. Ну, и ясно, что у завода ничего нет, кроме долгов. Банку должны, Главку должны, десяткам других предприятий должны и сами по два-три месяца без зарплаты сидим. И понимаете, говорят это таким безнадежным тоном, а сами как мужи дохлые, что меня взорвало: сами вы ничего не стоите! Работать надо, а не бабочек ловить, тогда и деньги будут! Попробуйте, говорят, может вы сумеете.

— Начал я пробовать. Первое дело, надо рабочих достать. Поехал в Облисполком, нажал — дали два района для вербовки. Мобилизовал своих служащих, бросил на вербовку — в районах людей не дают. Поехал сам, нажал через райкомы, добился согласия райисполкомов, выделили мне сельсоветы — теперь колхозы людей не дают. Нет у них лишних людей и хоть тресни! Месяц я по колхозам бол-

тался, охрип, ругаясь, председателей водкой поил и у каждого по три-четыре человека выцарапывал. Кое-как всё же набрал с сотню человек. Сам им билеты покупал и в вагоны усаживал, с каждой партией своего человека отправлял, чтобы не разбежались по дороге, чуть не носы им вытирал.

— Ну, привез людей на завод. Но их кормить надо, у них с собой ни копейки. А чем я буду кормить? Столовка наша закрыта, в кассе ни гроша, в банке просрочка. Что делать? На людей смотреть жалко, голодные — какие они работники?

— Поскакал я в Москву, в Главк, в Наркомат: спасайте, выручайте! Ноль внимания: ссуды ваши, говорят, исчерпаны, больше дать не можем. Изыскивайте средства на месте, проявите инициативу, — обычную вольнку вертят. Доказываю, что это невозможно, что при таком разрыве отпускных цен и себестоимости завод вообще существовать не может, — хорошо, говорят, учтем при составлении плана на будущий год, поставим вопрос в Совнарком о повышении цен на кирпич и об увеличении вам ссуды. Они, вы же знаете, во всесоюзном масштабе смотрят, их не пробьешь, — а я что буду делать до будущего года?

— Так и этак, ничего придумать не могу. Завод хороший, а какой в нем толк без денег? Отгружаем кирпич — банк за него ни копейки не дает, всё идет на погашение долгов. Даже на зарплату, стервецы, не хотят бронировать, в обрез дают. А долгов столько, что года два надо работать только за долги. Что делать? Один выход: продавать кирпич мимо банка, за наличный расчет.

— Этим мы и жили месяца три. Кирпич штука дефицитная, его с руками рвут. Продашь какой-нибудь артели кустарей вагончик-другой, не по твердой цене, а по себестоимости, раздашь рабочим по десятке, они и терпят. А там опять два-три вагона хлоп на сторону — еще неделю живем.

— Тянули так, тянули, и погорели: сукин сын банковский инспектор пронюхал, проверил на станции отправку по железнодорожным документам, сличил с нашими счетами через банк и выяснил: около сотни вагонов мы на сторону махнули. Скандал! Беззаконие, вопиющее нарушение финансовой дисциплины! Заварилась каша, дело прокурору передали, управляющий банком меня в райком на расправу

тянет, райком за партизанщину кроет — с меня только перья летят! Ну, да не на смиренного напали: я тоже такой хай поднял, что не поймешь, кто виноват. Сколько раз, говорю, я к вам обращался, вы мне помогли? Я как рыба об лед бился, изо всех сил производство тянул — вы хоть пальцем шевельнули, чтобы мне помочь? У меня должна душа за дело болеть, а вам лишь бы ваша бумажная волокита в порядке была? И что я, для себя работаю, в свой карман деньги кладу? В общем, отгрызся, отделался устным нагоняем и условием, что больше кирпич на сторону не буду продавать.

— Дело замляли, а денег нет и нет. К рабочим в барак хоть охрану ставь, бегут. А как им не бежать, если жрать нечего?

— Как мы крутились еще три месяца, сам хорошо не знаю. Выклянчишь в Главке тысячу-другую, привезешь на завод — они как в прорву уходят. Поеду в банк, схвачусь с управляющим не на жизнь, а на смерть — еще тысячку выцарапаю. Сами у себя кирпич воровали: притонишь из Москвы ночью пару автомашин, тишком погрузишь — и айда, чтобы ни один глаз не видел.

— Извелся я с такими делами в конец. Ночей не сплю, о заводе думаю, бессонница напала, а засну, какая-то чертовщина мерещится. Appetit потерял, хожу, как в тумане. Еду как-то в Москве в такси и чувствую вдруг, мутит меня. Тошнота, голова закружилась, слабость в теле, — ну, думаю, заболел, свалюсь. Этого еще не хватало! Главное, в животе что-то тянет, ноет, такая пакость, терпежу нет. Что за штука, отчего? Вспоминаю, — э, да я, пожалуй, уже три дня, как в уборную не ходил. Ну, факт, заболел! Надо к врачу. Говорю шоферу: заворачивай, друг, к какому-нибудь доктору по внутренним, нехорошо мне, заболел.

— Заехали к доктору. Объяснил ему, что живот болит. Разделся — осмотрел он меня, ощупал, выслушал и спрашивает: вы сегодня обедали? Нет, говорю, не успел. И аппетита у меня нет, не хочу. А вчера обедали? Припомнил я — нет, тоже не обедал. А позавчера? Я разозлился: что вы меня об обедах спрашиваете, если у меня сейчас живот болит? Можете вылечить, лечите, нет, я к другому врачу пойду. А он хохочет: вы, говорит, здоровы, как бык, только вы последние дни, наверно, одним чаем питались, от этого вся

ваша болезнь. У вас желудок пустой, только и всего. Идите пообедайте поплотнее, сразу выздоровеете. Может, смеется, у вас денег на обед нет, одолжить вам?

— От него я прямо в Наркомат поехал. Или снимайте, говорю, или через месяц вам придется меня в сумасшедший дом отправлять. Они, черти, тоже смеются: кирпичный завод, это вам, говорят, не шутка, у нас на нем ни один директор больше полгода не выдерживает. Освободили меня, месяц я отдыхал, потом сюда назначили.

Истории непоседовской болезни мы оба посмеялись.

— Чёрт с ним, с кирпичным заводом, — заключил Непоседов рассказ. — Что было, то прошло. Теперь другое дело: этот завод — картина! Тут такое дело можно развернуть — закачаешься! — Непоседов опять оживился, глаза его засверкали. — Первоклассная механизация, новые быстроходные рамы; тут мы покажем, почем сотня пребешков! Есть одна заковька, да справимся. Я только две недели, как приехал, завтра покажу вам завод и — засучивайте рукава! Тут, дорогой, скучать будет некогда, это вам не степной куток.

— А как с сырьем? — спросил я, вспомнив конфузный конец нашей прежней деятельности. Непоседов пренебрежительно махнул рукой:

— Сырья здесь завались! Мы ж в лесном районе, в самой середке лесозаготовок. О сырье голова не заболит...

Забыв о том, что привез меня отдыхать, Непоседов принес карту области и принялся показывать, какие районы снабжают нас сырьем и тяготеют к нам. Мы просидели с ним до полуночи, строя планы будущей работы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЗАЕМ У ЛЕСА

Вторжение социализма

Наша лесная промышленность до революции не плохо справлялась со своими задачами. Бурный рост промышленности в последние десятилетия прошлого века и в начале нынешнего требовал много строительных материалов — лесное дело полностью удовлетворяло эту потребность. И промышленность, и жилищное строительство, и другие гражданские нужды России никогда не испытывали недостатка в лесных строительных, топливных и прочих материалах. Вместе с тем Россия была и одним из главных лесных экспортеров на мировом рынке.

Всё это достигалось без каких-либо исключительных мер, без «авралов», «наступлений», «мобилизаций», «механизаций» и, конечно, без миллионных жертв людьми — без всего, что так характерно для большевистского времени. И без хищничества, без бесхозяйственности и разбазаривания лесных ресурсов страны. В последние десятилетия перед революцией были проведены работы по таксации, — учету, — леса, организовано правильное лесопользование и рубка, как правило, велась с таким расчетом, чтобы не нарушать постоянного возобновления лесных запасов.

Вероятно, и даже несомненно, что в лесном деле были и недостатки и безобразия: где и когда их не было? Была и «эксплоатация рабочих капиталистами». Но они не идут ни в какое сравнение с тем, что получилось в лесу после вторжения в него большевиков. Лет через двадцать после захвата власти «самым справедливым народным правительством» мне довелось попасть в места основных лесозаготовок

страны — на севере, затем в верховья Волги и на её притоки Вятку, Керженец, Унжу, Шексну, Мологу. Не столько по рассказам лесовиков, сколько по их домам и по остаткам в этих домах от прежней жизни я видел, что жить так, как жили они раньше, лесовики не будут еще много и много лет. И пожалуй, что до революции, несмотря на их будто бы бесправное состояние, они были действительными хозяевами своего дела, а потому и хозяевами страны. При «народном правительстве» они превратились в нищих батраков социалистического государства.

Большевизм причинил неисчислимый вред нашему лесному хозяйству, а в лесные работы внес хаос, который не преодолен до сих пор. Со времени перехода к «плановому хозяйству» не было еще года, чтобы лесная промышленность выполнила данный ей план; с тех же пор не прекращался в стране и жесточайший голод на лесные материалы.

В первые годы революции лесные работы прекратились почти совершенно. Начала возрождаться лесная промышленность только после объявления НЭП'а, в 1922 - 23 годах. Возрождалась она быстро, не столько государственная, сколько на кооперативных началах. Как-то «сама собой» возникла большая организация «Всеколес» (Всероссийский Кооперативный Лесной Союз), объединившая множество лесозаготовительных артелей и кустарей и арендовавшая немало лесопильных заводов; создались «трудовые артели» из бывших рабочих и служащих, тоже взявшие в аренду у государства заводы, своими силами отремонтировавшие их и пустившие в ход. За 2 - 3 года эти артели разбогатели: лес был нужен, а дело в артелях вели опытные служащие. Рядом с ними работали государственные лесные тресты.

Примерно до 1928 года лесные работы велись нормально, с соблюдением правил лесопользования и традиций лесной промышленности. Но к 1928 году лесная промышленность еще далеко не достигла дореволюционного уровня.

В 1927 году был принят первый пятилетний план и приступлено к «строительству социализма». Выслав Троцкого за границу, Сталин взял у него идею ускоренной индустриализации — она требовала не только резкого увеличения производства строительных материалов, но и промадных средств для приобретения за границей оборудования. Валюты не было — у Троцкого же Сталин взял и идею «займа у леса»:

путем чрезвычайного усиления лесозаготовок и вывоза за границу леса большевики хотели получить необходимую им валюту.

Одновременно началась социализация: кооперативные артели были ликвидированы, часть оставшихся мелких кустарных артелей фактически тоже перестала быть кооперативной, так как она попала под полный контроль правительства. Всеколес был ликвидирован, его фонды перешли к государственной промышленности, — последняя одна должна была выполнять пятилетний план и производить «заем у леса».

Планы большевиков с самого начала натолкнулись на непреодолимые нормальными путями трудности. Ликвидация артелей и проведение коллективизации и раскулачивания, которым лесные деревни подверглись наравне со всем сельским населением, вызвали отлив рабочих из леса. Ощущался острый недостаток рабочих: «заем у леса» некому было производить.

Недостаток рабочих покрыли отчасти трудом заключенных. Уже в 1929 году в Карелии, в Северном крае, в Пермской и других областях на лесозаготовках работало около пятисот тысяч заключенных, заготавливавших лес для экспорта.

Широко использовались на лесозаготовках и «спецпереселенцы» — насильно высланные из разных мест страны раскулаченные крестьяне. К северу примерно от линии Ленинград — Вологда — Вятка — Пермь на лесозаготовках было занято около одного миллиона спецпереселенцев, работа которых была еще менее производительна, чем работа заключенных: брошенные в лес с семьями, крестьяне почти не снабжались продовольствием, у них не было инструментов, жили они в первое время в шалашах и землянках и умирали тысячами.

За счет принудительного труда справились с обеспечением лесозаготовок рабочей силой. Но катастрофически не хватало лошадей для вывозки леса. Это затруднение разрешили тем, что рубили лес по берегам сплавных рек и расположенный на наиболее близких расстояниях к местам сплава или к железным дорогам, не считаясь ни с какими правилами рубки.

В годы первой пятилетки правила лесопользования вообще были забыты и Лесоохрана фактически лишена своих прав. Лес рубили кое-как, оставляя высокие пни, не очищая после рубки площадей, — это вело к захламлению леса и к размножению вредителей. Главным же бедствием явилось другое: в два-три года были вырублены подчистую огромные площади по берегам рек — и реки обмелели.

Снег на открытых площадях быстро таял, частью испарялся, частью впитывался землей — влага высыхала летом. Частью он слишком быстро скатывался в реки весенней водой, вызывая бурные разливы, но не оставаясь в лесу на лето. В лесах не стало множества тех озер, болот, ручейков, которые раньше наполнялись замедленным таянием снега и питали собой реки в течение лета. Это привело к обмелению сплавных рек, по многим притокам прекратилось судоходство. На Волге раньше полнопруженные наливные баржи с нефтью буксиры тащили от Астрахани почти до Нижнего — в середине 30-х годов нефтянки нельзя было грузить и наполовину. Волга покрылась новыми отмелями, на ней даже в нижнем течении появились перекаты, проходимые только мелко-сидящими судами.

Это вызвало большую тревогу и в конце первой пятилетки Лесоохрана добилась постановления правительства об установлении водоохранной зоны: по всем рекам запрещалось рубить лес на расстоянии в 20 километров от воды. С того времени опять начали придерживаться правил лесопользования. Но непоправимое уже было сделано: до сих пор огромные пространства в верховьях Волги, Камы, в бассейне Северной Двины, Онеги остаются голыми, частью захламленными. Во многих местах не осталось даже семенников — специально оставляемых для обсеменения вырубленных площадей деревьев. Вероятно, лес снова зашумит на этих пространствах — может быть через сто-полтораста лет.

Хаотичная и судорожная рубка в первую пятилетку вызвала еще одно несчастье: уничтожив близкие к сплаву и к дорогам запасы леса, в следующие годы она заставила лесозаготовителей забираться дальше и дальше вглубь лесных массивов. А это в два-три раза увеличивало потребность в средствах для вывозки и удорожало стоимость леса.

Таков, коротко, был вред, нанесенный лесному хозяйству России предложенным Троцким и осуществленным Сталиным «займом у леса».

Рационализация лесных работ

До революции лес заготавливался дедовским способом; основными инструментами были пила и топор, а на вывозке — лошадь и сани. Если бы не перерыв в лесных работах в первые годы революции, вероятно, необходимая механизация постепенно проникла бы и в лес: технические новшества, выгодные для нашего хозяйства, прививались у нас быстро. Примером может служить хотя бы волжский речной флот, еще в начале этого века бывший одним из лучших речных флотов в мире, а в лесном деле быстрый переход лесопильных заводов на шведское оборудование, начавшийся незадолго до революции.

Революция задержала введение новых методов работы в лесу. При переходе к ускоренной индустриализации, главным образом из-за недостатка рабочей и гужевой силы, большевики резким рывком хотели наверстать упущенное. На это были затрачены громадные средства и силы. Однако, и до сего времени основными средствами лесозаготовок остаются пила и топор, лошадь и сани.

На рубке леса ручной повал частично заменен механизированным. Для этого было перепробовано множество конструкций своих и иностранных переносных пил, работающих с помощью бензинового, керосинового или электрического двигателя. Пилы эти были капризны, часто ломались и требовали хорошего обслуживания, тогда как ни мастерских в лесу, ни запасных частей, ни специалистов не было.

Тяжелое положение с гужевой силой заставило искать путей к рационализации и механизации лесовывозки. Гужевую вывозку рационализировали путем введения нового типа саней и улучшения лесовывозных дорог, с тем, чтобы увеличить нагрузку на лошадь. Но улучшенные дороги требуют постоянного наблюдения за ними, расчистки от снега, ремонта, — на это надо расходовать рабочую силу, которой и без того не хватает.

Много усилий было затрачено на внедрение автотракторной вывозки. Но трактор и автомашина требуют еще

лучших лесовывозных дорог, за которыми, в условиях нашей зимы, тоже необходимо постоянное наблюдение. Кроме того, такая вывозка применима только в больших лесных массивах, прокладка дорог в которые могла бы экономически оправдаться. Но после первой пятилетки лесозаготовки, как правило, стали вести в участках с малым запасом древесины, один леспромхоз заготавливает лес в десятках участков — прокладывая в каждый из них автодорогу леспромхоз не в состоянии.

Для обслуживания автотракторного парка тоже нужно большое количество технического персонала и хорошее техническое снабжение. Ни того, ни другого не было — за время попыток перехода на автотракторную вывозку в лесах образовались кладбища поломанных и брошенных машин, развалившихся мастерских, гаражей, баз топлива для газогенераторов, всяческих тягачей, автомобильных и тракторных прицепов-саней.

В результате более чем двадцатилетних усилий по внедрению в лесу механизации, что стоило нашему народу колоссальных средств, всё же были выработаны более или менее удачные конструкции механических пил, введены на вывозке тракторы и автомшины, кое-где проложены даже узкоколейные лесовывозные железные дороги и для всего этого созданы и техническая база и обслуживающий персонал. Однако, как правило, эта техника применяется лишь частью леспромхозов и с её помощью заготавливается вряд ли больше 25 - 30 % всего леса. Остальное заготавливается теми же дедовскими способами, что и до революции.

Попытки перехода на круглогодичную работу в лесу были не более успешными: в наших условиях, из-за невозможности вывозки леса из глухих, часто болотистых мест, летняя работа в лесу неприменима. Она тоже производится только отдельными леспромхозами, там, где для этого есть необходимые условия. В основном же лесозаготовки остаются сезонным, зимним делом: не менее 75 % леса и сейчас заготавливается только зимой.

В сплаве большая рационализаторская попытка была сделана один раз. В начале 1930-х годов, чтобы отказаться от тяжёлых и дорогих сплотки и плотового сплава, требующих большого количества рабочей силы, а заодно и чтобы

доказать возможность «молевого» * сплава по большим рекам, было решено на Вычегде и Северной Двине провести молевой сплав. На этих реках временно прекратили судоходство, немного выше устья перегородили реки запанями и в верховьях сбросили в воду десятки миллионов бревен. Крепость водной стихии большевикам не удалось взять: бревна оказались в Белом море и Ледовитом океане, так как запани не выдержали колоссального напора такой массы бревен, их порвало и в море вынесло более двух миллионов кубометров древесины. В тот год архангельские заводы остались без сырья и экспортлес не выполнил свой план.

После этого от рационализации в молевом сплаве отказались и он ведется также, как велся и сто лет назад. В плотовом сплаве введены улучшения при сплотке; при сплаве прибегают к очень дорогой буксировке плотов пароходами, с целью ускорения доставки леса на заводы и строительства.

В 1930-х годах начались большие лесозаготовки в Сибири и на Дальнем Востоке, но они должны были бы снабжать только сибирский рынок: перевозка одного вагона бревен, например, из Омска в Харьков, стоила в то время до двух с половиной тысяч рублей, почему кубометр сибирской древесины обходился в Харькове в 150 - 160 рублей, вместо полагавшихся по преysкуранту Наркомлеса 20 - 25 рублей. Но из-за недостатка строительных материалов часть леса, даже на Кавказ, везут и из Сибири.

Деревообрабатывающая промышленность тоже пережила большую лихорадку. Сильно изменилось расположение лесопильных заводов, сложившееся под влиянием требований рынка и этот рынок равномерно удовлетворявшее. Новое строительство потребовало увеличения выработки лесных материалов, — для этого, очевидно, надо было приспособить существовавшие заводы, а частью построить новые. Сделали по-другому: примерно 75 % старых заводов было брошено и беспорядочно, без учета потребности в лесе и возможности обеспечения сырьем, было построено много новых лесопильных заводов. В середине и во второй половине 30-х годов часть их была законсервирована, а часть работала на 40 - 50 % своей мощности, так как для них не было сырья.

* «Молевой сплав» — сплав одиночными, не связанными в плоты, бревнами.

Размах, между тем, был проявлен большой; кое-где построили не заводы, а гиганты. В Архангельске, например, построили, вероятно единственный в мире, двадцатиграмный завод; в Кемпи девятиграмный; большие заводы были построены в Кандалакше, в Сороке, в Онеге — все для работы на экспорт. Ни один из этих заводов никогда не был загружен на 100 % своей мощности, из-за недостатка сырья.

А наряду с этим, так как Наркомлес не обеспечивал строительства лесоматериалами, чуть не каждое из них, в том числе и самые небольшие, вынуждены были строить свои временные лесопильные заводы, что приводило к невероятному распылению средств и удорожанию работ. Но таков неизменный закон: насильственное подчинение жизненного разнообразия единому мстит тем, что это разнообразие становится лишь безобразным и бессистемным.

Бессистемная система

Свободный и «бесплановый», а потому будто бы хаотичный характер производства лесных работ до революции имел, однако, определенный порядок. Сотни тысяч лесных рабочих к началу сезона сходились в небольшие артели лесозаготовителей, плотчиков, сплавщиков, через своих «старших» нанимались к предпринимателям и выполняли все работы. Большевики, озабоченные «упорядочением» жизни и организацией её по своей единой схеме, разрушили этот порядок и ввели свой — и пришли к полному хаосу в лесных работах.

Большие лесозаготовки ведет НКВД — МВД. Учреждение это работает по своим правилам и из какой-либо системы выпадает вообще. МВД заготавливает лес для экспорта, для своихстроек и частью для внутреннего рынка; ведет оно работы самым примитивным способом, с помощью исключительно заключенных, часто на вывозке леса заменяющих даже лошадей.

Основным хозяином лесной промышленности является Наркомлес (теперь — Министерство лесной промышленности). Ему подчинены производственные тресты, объединяющие лесные работы главным образом по территориальному признаку (Калининлес, Ярославлес и т. д.). У каждого тре-

ста есть десятки «леспромхозов», непосредственно ведущих лесозаготовки.

Леспромхоз — постоянно существующее предприятие, с твердым штатом технического персонала, служащих и с некоторым количеством кадровых рабочих. Так как лесозаготовки остаются сезонным делом, существование постоянных Леспромхозов оказывается порочным явлением: летом ни персоналу, ни рабочим нечего делать, а зарплату им надо платить. Леспромхозы занимают своих рабочих летом главным образом на подсобных, непроизводительных работах, но всячески стараются их сохранить: они для Леспромхоза — часто единственная надежда на выполнение плана. Когда начнется заготовительный сезон, эти рабочие составят бригады по рубке и вывозке леса, станут десятниками, бригадирами: они — последние специалисты лесных работ, оставшиеся от существовавшей ранее армии лесных рабочих, распыленных по лесным теперь колхозным и поредевшим деревням. Поэтому Леспромхозы принуждены дорожить своими кадровыми рабочими: колхозники — уже не специалисты-лесовики.

Для выполнения своего плана, на время лесозаготовительного сезона, Леспромхозам нужны сотни и тысячи рабочих. Областные и районные исполнительные комитеты выделяют Леспромхозам районы «для вербовки рабочей силы». Каждому сельскому совету, и дальше колхозу, дается приказ о том, что он должен дать Леспромхозу столько-то рабочей и гужевой силы, либо — что он обязан заготовить и вывезти Леспромхозу, по указанию последнего, определенное количество леса.

Оплата труда на лесозаготовках крайне низка. Зарплату своих кадровых рабочих Леспромхоз разными мерами старается удерживать на общем в стране уровне, но сезонникам-колхозникам он платит точно по твердым для лесных работ расценкам. В 30-х годах, в средней полосе, зарплата сезонника на рубке леса составляла 5 - 6 рублей, на вывозке 4 - 5 в день, тогда как в других отраслях промышленности рабочий получал от 6 - 7 до 10 - 12 рублей. Кроме того, колхозник на руки получал только половину зарплаты, другую половину Леспромхоз платил колхозу.

Такой нищенский заработок никого не прельщает, поэтому колхозники всеми мерами стараются ускользнуть от ра-

боты в лесу. Леспромхозам приходится держать постоянных вербовщиков, разъезжающих по колхозам и требующих посылки в лес людей. Это помогало мало — ввели судебную ответственность председателей колхозов и самих колхозников за невыход на работу в лес.

Это тоже помогало мало: деревни после коллективизации обезлюдели и колхозам не хватает людей для своих работ. Вследствие недостатка рабочих постепенно перешли к применению на лесозаготовках женского труда и на вывозке и на повале леса, чего раньше в русской практике никогда не было.

Применение по существу принудительного труда колхозников объясняет и низкую производительность и неудовлетворительное производство лесных работ. Люди работают кое-как, лишь бы отработать день, почему ожидать от них удовлетворительной работы нельзя.

Острый недостаток рабочей и гужевой силы в лесу является одной из основных причин постоянного невыполнения Наркомлесом плана лесозаготовок и плохого снабжения страны лесными материалами. Это принудило правительство разрешить многим наркоматам, строительствам, предприятиям вести лесозаготовки помимо Наркомлеса, собственными силами. После этого Наркомлес стал называться «основным заготовителем», а другие организации «самозаготовителями».

Лесозаготовки вынуждены вести для себя едва ли не все ведомства, имеющие свои производства и строительства. Даже военные стройки и заводы часто прибегают к самозаготовкам: Наркомлес и их не может полностью обеспечить лесом. Заготавливают лес предприятия пищевой и легкой промышленности: частенько выходит так, что «сапожник печет пироги». Это только увеличивает хаос в лесу.

Самозаготовителям обычно выделяют худший лесосечный фонд, дальше от сплава или от дорог; им тоже выдаются наряды на рабочую силу, но после того, как удовлетворены заявки Наркомлеса: последний, как основной заготовитель, пользуется преимуществом перед самозаготовителями. Поэтому самозаготовителям нередко приходится везти рабочих за 200 - 300 километров от мест заготовки, так как вокруг них все колхозы уже закреплены за Наркомлесом.

Самозаготовитель обязан работать по правилам, нормам и расценкам основного заготовителя. Но самозаготовитель мало считается с правилами. Перед ним одна задача: во что бы то ни стало обеспечить себя лесом. Располагая часто большими средствами, чем Наркомлес, и в силу категоричности требования на лес не склонные экономить эти средства, самозаготовители тратят на лесозаготовки во много раз больше, чем Наркомлес. Возникает жестокая конкуренция: платя за работы в два - три - пять раз больше, самозаготовитель этим переманивает рабочих от Наркомлеса.

За нарушение обязательных расценок Наркомлес привлекает самозаготовителей к судебной ответственности, но пока дело разбирается и происходит суд, зима проходит и планы Наркомлеса остаются невыполненными.

Еще в начале 30-х годов Наркомлес, для привлечения в лес рабочих и для того, чтобы немного улучшить их существование, добился отпуска ему фондов продовольствия и промышленных товаров. Продовольствие шло в столовые, а мануфактурой, обувью «отоваривается» часть зарплаты рабочих: 20 - 25 % своей зарплаты рабочие получали товарами. Имми же стимулировалось выполнение норм. Но Наркомлес отпускал товары только своим кадровым рабочим: считалось, что о сезонниках-колхозниках должны заботиться колхозы, сельская кооперация и госторговля.

Самозаготовители, в особенности такие, как Наркомпищепром и Наркомлегпром, отпускают на свои заготовки больше и более разнообразных товаров, причем они «отоваривают» труд и сезонников-колхозников. Благодаря этому и сезонники и кадровые рабочие стараются перейти от Наркомлеса к самозаготовителям, так как деревня испытывает в товарах постоянный и острый голод.

Так в лесу происходит нескончаемая борьба между Леспромхозами Наркомлеса и армией самозаготовителей. Борьба эта отнимает у тех и других много времени и сил и для Леспромхозов не легка. Как всякое постоянное и давно работающее предприятие, Леспромхоз более инертен, неповоротлив, медлителен — самозаготовитель торок, напорист, энергичен. Он платит штрафы, его работники садятся в тюрьму — на их место приходят новые и продолжают дело предшественников. Над самозаготовителем довлеет одна задача: всеми способами достать для себя лес, — Леспромхоз заго-

товляет лес не для себя, и лишь «выполняет план». В советских условиях основная задача самозаготовителя превращает его в партизана, в хищника: его дело налететь в лес, урвать для себя клочок и поскорее этот клочок съесть. Это приводит самозаготовителя к частым стычкам с Лесоохраной.

Хозяином самого леса является Главное Управление Лесоохраны и Лесонасаждений. Оно имеет Лесхозы-лесничества, со штатом лесников, объездчиков, рабочих. С леспромпхозами у лесхозов отношения налажены и обычно протекают без больших конфликтов, но в самозаготовителе Лесхоз видит своего кровного врага: самозаготовитель чаще работает кое-как, стремится увильнуть от очистки площадей после рубки, рубит деревья, которые нельзя рубить, портит древесину. За все это Лесоохрана жестоко преследует самозаготовителей и неустанно борется с ними.

Партизанство самозаготовителей обходится дорого: если по прейскуранту Наркомлеса кубометр круглого леса стоил в Москве 15 - 16 рублей, то самозаготовителю он обходился в 60 - 80, а иногда и 100 - 120 рублей кубометр. Но выхода нет: производства и строительства требуют лесоматериалов, Наркомлес их дать не может — приходится тратить и 100 рублей за кубометр, лишь бы выполнить свои работы. Стоимость же их в конечном счете скажется на кармане и желудке основного потребителя, рабочего и крестьянина страны.

Так работала лесная промышленность в период «строительства социализма». Ликвидировав в лесу сначала частное предпринимательство, затем продуктивно работавшее предпринимательство кооперативное и не в силах обеспечить страну лесом при помощи «социалистических методов», большевики практически ввели в лесных работах безобразной формы суррогат частного предпринимательства, приводящий к огромным затратам и приносящий лесу огромный вред.

Лесные кладбища

Часто получается, что самозаготовитель, в погоне за хорошим лесом и не рассчитав своих сил, справляется с самой легкой работой, с рубкой леса, а вывезти его не в состоянии. Заготовленные бревна остаются в лесу и гибнут. Таких лес-

ных кладбищ рассеяно много по северу России и по Сибири.

Одно из них мне пришлось встретить в конце 1941 года. Когда выяснилась необходимость немедленно начать строительство новых заводов, взамен оккупированных немцами, я был командирован в Сибирь с особым заданием: организовать вывозку около 20 тысяч кубометров бревен к линии железной дороги.

Лес этот был куплен нашим Наркоматом у какого-то самозаготовителя еще году в 1938. Добравшись до места, я разыскал лес: прекрасный материал для любых строительных работ, он частью был собран в штабеля, а большей частью разбросан отдельными бревнами, так, как его заготовили года три-четыре назад. Эти разбросанные бревна уже не были строительным материалом: тронутые гнилью и изъеденные вредителями, они годились разве только на дрова. Лежал лес в 22 - 25 километрах от железнодорожной линии, вела к нему непроезжая заросшая дорога — непонятно было, как думал самозаготовитель вывезти его в такой глухой, почти незаселенной местности? Чудак был и работник нашего Наркомата, зачем-то купивший этот безнадежный лес.

Заглянув в ближайшие деревни я убедился, что вывезти лес местными силами невозможно: население редкое, к тому же, мужчины уже были взяты в армию. Лошадей тоже взяли в армию. Позондировал почву относительно «вербовки рабсилы» в Облисполкоме — Облисполком пригрозил немедленным арестом, если я возьму в их области хотя бы одного работника, невзирая на то, что лес должен был пойти на строительство заводов, предназначенных для снабжения армии. У Наркомата нашего тоже не было средств вывозки — пришлось уезжать, ничего не сделав. А бревна, наверно, так и погибли в лесу.

Размышляя над такими кладбищами, вновь приходилось заключать одно: люди, оставшиеся одинаковыми и раньше отлично справлявшиеся с лесными работами, в советских условиях не могут работать продуктивно. Даже при самых лучших намерениях усилия людей в конце концов в советских условиях приводят к бессмыслице, к работе на холостом ходу...

Однажды я заехал в Ярославлес, по делу, связанному со сплавом. Меня направили к инспектору по сплаву. К моему

удивлению, им оказалась молодая интересная женщина. Я не поверил, что попал по адресу: нежный овал лица, пышные волосы и линии фигуры «инспектора по сплаву» излучали столько женственности, что с представлением о сплаве никак не могли вязаться. Сплав, в котором нужна грубая мужская сила, где не обойтись без «технических выражений» — крепких соленых слов, и вдруг — олицетворение женственности!

Инспектор по сплаву оказался очень милым человеком, нежно-любящей матерью прелестной девочки. Познакомившись, я попросил ее открыть секрет, как это она сделалась «сплавщиком»?

— Какой я сплавщик! — с горькой усмешкой ответила женщина и рассказала свою историю.

Она дочь лесника. Ее стихия — лес, в лесу она выросла и любит его, как свой дом. Чтобы не расставаться с лесом, она поступила в «Институт лесонасаждений и лесомелиорации», после окончания которого все учащиеся поступали на работу в лесное хозяйство. Проучилась два года — вдруг из Москвы пришел приказ перестроить институт в «Институт лесосплава». Учащимся было предложено продолжать учение, чтобы сделаться «инженерами по сплаву леса».

— Так я и стала «инспектором сплава», а какой из меня сплавщик? Сажу в тресте, пишу инструкции, сводки составляю, а нужно мне это, как прошлогодний снег . . .

Глядя на неё, невольно думалось: сколько бы пользы принесли нашим лесам её ловкие руки! Как благотворно могла бы сказаться её любовь к лесу, если бы ей дали работать по сердцу, так, как стремилась она сама. Вместо этого над ней грубо посмеялись, сделав её . . . сплавщиком. Можно ли придумать большее издевательство? . . .

Таково, в общих чертах, было положение в лесной промышленности, в которую мне, под началом Непоседова, суждено было окунуться с головой . . .

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЛЮДИ В СХЕМЕ

На новом заводе

Завод, который на следующий день по приезде показал мне Непоседов, был действительно хорошим. Когда-то тут стоял однорамный заводик, принадлежавший купцу — в годы первой пятилетки он был брошен, а рядом с ним построили большой трехрамный завод. От старого остались только обвалившиеся стены и ржавое, хотя и исправное оборудование: немного подремонттировать, и оно могло бы еще работать. Но им уже никто не интересовался.

Новый выстроили по последнему слову техники: завод имел хорошую лесотаску шведского типа, бассейн для обмывки бревен, из него в цех бревна подавались ленточным транспортером. Отличные быстроходные рамы московского завода «Ильич», сделанные по немного измененному образцу шведских быстроходных рам, механическая отвозка готовой продукции, механизированные сортировочная площадка, уборка отходов и подача опилок в кочегарку — все это облегчало труд рабочих и обеспечивало высокую производительность. Отдельно стоял цех строжки с заграничными строгательными станками, был и ящичный цех, выпускавший дощечки для ящичков из отходов: всё было предусмотрено для возможно большей эффективности работы завода.

Двухсотсильная паровая машина приводила в движение лесопильные рамы и вращала электрогенератор, дававший энергию для других станков и механизмов; была для генератора и специальная машина. Завод был полностью обеспечен машинами, станками и механизмами для переработки примерно 120 - 130 тысяч кубометров круглого леса и выпу-

ска продукции хорошего качества. Но годовой план заводу был установлен только в 75 тысяч кубометров и план этот выполнялся всего на 70 - 80 %.

Причина, почему заводу был дан сниженный план, заключалась в недостатке сырья: больше сырья Наркомлес не мог поставить заводу. А причина невыполнения и этого сниженного плана заключалась в той «заковыке», о которой Непоседов едва намекнул в день моего приезда.

Дело объяснялось просто: широко размахнувшись, строители перерасходовали средства на цеха и вынуждены были съэкономить на кочегарке. И вместо того, чтобы первоклассному оборудованию дать такое же паровое хозяйство, строителям пришлось удовольствоваться старым котлом судового типа, состоявшим из множества трубок, заключенных в кожухе. Такие котлы работают исправно только в определенных условиях — на заводе поставленный строителями котел не проработал и полгода: в нем сгорели трубки. Произошла катастрофа: работа прекратилась. Тогда со старого брошенного завода срочно перетянули древний котел паровозного типа, установили его и кое-как заковыляли дальше.

Паровозный котел давал примерно половину требовавшегося пара, почему ни машина, ни рамы не могли дать полной производительности. Со дня ввода в эксплуатацию завод никогда не выполнял даже заниженный план: сначала был «пусковой период», потом не хватало пара. Первоклассное оборудование, на которое израсходовали несколько миллионов рублей, оказалось ни к чему.

По документам было видно, что руководство завода неустанно хлопотало о новом котле, но котлы настолько дефицитны, что получить их почти невозможно. Не мог завод получить и новых трубок для судового котла: они тоже расценивались на вес золота. Стоили они, впрочем, всего около 2 тысяч рублей — завод израсходовал на командировки и хлопоты по получению трубок более 5 тысяч, но трубок так и не получил.

При таком положении мало могла помочь и непоседовская энергия: возместить нехватку пара Непоседов не мог. Он просиживал на заводе круглые сутки, совещался с механиком, с техноруком, но поднять производительности это не могло.

Мне очень хотелось помочь Непоседову: работать на заводе, не выполняящем плана, никуда не годится. Вас не оставляет чувство, что что-то идет не так, как нужно, и что будто бы и вы как-то боком виноваты в этом. Ежедневные сведения из цехов с цифрами 75,80 % действуют удручающе, вам хочется, чтобы вместо них появились 100 %. Смущенное или виноватое выражение лиц вы видите у механика и у технорука, у сменных мастеров и у председателя завкома, у главбуха и у парторга — все на заводе злы, невеселы, раздражены. Атмосфера уныния и безнадежности нагоняет тоску.

Для тоскливого настроения есть и другое основание: невыполняющий плана завод всегда убыточен. Поэтому на заводе хроническое безденежье. Хорошо, если банк выдает достаточно денег на зарплату; у главбуха нескончаемая забота, как бы достать деньги на хозяйственные расходы. Рабочие, так как нормы сменами не выполняются, получают минимальную зарплату, а служащие должны забыть о премиях и случайных приработках: начальство щедро на них только тогда, когда работа идет хорошо и приносит прибыль.

На заводе царило уныние. И помочь было нечем: пока мы не достанем новый котел или злополучные трубки, производительности нам не поднять. А поднимать ее нужно было для того, чтобы хоть немного улучшить положение рабочих.

Недалеко от Москвы

Еще в дороге к новому месту я решил, что мое второе рождение закончилось. Концлагерные впечатления к этому времени ушли куда-то в подсознание, в новой жизни я уже прошел испытание и достаточно познакомился с ней. На новом месте, под рукой Непоседова, я мог чувствовать себя более или менее прочно. Здесь о моем прошлом, кроме Непоседова, никто не знал, никаких анкет здесь я тоже не заполнял, так как вызван я был директором и был на заводе одним из «командиров производства». Никто моим прошлым особо не интересовался: считалось, что меня знает сам директор. Следовательно, надо присмотреться к новому месту и не чувствуя никаких помех приниматься за дело.

Новое место резко отличалось от степного городка, в котором я раньше работал с Непоседовым. Там была глушь,

устоявшаяся жизнь текла медленно и новшества пробивали ее с трудом. Здесь чувствовалась близость центра, Москвы: жизнь была нервнее, светлее, обнаженнее.

В степи мы могли временами забывать о партии и она не часто напоминала о себе. Здесь нередко устраивались собрания, на которые приезжали с докладами пропагандисты Обкома или райкома партии; молодежь заставляли собираться в кружки по изучению истории партии и марксизма-ленинизма, тогда как в степном городке она могла предпочитать этому танцы. Призывы к ударничеству, к соревнованию в степи мы могли пропускать мимо ушей и не принимать близко к сердцу — здесь если мы их расценивали не лучше, то вынуждены были делать вид, что относимся к ним всерьез. Крикливые плакаты об ударничестве, о стахановщине висели в конторе, в цехах — и эта крикливость словно отнимала у жизни тепло, ту ласковую простоту, которой незаметно обволакивала нас нехитрая степная жизнь.

Чувствовалась разница и во времени: приближался 1938 год. В воздухе запахло беспокойством, доносившимся с запада. У нас оно отразилось усилением военного строительства: неподалеку, по соседству, строили новые и новые военные заводы. В поисках леса к нам наезжали представители этих строителей, торопило с отгрузкой леса и наше московское начальство. Все это подогревало нервное настроение, совсем не похожее на тихую жизнь в степном городке.

События ежовщины и больших московских процессов у нас на заводе почти не отозвались. Мы выслушивали на собраниях пропагандистов райкома о «происках врагов народа», по установившемуся порядку послушно голосовали за вынесение им смертных приговоров, но между собой всё это почти не обсуждали: расправа производилась где-то на недосыгаемой нами высоте и люди чувствовали, что лучше на эти темы не говорить. Получался никем не организованный заговор молчания. Мы узнавали, что арестован секретарь Обкома, потом председатель Облисполкома — мы их не знали и не выбирали. На заводе никто у нас арестован не был, а на происходящее наверху мы старались не обращать большого внимания. Лучше было заниматься своим делом — им каждый и занимался.

Меня во время ежовщины тоже не тронули. Объяснялось ли это тем, что после выхода из концлагеря я три раза переменил место жительства и поэтому выпал из поля зрения НКВД, или чем другим, только НКВД оставил меня в покое. Наблюдая происходящее, сам я не был очень спокойным, но продолжал считать, что на все судьба.

На заводе работало около четырехсот рабочих и более ста служащих, сторожей, пожарников и прочего «непроизводительного элемента». Часть жила в близлежащей деревне, часть в городе, а часть при заводе: завод имел с десяток небольших жилых домиков и длинный двухэтажный дом в 80 комнат, называвшийся «кораблем». Он был построен во время увлечения строительством стандартных домов, в годы первой пятилетки; собранный из щитов, корабль успел подтнить и покосился так, что потов был упасть. Городская комиссия признала его опасным для жизни, но другого жилья не было и людям ничего не оставалось, как продолжать ютиться в корабле, рискуя своими головами и ребрами.

Пока не освободилась комната в доме инженерно-технических работников, я поселился в деревне около завода, у нашего рабочего. Наблюдая жизнь его семьи и соседей, я мог убедиться в их бедности.

В этом отношении здесь тоже было хуже, чем в степном породке. На благодатном юге жизнь всегда дешевле и обильнее: там много фруктов, овощей, — здесь фруктов не было совсем, овощей было значительно меньше. А зарплата обеспечить семью не могла.

Квалифицированные рабочие получали у нас по 200 рублей в месяц, чернорабочие по 150 – 180, а уборщицы, сторожа, пожарники всего по 110 рублей. При цене за килограмм хлеба в 1 рубль, мяса 10 – 12 рублей, масла 16 – 18 рублей, крупы 3 – 4 рубля семье в 4 – 5 человек, которой надо еще и содержать жилье, одеваться и обуваться, на одну зарплату прожить было нельзя.

Служащие получали немногим больше, кроме ответственных работников: директор получал 900 рублей, технорук 700, механик, главбух и я, как заведующий плановым отделом, по 600 рублей. Бухгалтера отделов и парторг, числившийся у нас на должности завкадрами, по 300 – 400 рублей в месяц; остальные мелкие служащие получали по 150 – 200 рублей. Сменные мастера получали по 250 рублей. Тем

самым из пятисот человек только пять получали более или менее достаточную для жизни зарплату, а остальным приходилось туго.

Из трудного положения выходили разными способами. Самым распространенным было ведение подсобного хозяйства: каждому рабочему и служащему весной отводился участок земли, на нем разводили огороды. Это давало овощи, главное — запас картошки на зиму. У некоторых были коровы — часть молока продавалась на базаре, а часть шла на питание семье. Почти все держали кур, одну-две свиньи, коз — это тоже было большим подспорьем. В больших семьях обязательно работали все взрослые, часто работали и муж и жена — детей в таких случаях на день отдавали в детсад. Некоторые, после работы, кустарничали дома: сапожничали, столярили, плотничали, даже плели корзины на продажу. Дрова никогда не покупали, а брали на заводе тишком из отходов: все об этом знали, но смотрели сквозь пальцы. Но были и преуспевавшие семьи, обладавшие бойкими женами: эти пронырливые жены ездили в Москву, покупали там одежду и обувь и продавали в нашем городе по спекулятивным ценам. Провинция опять страдала от отсутствия товаров и спекуляция ими ловкими людям приносила большую прибыль.

Так, совмещая работу на заводе с работой дома и с занятием подсобным хозяйством, мирились с работой матерей, жен и детей, люди как-то выкручивались и сводили концы с концами. Но жили все равно бедно: в домах неприглядно и только на молодых людях в воскресенье или вечером можно увидеть одежду поприличнее; взрослые чаще ходили в той же одежде, в какой работали.

Сознание говорило, что помочь людям нельзя: для этого надо перестроить всю систему советского хозяйства, работавшего не для удовлетворения потребностей населения, а для развития и укрепления коммунизма, почему это хозяйство и не могло справиться с насущными нуждами людей. Но чувство не мирилось с сознанием, говорившим, что при таком положении любые меры будут только паллиативами: чувство хотело хотя бы временно, хоть чем-нибудь помочь.

Для этого был только один путь: повысить производительность работы завода, а этим и зарплату рабочим.

Совещание командиров

Горячность Непоседова не прибавила пару в древнем котле, но его дотошность позволила раскопать не мало погрешностей, тоже снижавших производительность. На заводе свыклись с безнадежностью положения и все грехи валили на служивший козлом отпущения несчастный котел. Непоседов не мог с этим примириться. За месяц он составил о заводе полное представление и наметил план действий для «ликвидации прорыва». Для обсуждения этого плана Непоседов созвал совещание «командиров производства»: в его кабинете собрались технорук, механик, мастера смен, главбух, я, парторг и предзавкома.

На это же совещание приехал из Москвы старший инженер Главка Кольшев, наш непосредственный начальник по производственно-технической линии. Приехал он к самому началу совещания и успел только поздороваться с нами.

Непоседов изложил свой план. Главное внимание он уделил мелким недостаткам, которые подробно разобрал и указал меры для их устранения. Наметил Непоседов меры по более четкой увязке между отдельными звеньями производственного процесса, предложил также сократить число рабочих на некоторых участках, чтобы немного снизить себестоимость, а закончил общими фразами о необходимости развития ударничества и соревнования, отдав этим положенную дань времени.

Когда он кончил говорить, в кабинете воцарилось молчание. Чувствовалась неловкость: мы курили и избегали смотреть на директора и друг на друга. Не потому, что доклад был нехорош или бестолков: Непоседов обстоятельно и со знанием дела изложил свой план. Но часть, посвященная техническим неполадкам, была всем понятна или известна и обсуждения вызвать не могла, а в целом директорский план не давал надежды на радикальное улучшение положения. Люди это чувствовали, но сказать не решались, а поэтому и отмалчивались.

Молчание затягивалось. Непоседова это задело.

— Что ж, товарищи, будем обсуждать или в молчанку играть? — недовольно сказал он. — Мы на производственном совещании, а не на ячейке МОПР-а. Вы, сменные мас-

тера, что молчите? Вас это в первую голову касается, — обратился он к сменным мастерам.

Мастер Комлев, широкоплечий ражий мужчина с окладистой огненной бородой, из старых рабочих завода, прогудел:

— Да-к что говорить, товарищ директор. Непорядки, знамо, изживать надо, а так — мы со всем согласны.

— Согласны, — проворчал Непоседов. — Вы всегда так: со всем согласны, а как к делу, вы в кусты. Развели сонное царство и вместо, чтобы головой поработать, — «мы согласны!» Я из твоего согласия шубы не сошью, ты толком говори, пойдет дело или нет?

— А чего ему не пойти? — ошарашенный резким тоном директора смешно вытаращил глаза Комлев. Непоседов засмеялся:

— Ладно, борода, я с тобой потом поговорю... Товарищ Уткин, ваше мнение?

Пожилой, с костлявым лицом и нескладной фигурой технорук Уткин, скромный человек и старательный работник, но из тех, что пороку не выдумывают, смущенно покашливая сказал, что технического порядка предложения Непоседова он приветствует, надо только тщательно обдумать вопрос о сокращении рабочих, принесет ли оно пользу?

Упоминание об этом разбудило предзавкома Долгова. Рабочий, член партии, он давно превратился в профессионального завкомщика: Долгов переизбирался на свою должность много лет. Представитель интересов рабочих, свою деятельность Долгов ограничивал клубной работой, кассой взаимопомощи, собиранием членских взносов в профсоюз и отметками на больничных листах, но иногда позволял себе выступить «в защиту трудящихся». Он заявил, что в сокращении рабочих не видит надобности и что оно противоречило бы колдоговору, которого, как неловко добавил Долгов, «все же надо придержививаться».

Совещание шло вяло. Парторг, тоже в прошлом рабочий завода, нерешительно сказал, что надо бы организовать стахановскую смену, но как это сделать, не пояснил. И опять воцарилось молчание.

— Да, — протянул Непоседов, — энтузиазма у нас столько, сколько пара в нашем котле. Может, товарищ Кольшев поделится своим мнением?

— Вы правы, у вас потому энтузиазма нет, что пара в котле не хватает, — улыбнулся Кольшев. — Если позволите, скажу свое мнение, — и он обстоятельно разобрал директорский план, так, как будто сам составлял его и знал положение завода не хуже нас. Кольшев в общем одобрил план Непоседова, но сказал то, чего другие не решались сказать: этот план спасти нас не может.

Доводы Кольшева были разумны, убедительны, основательны. Чувствовалось, что дело он знает хорошо. И сам Кольшев, с широким спокойным лицом и плотной фигурой, производил впечатление солидности, внушительности и вдумчивости. Слушая его, я подумал: Непоседов — сама стремительность, но Бог знает, куда она может завести, а на этого человека можно полагаться.

Не одобрил Кольшев только предложение о сокращении рабочих:

— Эффекта большого это не даст, а в дальнейшем может ухудшить ваше положение. Добьетесь вы высокой производительности, тогда рабочих вам не будет хватать, а восстановить прежнее количество рабочих вам уже вряд ли позволят. Да и вообще эффект, достигаемый таким путем, в конце концов теряется. Нет, я не сторонник того, чтобы обижать рабочий класс, — спокойно пошутил Кольшев. — Я другое предложу: разработайте-ка прогрессивно-премиальную систему оплаты, это наверно поможет.

Кольшев мне положительно понравился. А его шутка о «рабочем классе», в которой чувствовалась и ирония над привычной терминологией и сочувствие к «рабочему классу», доставила мне большое удовольствие. Все слушали внимательно.

— Самое главное я припас вам на конец, — продолжал Кольшев. — Сейчас скажу, что это, но с условием: обязательно проведите всё вами намеченное, а потом пустите в ход главное. Я привез вам наряд на трубки, можете посылать за ними людей...

— Что? Не может быть? Трубки? — посыпались восклицания. Сонливость как рукой сняло: все повскакали с мест и возбужденными взглядами уставились на Кольшева. Непоседов метнулся к нему, выскочив из-за стола. Можно было удивляться, какое магическое действие произвело одно слово: трубки!

Улыбаясь, Кольшев достал из портфеля наряд, Непоседов подхватил его, быстро пробежал глазами и замахал им в воздухе:

— Трубки, друзья, трубки!

Все спрудились около директора, каждому хотелось взглянуть в наряд.

— Давно бы так, — прогудел рядом со мной Комлев. — А то говорим, говорим, а проку от этого...

Совещание можно было закрывать: трубки разрешали все затруднения.

Подготовка к наступлению

Предложение Кольшева о прогрессивно-премиальной оплате труда пришлось мне по душе и я взялся за дело. Съездил в Наркомлес, взял в нем типовое положение об этой оплате для лесопильной промышленности — оно мне не понравилось. Типовое положение было составлено с таким расчетом, чтобы понудить рабочего работать больше, а заплатить ему поменьше: если рабочий выполнял норму на 105 %, то зарплата ему повышалась всего на 6 - 7 %, что, конечно, недостаточно компенсировало перенапряжение рабочего, благодаря чему он перевыполнил норму. Кроме того, типовое положение предусматривало введение прогрессивно-премиальной оплаты только для рабочих ведущих участков, тогда как другие рабочие должны были получать обычную сдельную оплату. Это было явно несправедливо: при перевыполнении нормы ведущим участком и остальным рабочим приходилось работать больше, они тоже участвуют в общем выполнении нормы цехом.

Пользуясь тем, что типовые положения для нас необязательны, так как мы не подчиняемся Наркомлесу, зная тароватость Непоседова и обнадеженный сочувствием Кольшева к «рабочему классу», для нашего завода я решил выработать другую, более справедливую систему оплаты труда. По моему проекту все рабочие цехов, включая слесарей, машинистов и даже уборщиц-опилочниц охватывались этой системой. А повышение зарплаты производилось так, что при перевыполнении нормы на 25 % рабочий получал примерно двойную зарплату, а выше — даже тройную. Прогрессивка, так прогрессивка! Получалось многовато, но тща-

тельно составленные расчеты доказывали, что завод, из-за сокращения цеховых и административных расходов на выпускаемую продукцию, при перевыполнении плана и с этой оплатой получит еще большую прибыль.

Непоседов подписал проект, не вдаваясь в детали: он знал, что нами управляют одинаковые чувства. Я повез проект в Москву. Кольшев просмотрел его, внимательно проверил расчеты, усмехнулся:

— Высоковато хватили, но ничего, рабочий класс обижать не нужно. Положение у вас скверное и не беда, если побольше заплатите, авось выправитесь. Постараюсь провести в Наркомате ваш проект, как он есть.

Кольшев мне нравился всё больше. Другой на его месте, боясь, «как бы чего не вышло», придрался бы, почему не сделано по типовому положению; с ним надо было бы нудно препираться за каждый процент повышения зарплаты, потом идти на компромисс и видеть, что от твоего проекта остались рожки да ножки. Кольшев же не только не препирался, но и не боялся взять на себя ответственность за наш проект, хотя он и строго проверил его. Но строгая проверка в таком случае даже лучше: после нее чувствуешь себя увереннее, зная, что ошибки не допустил. Нет, с таким человеком работать можно.

Непоседов тем временем мучил бригаду слесарей, машинистов, механика, не выпуская их с завода иногда по две смены подряд. Ему не терпелось поскорее устранить мелкие недостатки. Привезли трубки — часть чумазных принялась за ремонт котла. На заводе чувствовалось возбуждение: мы как будто готовились к наступлению.

Недели через две наш проект прогрессивно-премиальной оплаты труда вернулся из Москвы в виде утвержденного положения. Мы решили познакомить рабочих с новой системой оплаты.

В перерыве между сменами в обшарпанном заводском клубе собралось около четырехсот человек. Непоседов, председательствующий, сообщил, что с первого числа, до которого оставалось дня четыре, завод переходит на новую систему оплаты труда. Я подробно рассказал о ней, потом Непоседов предложил задавать вопросы.

Зал молчал. Но молчание не было тем тяжелым, не пробиваемым, которое обычно бывало на заводских собраниях

с докладами на политические темы. В зале шушукались, кашляли, переговаривались: чувствовалось, что сообщения не прошли мимо ушей и медленно перевариваются в головах. На многих лицах был написан интерес, на других недоумение: люди словно не понимали, каким ветром дует? Всерьез было сказано, или только так, как говорится всегда на собраниях? Нет ли чего за этим сказанным и как его принимать? Зал был пронизан токами интереса и недоумения.

— Ну, в чем дело? — понукал Непоседов. — Или всем всё ясно? Давай, братцы, шевели мозгой, на то вас и собрали, чтобы понятно было, в чем дело. От себя скажу: это вам шанс дается, чтобы положение выправить. Я не агитировать вас хочу, на что мне агитация, — отмахнулся Непоседов. — А только учтите: во-первых — стыд и позор для нас, что мы плана выполнить не можем. На что это похоже? Курам на смех — люди, как люди, а на деле — обсевки в поле. Ни одно предприятие в районе хуже нас не работает. Куда это годится? А потом — до каких пор вы будете на поденщине сидеть, по полтора ста рублей в месяц получать? Что вам, деньги не нужны? . . . Я вижу, у нас вообще беспорядок сплошной: ты что, курносая, смеешься, когда директор говорит? — неожиданно обратился он к молодой девушке-работнице, чему-то улыбавшейся в переднем ряду. — Вы, чумазые, почему за девками не смотрите? Разболтались, придется вас подтянуть, — балагурил Непоседов. В зале засмеялись, девушка прыснула, закрывшись платком; ее подруга рядом, осмелев, крикнула:

— А нам, на откоске, будет премия?

Смех и вопрос работницы сломили настороженность, вопросы посыпались, как из мешка. Спрашивали рабочие, подающие сырье в цех, пилоставки, слесари, сортировщики — каждый интересовался, не забыли ли его и как ему теперь будут считать зарплату. Я объяснял, но надо было повторять снова и снова, чтобы каждый мог понять. Зал загудел, приходилось кричать, чтобы быть услышанным. Пора идти на смену, а страсти только начинали разгораться: в разных углах зала вспыхивали споры.

— Хватит! — крикнул Непоседов, утихомиривая шум. — В общем понятно, а всего всё равно до самой смерти не узнаешь, на деле выяснится. Собрание закрываю, вторая смена — пожалуйста бриться, на работу!

Часть рабочих, толпясь в дверях, начала выходить, а рабочие первой смены, собравшись группами в клубе и во дворе, продолжали обсуждать новость. Переходя от группы к группе, я отвечал на новые вопросы и прислушивался к разговорам.

— Первое дело, чтоб подача не подкачала! — волновался рамщик в одной группе. — Ты мне подачу правильную дай, а за мной задержки не будет.

— А раму ты сам будешь крутить, заместо машины? — возражал другой рабочий. — Раз машина не тянет, и разговора не может быть. Брежня одна.

— Тебе всё брежня! — вскинулась на него бойкая работница. — Знаем, тебе не нужно: у тебя жена в Москву смоталась — и денежки в кармане, тебе и жизнь масленица. А мне каждый полтинник дорог.

— Знамо дело, десятка-другая на полу не валяется, о чем говорить, — поддержал ее третий рабочий.

В другой группе мастер Комлев, строго оглядывая толпившихся вокруг рабочих, загибал пальцы левой руки:

— Подача — раз! Пилоставу на месте сидеть, а то его с собаками не сыщешь — это тебе два! Рамщикам хватит в курилке сидеть, насиделись — это тебе три! . .

— Слесаря не забудь, их, дьяволов, недокликнешься, — вставил один из группы. Комлев сбился со счета и недовольно глянул на перебившего.

— Главное, порядок чтобы чик в чик был. А машина закрутит — котел-то ремонтируют! . .

Ухватив под руку, Непоседов повел меня к заводоуправлению. Он тоже был весел и возбужден:

— Задали работням перцу! Видали, как проняло? Это называется, проверка рублем! . .

Секрет успеха

Первого числа, после окончания работы дневной смены, мастер Комлев сам принес рапортчики за смену и не сдал их, как было заведено, моей сотруднице Вале, а положил передо мной на стол и попросил:

— А ну, посчитай.

Пока я подсчитывал, он сидел напротив и сосредоточенно следил за моим карандашом. Я вывел процент выполне-

ния нормы — оказалось 96. Это было неожиданностью: накануне смена Комлева дала только 85 %. Я протянул мастеру руку:

— Поздравляю, дорогой товарищ Комлев! Это не повчерашнему.

Комлев не взял руки. Просматривая расчеты, он улыбнулся в бороду:

— погоди проздравлять. Вишь, маленько не дотянули. Может быть, завтра проздравитишь...

Утром на другой день появился мастер ночной смены Кудрявцев, худощавый, похожий на цыгана, с угольками глаз под черными лохматыми бровями. Тоже старый рабочий и хороший мастер, Кудрявцев был молчаливым и серьезным человеком.

Его рапортчики дали 95%. Кудрявцев, словно не веря, внимательно просмотрел расчеты, что-то буркнул и ушел.

К концу работы опять явился Комлев, и не один, а с учетчиком и двумя рамщиками. Окружив стол, они напряженно следили за подсчетом. Подсчет дал 102 %.

— Хе-хе-хе! — довольно засмеялся Комлев. — Видал, едрена вошь? Стало быть, на что-то еще подимся. Вот, теперь проздравляй!

Улыбались рамщики, учетчик, их лица светились чистым довольством — мне тоже было радостно.

— А ну, посчитай, сколько ребята заработали за смену, — попросил Комлев.

Я принялся подсчитывать и хотя процедура это длинная, посетители терпеливо ждали. Оказалось, что рамщик, раньше не получавший 8 рублей в день, заработал 11 рублей, рабочая на откоске вместо 5–6 рублей заработала 8. Это подлило масла в огонь: из довольных лица стали веселыми.

— Эх, мать честная! — восторгался Комлев. — А если мы 105 % дадим? Трешка прибавки — смекаешь? — толкнул он в бок одного из рамщиков. — Одним духом на четвертинку! *

Я пошел доложить Непоседову, что мы наконец-то вытянули до 100 %. Только-что закончивший проведение предложенных им мер, Непоседов тоже обрадовался:

— Я же говорил, что дело не в одном котле! Кто был прав? Котел еще через две недели будет готов, а 100% уже

* Тогда 1/4 литра водки стоила 3 рубля 15 копеек.

в кармане. Теперь не спустят, а как котел войдет в строй — мама родная, удержу не будет!

— А может, это больше прогрессивка виновата? — подзудил я. Непоседов засмеялся:

— По малу одно и другое действует, а нашему козырю все в масть!

«Если бы только нашему!» — подумал я, но погасил эту мысль, как все равно бесполезную.

Смена Кудрявцева дала 101%. Уже знавший о 102% смены Комлева, Кудрявцев буркнул:

— Они в дневной, а дневная смена всегда больше дает. На другую неделю тоже дам...

Следующие дни дали незначительный прирост, в 0,5 — 0,75 % и выработка больше, чем на 104 % в дневной смене и на 103 % в ночной не поднималась. Это значило, что рабочие действительно старались и выжали из оборудования все, что могли при его нынешнем состоянии. Больше выжать нельзя, — а нам нужно довести выработку хотя бы до 110%, чтобы если не наверстать потерянное за истекшие месяцы этого года, то хоть смягчить тяжелое финансовое положение завода.

Еще дней через десять вступил в действие отремонтированный котел. В воскресенье его опробовали. А в понедельник на этот раз первым со сведениями пришел Кудрявцев. Пришел он с учетчиком, оставив в коридоре управления и во дворе чуть не всю свою смену: десяткам рабочих хотелось узнать, сколько они выработали. Не терпелось Непоседову, Уткину, парторгу, Долгову, главбуху: мой стол осадили со всех сторон.

Подсчитав, я не поверил самому себе: 118%. Вторично, проверяя, я подсчитывал уже один: собравшиеся буйной ватагой бросились из комнаты сообщать радостную весть. Непоседов несся впереди, сияя, как генерал, выигравший сражение.

Смена Комлева дала 115%. В следующие дни я не знал, кого поздравлять: цифры скакали, как зайцы — 120%, 122, 125, 130%. Я начал ощущать беспокойство: через неделю цифры скакнули за 140, потом перевалили за 150, подошли к 160... Дневная зарплата рамщиков, подскочив к 20 рублям, перевалила за 25, подошла к 30 рублям. Я схватился за голову: караул, скоро рамщики будут получать больше ди-

ректора! Что останется от прибыли, приносимой перевыполнением плана? Не ошибся ли я часом в расчетах?

Такая ошибка может привести к плачевному результату: как бы не попасть во «вредители». Я тщательно проверил расчеты-основания к новой оплате. Они были верны: даже выплачивая рабочим тройную зарплату, за счет перевыполнения плана завод всё-таки получал большую прибыль. Я успокоился: цифры за меня и новая оплата, утвержденная Наркоматом, не имеет ни ошибок, ни подвоха.

В первый месяц при новой оплате рабочие получили больше, чем двойную зарплату. Главбух тоже хватался за голову: денег еще не было и он с трудом наскреб их для выдачи зарплат. Рабочие получили на руки чистыми, за вычетом налогов и подписки на заем, почти по 500 рублей, рабочие других разрядов по 350 - 400 рублей и даже опилочницы-уборщицы, прежде получавшие по 110 рублей, теперь получили по 220 - 230 рублей. Впервые за много лет, а молодежь вообще в своей жизни впервые, рабочие отходили от кассы веселыми, с чувством, что их труд достаточно оплачен. И если раньше во время выдачи зарплат бухгалтерию осаждали злые и раздраженные рабочие, требовавшие проверить, не ошиблась ли контора в расчетах, выдавая так мало, то в эту получку недовольных не было и выдача денег проходила на удивление гладко, без обычных ругани и ссор.

Можно было только радоваться, видя удовлетворение людей. Радовались мы и результату работы: завод впервые не только выполнил месячный план, но даже и перевыполнил на 50 %. Это было громадным успехом.

Праздник на заводе

Завод преобразился: на лицах работников написано оживление, радость, едва ли не счастье. Даже утрюмые сторожа в проходных воротах выглядели приветливее, хотя, казалось, им нечему радоваться: подъем в цехах не мог отражаться на их положении. Но приподнятое настроение цеховых рабочих заражало всех. Да и все были как-то связаны друг с другом: у старика-сторожа, небось, в цеху работает сын, дочь, или зять, сноха — улучшение их жизни радует и сторожа.

Работа кипела. Раньше зайдешь в цех — в курилке у

бочки с водой обязательно сидят пять - шесть человек и мирно беседуют, попыхивая махоркой. Рама, а иногда и две сразу, стоят и мастер лениво, для очистки совести, препирается со слесарем, виновником простоя. Теперь всё изменилось: в курилке пусто; подставки, считавшие, что они оказывают мастеру снисхождение, подбивая по его просьбе пилы, теперь по своей инициативе стали являться на полчаса раньше, чтобы переставить или подбить пилы и не допустить ни минуты простоя по своей вине. Прогрессивка действовала: виноватому в простое премия снижалась или не выдавалась совсем. Слесаря тоже приходили на полчаса раньше, проверяли станки до начала работы и всю смену ревниво следили за своим хозяйством. Прежде никто не торопился и каждый ссылался на другого — платили всё равно одинаково и мало, — теперь вся смена работала одним темпом.

Своей сотруднице Вале я сказал, чтобы она разграфила большие листы бумаги, повесила их в цеху и каждый день представляла в них выработку сменами и заработок рабочих по разрядам. Дочь нашего рабочего, Валя с удовольствием выполняла поручение: ей тоже хотелось, чтобы ее отец видел результат своего труда. Каждый рабочий перед началом работы взглядывал на показатели, сравнивая заработки и выработку с другой сменой — цифры не только радовали, но и давали зарядку на предстоящий день.

Дня через три после того, как производительность пошла вверх, засуетились парторг, предзавкома:

— Надо заключить договора на соцсоревнование между сменами! Необходимо каждому рабочему дать социалистическое обязательство! Заключить индивидуальное соревнование между всеми рабочими!

Изобразив на лице недоумение, я спросил парторга:

— Как вы будете заключать индивидуальные договора, если вся смена выполняет одну норму? Есть ли в этом смысл?

Парторг не понял:

— Как какой смысл? Пусть они, на своих местах, поворачиваются скорее, других не задерживают.

— Им же никакого интереса нет других задерживать: в таком случае каждый сам себя лишает заработка.

— Не в этом дело! — досадливо воскликнул парторг. —

Они сейчас несознательно торопятся, а дадут обязательства, поймут, почему и как. А у нас — полная картина...

Я усмехнулся про себя: тебе не картину нужно, а надо, по заведенному партией порядку, сбить с толку порыв людей, оседлать его, присвоить себе, создав представление, что успех достигнут благодаря «социалистическим методам труда». А люди — они и без обязательств, по-своему, отлично понимали, почему и как. На заводе уже шло соревнование, не социалистическое, а простое человеческое. Приходил Комлев, из подсчета узнавал, что не догнал Кудрявцева на 2 - 3 % — Комлев крякал, тербил бороду:

— Обскакал, леший сухой. А мы подкачали. Ну, погоди, я им ужо нос утру, они у меня увидят, какой такой Комлев есть.

Поворилось это без тени недоброжелательства к Кудрявцеву и в бахвальстве Комлева не было ничего плохого: попросту, в нем говорил здоровый задор человека, сознающего, что он тоже «не лыком шит».

Прежде на наш завод, как на безнадежно отстающий, никто из местного начальства не показывался. Теперь приехал секретарь райкома, прошел с Непоседовым по цехам, поговорил с рабочими, поздравил с успехом. Явился представитель от районной газеты:

— Расскажите, как вы добились успеха? Поделитесь своим опытом с другими предприятиями.

Я опять посмеивался. Сказать разве, что секрет очень прост: отремонтировали котел, привели в порядок оборудование, дали возможность рабочим заработать побольше — вот и вся причина успеха. Но это газетчика не удовлетворит — пусть лучше ему Непоседов или парторг расписывают о «социалистических методах», об «ударничестве и соревновании» и прочей пропагандной ерунде.

После газетчика меня вызвал Непоседов. Он был в кабинете один.

— Кого бы нам в стахановцы произвести? — усмехнувшись, спросил он. Я пожал плечами:

— Какие же у нас стахановцы, Григорий Петрович? Каждая смена выполняет свою общую норму, работают одинаково.

— Так-то так, — протянул Непоседов, — да райком требует, ничего не поделаешь. Какое может быть предпри-

ятие, выполняющее норму чуть не на 200 %, без стахановцев? Не годится это... По показателям никак нельзя выделить?

— Никак: показатели общие для смены.

— Ну, ладно, я с партторгом и с Долговым как-нибудь утрясу. Найдем стахановцев.

Спустя несколько дней в районной газете появились четыре фотографии наших рабочих, по два от каждой смены. Жирный заголовок на всю страницу и подзаголовки гласили: «Стахановцы лесозавода, передовики социалистического труда»; «Ударники передового социалистического предприятия района». В статьях расписывалось, что эти рабочие выполняют нормы на 150 - 160 %.

Статьи и фотографии меня огорчили: другие рабочие выполняли столько же, зачем же выделять одних и этим обижать других? Работают все одинаково, но почему-то четверо удостоились особой славы. Да и какая во всем этом слава, если мы не сделали ничего большего, как добились только более или менее нормальной работы? Зачем же поднимать столько шума? Но «социалистическое хозяйство» не может работать без постоянной пропагандной шумихи, подогревающей настроение, и без хотя бы несправедливого выделения одних за счет других, по принципу «разделяй и властвуй». Все это было уже не производственным вопросом, а областью политики, вмешиваться в которую не приходилось.

Резкий рывок вверх вызвал у меня только одно сомнение: а не повысят нам в будущем нормы, почему получится, что вместо лучшего мы придем к худшему? При случае я поделился своим сомнением с Кольшевым. Он успокоил меня:

— Нет, почему же? Нормы у вас обычные, одинаковые для всего Союза, зачем же их повышать? Если по всей лесной промышленности поднимут, тогда другое дело, а у вас одних — нет, не допустим. Завод ваш небольшой, не ведущий, кто на него обратит внимание?..

Месяца через полтора-два шумиха со стахановцами и соревнованиями улеглась, а достигнутое как бы вошло в норму. Непоседов распорядился тщательнее следить за качеством продукции; боясь, чтобы у котла опять не сторели трубки, ему установили особый режим — обе эти меры не-

много снизили производительность и удерживали ее примерно на одном уровне: нормы выполнялись на 130 - 135 %. Это обеспечивало рабочим двойную зарплату, а план заводом, так как производственные нормы выше плановых, выполнялся на 150 - 160 %. Это было отличным показателем, на нем можно было остановиться.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

СОЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА

Игрушка Непоседова

В награду за достигнутый успех Наркомат прислал заводу, для разъездов директора, легковую автомашину М - 1. Надо было видеть радость Непоседова! Он давно мечтал об автомобиле — и вот его мечта сбылась. Первое время Непоседов забросил все заводские дела и занимался только машиной. Десятки раз в день обходя вокруг своей «эмочки», он оглядывал её с нежной любовью и ласково поглаживал блестящие крылья, так, как гладят скакунов. Через неделю он научился управлять машиной и получил право на вождение её, как шофер любитель. С этого времени он повсюду ездил только на «собственном» автомобиле.

Больше всего, кажется, ему нравилось гудеть рожком. Трогаясь с места, он обязательно сигналил, как пускающийся в путь поезд; увидев впереди, метров за 200 - 300, человека или курицу, он заставлял рожок раздражаться неистовым ревом. Во дворе дома инженерно-технических работников Непоседов приказал выстроить гараж, вскочивший заводу тысяч в пять рублей — зато предмет пылкой любви постоянно был перед глазами Непоседова.

В свободное время Непоседов изредка катал на машине жену и детей и никогда не отказывался от того, чтобы попутно подвезти кассира или главбуха в город, в банк, охотно меняя директорское звание на шоферское.

Трудно сказать, было ли непоседовское увлечение трогательным или смешным. Не умея скрывать свои чувства, Непоседов открыто радовался машине, как ребенок, получивший долгожданную и занятную игрушку. На заводе по-

смеивались над Непоседовым, иногда возмущались — занятый машиной, директор со всеми делами отсылал к техноруку; особенно смеялись над его страстью сигналить. Замечая это, Непоседов конфузился, но любви к машине превозмочь не мог и безраздельно отдавался ей. Когда первая его страсть прошла, он вернулся к директорским обязанностям, однако, на машине продолжал ездить сам и решительно отвергал предложения взять шофера.

Машина, верно, была удобна и хороша. Почти новая, прошедшая всего пять — шесть тысяч километров, призывно поблескивавшая свежим лаком, она радовала не только директорское сердце. Но был у нее и изъян: в Москве кто-то заменил на ней шины и на завод ее доставили с разваливающимися шинами. Непоседов тотчас же дал заявку на новые шины, но так как резина у нас тоже невероятно дефицитна и отпускается с великим трудом, удовлетворения этой заявки можно прождать год. Легче купить резину у шоферов московских такси: они умели «комбинировать» и всегда имели резину для продажи «налево». Но комплект «левой» резины стоил 600 — 800 рублей, против 150 — 200 по наряду в Автотракторосбыте, — такую цену платить за резину завод не мог. Необходимость достать новые шины составляла предмет мучительной заботы Непоседова.

Однажды я собрался в Москву, по служебным делам. Непоседов, никуда не собиравшийся, вдруг заявил, что тоже едет. Он предложил поехать на машине, по маршруту: Рыбинск — Ярославль — Москва и обратно. Я удивился:

— Помилуйте, Григорий Петрович, это верных шестьсот километров! Что мы, автопробег совершать будем? 600 километров по нашим дорогам! Сколько бензину сожжем, ведь это в копеечку вьедет. И резина ваша не выдержит.

— Так я потому и еду, что она больше не выдерживает, — подмигнул Непоседов. — Мы в Рыбинск заскочим, и там у волгостроевских шоферов резину по-дешевке купим. Ясно, в чем суть? Бензин ерунда, а дорога от Рыбинска не плохая, до Рыбинска тоже как-нибудь доберемся. Едем? Одному неохота.

Проще, конечно, сесть в поезд и через три часа быть в Москве. Непоседовский маршрут займет минимум сутки. Но погода стояла чудесная, мысль о дальней поездке по новым местам была соблазнительной — я согласился.

Не всё в технике к месту

Выехали не рано, часов в десять. Быстро проехали город, в окраинных улицах распутив превшихся в дорожной пыли кур, и покатали по мягкому проселку. В открытые окна веяло прохладой; лужок, по которому вилась дорога, с тронутыми желтизной березками, картинно застыл в тихой дреме бабьего лета.

Проехали километра два, въехали в лесок — вдруг мотор чихнул раз-другой и замер. Вопросительно смотрю на Непоседова — сконфузившись, он нажимает педаль стартера, тянет рычажок подсоса — ни с места.

— Что за ерундовина, первый раз такая штука, — бормочет Непоседов, выбираясь из машины. — Наверно карбюратор засорился.

Проверяем карбюратор — будто бы в исправности. Садимся, пробуем — никакого впечатления.

Начинаем поиски, где зарыта собака. Мы настроены бодро: какая-нибудь мелочь, сейчас найдем, в чем загвоздка. Я не сомневаюсь в технических способностях Непоседова; он найдет дефект, исправит и мы так же беззаботно двинемся дальше.

Отвинчиваем какие-то части, продуваем их, чистим, снова ставим на место, Непоседов заводит мотор — всё с тем же результатом. Что за дьявольщина! Проходит полчаса, час — я начинаю ощущать беспокойство. Кажется, нервничает и Непоседов?

Однако, дефект найден! Бензиновая помпа не работает.

— Вот она, негодница, — ласково говорит Непоседов, любовно разглядывая отвинченную помпу. — Сейчас мы ее, голубушку, приведем в божеский вид. Главное, причину обнаружить, а теперь мы мигом...

Он разбирает помпу, чистит, нежно дует в нее, потом бережно собирает и ставит на место. В десятый раз заливаем в карбюратор бензин, в пятнадцатый Непоседов садится за руль.

— Садитесь, — приглашает он, — теперь поедем. — Но мне уже не верится — и не напрасно: мотор почихал минуту и опять заглох.

— Ах, сукина дочь, — все еще ласково бранится Непоседов. — Чего ей не хватает? Посмотрим, посмотрим, — пов-

торяет он, вновь отвинчивая упрямую помпу. Похоже, что ему даже нравится возиться с ней: больше узнает.

Опять разбираем и собираем, ставим на место, заливаем бензин — машина стоит, как вкопанная.

— Будь ты неладна! — начинает ругаться Непоседов. — Это что ж такое? Всё в порядке, а ни туды и ни сюды. Смотрите, — в десятый раз объясняет он устройство помпы. Я слушаю: рычажок, мембрана, клапаны — становится скучно.

— Вот только на кой чёрт этот шарик, — показывает Непоседов маленький шарик из пробки, — не пойму хорошенько. Он играет роль клапана, но за каким чёртом, если и другой клапан есть? Хотя, раз поставили, значит нужен. В механизмах лишнего не бывает, — философствует Непоседов. — А ну, проверим на воде, работает она, чертяка, или нет, — предлагает он и идет к ручью у дороги.

Может быть помпе понравилась хрустальная вода лесного ручейка, только воду она качала исправно.

— Вот так фунт! — удивился Непоседов. — Работает, смотрите! А ну, еще раз поставим.

Поставили — ни с места.

— Что б тебя разорвало! — с сердцем ругается Непоседов, опять хватая французский ключ. Он яростно разбирает помпу и мрачно вертит её в руках.

Уже ноет в желудке. Смотрю на часы — три. За пять часов мы отъехали от города два километра. В меня закрадывается мистический страх: мы, наверно, не стронемся с этого проклятого места. Непоседов тоже заметно поостыл: он нахмуренно разглядывает помпу и не знает, что еще сделать с ней.

Достаю из машины портфель, сажусь на травку, вынимаю предусмотрительно захваченные бутерброды: собиравшись на день — еды бери на три.

— Закусите, Григорий Петрович, — предлагаю Непоседову. Он вытирает руки о штаны, спохватывается, рвет траву, тщательно вытирает ею руки, потом платком чистит брюки.

— Приедешь в Москву, на трубочиста будешь похож, — насупив брови, говорит директор. Жуя бутерброд, он саркастически улыбается: — Мне Аня совала в портфель бутерброды — я выбросил. Еще ругался: куда, говорю, суешь,

мы же через два часа в Рыбинске будем. Что мы, на лошадях, что ли? Это ж не старое время! . . . Тыфу ты, какое идиотство! Аж противно! — плюется Непоседов.

Покончив с бутербродами, закуриваем и не спешим подниматься: всё равно бесполезно.

— Подумать только, — раздраженно говорит Непоседов, — машина на все сто, а такой пустяк, как помпу, не могли продумать. Куда это годится! Идиоты, а не конструктора!

— Может, пока светло, в город за помощью сходить? — предлагаю я. — А то застрянем на ночь.

Непоседов бросает на меня негодующий взгляд, вскакивает на ноги:

— Это ж курам на смех! Что мы, маленькие? Позор на весь город! — и снова бросается в бой с помпой.

Мы ее разбирали и собирали еще пять-шесть раз — помпа не работала. От деревьев протянулись длинные тени, потянуло вечерней свежестью.

Не глядя на меня, нахмуренный, злой, Непоседов боролся с помпой. Я уже потерял интерес к ней и не смотрел, что делает Непоседов.

Он еще раз поставил помпу на место, налил бензин, молча сел за руль, грозно смотря перед собой. И вдруг — мотор заработал! Машина дрогнула, тронулась с места, — Непоседов прогнал ее немного и остановил. Поспешно собрав инструменты, мы уселись, — машина, словно отдохнув, будто с радостью зарысила по уже темнеющему лесу.

— Идет, подлюка! — кричал Непоседов. С его лица исчезла хмурость, он опять смотрел весело и уверенно.

— Что вы с ней сделали? — спросил я, еще не веря, что мы все-таки едем.

— А я из нее шарик выкинул! — воскликнул Непоседов. — Выкинул, она и идет! Видали, как бывает? Значит, не все в технике к месту. Теперь пойдет, голубка, я ее чувствую! . . . А вернемся на завод — я тут, впереди, бензиновый бачек поставлю, литра на три, на четыре. Я уже обмозговал: изолирую его асбестом, из него трубку, прямо в карбюратор, как на грузовиках, чтобы бензин самотеком шёл. На всякий случай, чтобы помпа меня больше никогда не подводила. Шалишь, меня не обманешь! — смеялся повеселевший Непоседов.

Быстро надвигались сумерки. Дорога, чем дальше, ста-

новилась хуже: машину нещадно подбрасывало на бугром выпиравших поперек дороги корнях.

— Как бы пресоры не поломать, — забеспокоился Непоседов, сбавляя скорость.

— А не заночевать в первой же деревне? — предложил я. — Дорога дрянь, шины у нас не лучше, если разъедутся, застрянем.

— Не хотелось бы, — недовольно покрутил головой Непоседов. — Хотя торопиться некуда, можно и переночевать...

Ночлег.

Лес расступился, посветлело — выехали на большое поле, посреди стояла деревенька, улицей вытянувшаяся вдоль дороги. Всего семь-восемь изб с одной стороны, столько же с другой. На улице ни души, хотя уже был вечер и полагалось бы в это время сидеть на завалинках старикам и судачить о своих делах. И, что совсем удивительно, ни одна собака не тявкнула на нас и не побежала, заливаясь лаем, догонять машину. Деревня казалась вымершей. Это впечатление усиливалось тем, что едва не половина высоких, ладно и щедро срубленных домов заколочена: перекрещенные доски закрыли окна, как будто у домов залеплены глаза.

— Сонное царство, — пробурчал Непоседов. — А ну, разбудим. — Он остановил машину и отчаянно затрубил.

В окне ближайшего дома показалось недовольное щетинистое лицо; из дома вышел мужчина, в заплатанном пиджаке, с лохматой непокрытой головой. Недружелюбно поглядывая, он не торопясь подошел к нам.

— Где живет уполномоченный сельсовета? — спросил Непоседов.

— Я самый и есть, уполномоченный, — ответил крестьянин, хмуро поглядывая на нас.

— Нам ночлег нужен, где у вас можно переночевать?

Уполномоченный не спешил с ответом, продолжая исподлобья рассматривать нас. Он словно взвешивал, кто перед ним? На машине — следовательно начальство, но какое, относящееся к нему или так, постороннее?

— А вы кто будете? — спросил он, без тени угодливости или желания услужить.

— Я директор лесозавода. Едем к командировку. Где у

тебя изба почище, попросторнее? — заторопил Непоседов. Не меняя выражения лица, уполномоченный нехотя ответил, показав рукой:

— Третья изба с правой руки, Сидора Силантьева, — и отвернулся.

— Черти не нашего Бога, — засмеялся Непоседов, пустая машину. — И разговаривать не хочет. Вот и строй с такими социализм.

Высокая четырехкоконная изба Силантьева тоже выглядела неприветливо: стены потемнели от времени, когда-то крашенная затейливая резьба наличников окон облупилась, местами выкрошилась; острый конек крыши подался вперед, будто дом упрямо насупился. Толстые бревна стен говорили, что в свое время дом был выстроен на славу и на много лет.

Постучали в калитку крепких, тоже на много лет поставленных ворот, но ответа не получили. Вошли во двор — ни души. Обширный двор пуст: ни телеги, ни саней или бороны, прислоненных где-нибудь к навесу; двери большого сарая открыты настежь и по черноте за ними угадывалось, что он тоже пуст. За сараем ютились еще какие-то сарайчики и клетушки, дальше, за оградой из жердей, повидимому, был огород. Но и двор превращен в огород: только у дома и дальше, у клетушек, оставлен широкий проход, а остальное пространство занято рядками, уже пустыми или с увядшими кустиками картофеля. Ни души нигде, ни движения; к двери на высоком крыльце прислонена метла — свидетельство, что хозяев дома нет.

Обоим нам, привыкшим к заводскому и городскому оживлению, от этого неподвижного запустения стало не по себе. Непоседов крикнул:

— Есть какая живая душа? — никто не отозвался.

С полчаса просидели на крыльчке, ожидая хозяев. Было уже темно, когда с заднего двора показался высокий, худощавый, жилистый старик, лет шестидесяти. Он не удивился, увидев нас, поздоровался, — мы сказали, почему сидим у него во дворе.

— Переночевать можно, место найдется, — без воодушевления ответил хозяин, поднимаясь на крыльцо. — Заходите в избу.

В избе он зажег маленькую керосиновую лампочку, мы огляделись — в комнате опрятно и чисто. Стол, широкая скамья у наружной стены, несколько венских стульев, горка, по стенам почерневшие литографии — обстановка была ответшавшей, но видно, что в этом доме когда-то жили хорошо. Непоседов спросил, нельзя ли достать молока, яиц, чего-нибудь поесть.

— Оно можно, почему нельзя, да ты знаешь, почему нынче молоко, яйца? — сухо и недружелюбно спросил хозяин. — Они нынче кусаются.

Непоседов ответил, что мы заплатим по городской цене, — хозяин немного смягчился.

— Сейчас хозяйка придет, подаст. Садитесь пока.

Мы сели; хозяин неторопливо и насупленно толкся по дому: поговорить с ним, повидимому, было безнадежным делом.

Хозяйка оказалась совсем другой: лет на десять моложе мужа, с приветливым лицом, расторопная в движениях, она радушно поздоровалась с нами:

— Милости просим: постечками будете.

Она принесла кринку душистого молока, кусочек масла, хлеба; собрала ужин себе и мужу: хлеб, вареная картошка и тоже молоко.

— Скушайте и вы картошечки, с молоком вкусно! А с маслицем и подавно, сама в рот пойдет! — приятным ярославским говорком тараторила словоохотливая хозяйка. Непоседов, всегда чувствовавший себя с простыми людьми своим человеком, пустился балагурить — к концу ужина оттаял и хозяин и начал поддерживать разговор.

После ужина посидели, сумерничая. Угостили хозяина папиросой, расспрашивали о житье-бытье — старик совсем отошел и уже охотно говорил.

До революции они жили хорошо, но было туговато с землей. После революции получили еще земли и с помощью двух подросших сыновей, во время НЭП-а, старик поднял свое хозяйство. У него было четыре коровы-ярославки, лошадь с жеребенком, овцы, свиньи, птица — старик чувствовал себя так, будто добился всего, о чем мог мечтать. Но пришла коллективизация — мечта ушла прахом.

— Вы спрашиваете, почему на улице никого нет, — говорил хозяин. — А кому на ней быть? Было у нас в деревне двадцать дворов — четырех раскулачили, выслали, — вот тебе четыре дома заколочены. Пять семей в город подались — еще пять домов заколочены. Из двадцати осталось одиннадцать. И из тех половины нет: два мои сына в город на завод ушли? Ушли. Дочь на курсах, в ме-те-фе, — кого ты на улице встретишь? И собак нет: беречь нечего, а они только лишнее жрут. Тут только те остались, кому либо никак уйти нельзя, либо, как нам с женой, кому податься некуда.

— Нам у двора на лавке сидеть недосуг, — продолжал хозяин. — День в колхозе, а вечером на своем огороде копаемся. Не будешь копать, с голоду опухнешь. В прошлом году мы с бабой получили от колхоза три пуда хлеба, на весь год, хоть ешь, хоть радуйся. Что ты с тремя пудами сделаешь? А у нас корова — старуха каждый день по шесть литров молока доит, а в колхозе коровы только по три-четыре литра дают. Шесть кур у нас. Отнесет жена на базар كيلو масла, яиц десяток — вот тебе 20 рублей, за них мы в городе 20 кило хлеба купим, — а если в колхозе, так нам за него надо три месяца работать. Картошка у нас со своего огорода, на всю зиму — так и живем. А зачем живем, сам не знаю, — невесело заключил хозяин.

Какие слова могли бы утешить этих людей? Языки у нас не поворачивались говорить фальшивые слова утешения и мы молчали, может быть только видом выказывая свое сочувствие.

Непоседова уложили спать на парадной кровати в другой комнате, мне постелили на широкой лавке, а хозяева устроились в клетушке при входе, где они всегда спали летом.

Утром на другой день мне довелось увидеть, как колхозник Силантьев стремился на работу в любимый колхоз. Часов в шесть кто-то постучал с улицы палкой в раму окна и крикнул:

— Дядя Сидор, вставай, на работу!

Из клетушки недовольный голос хозяина ответил:

— Слышу. Других кличь.

Хозяин оделся, умылся, потом сел завтракать — всё это он проделывал так неторопливо, что прошло еще добрых полчаса. В окно опять постучали:

— Дядя Сидор, выходи!

Хозяин поднялся от стола, выглянул в окно:

— А все собрались?

— Почитай все. Тебя ждем, — ответили с улицы.

— Сейчас выйду. — Заметив, что я не сплю, хозяин обратился ко мне: — Видал, как собираемся? Часам к восьми в поле будем. А если б я у себя работал, я бы без часов, с солнышком в поле был... Ты лежи еще, скоро хозяйка придет, завтрак вам соберет. Она в колхоз пошла, коров доить, со своей управилась. Вернется, вас покормит. — Попрощавшись, он не спеша вышел.

И настроение хозяина и неутешимое его горе я понимал хорошо: еще в концлагере я знал, каким бедствием явилась для крестьян коллективизация, — знал от таких же Силантьевых, заключенных в концлагерь за сопротивление коллективизации. Понимал хозяина и Непоседов: он, Долгов, парторг, несколько комсомольцев погустрее, вместе с другими городскими партийцами три-четыре раза в году исчезали из нашего вида, на неделю, на две. Это райком проводил в деревнях очередную «кампанию» — по севу, уборке хлеба или по хлебозаготовкам. Для того, чтобы понудить крестьян в горячую пору работать интенсивнее и заставить их сдать хлеб, партии приходилось посылать в колхозы партийных контролеров-погонял в число которых попадал и Непоседов.

Из этих поездок Непоседов возвращался упрямый и злой. Иногда скупо, двумя-тремя фразами, он проговаривался о том, что видел в деревне и что ему лично приходилось делать, но и без его рассказов я представлял, какова была его «работа» и как она была ему не по душе. Отказаться от нее он не мог: тогда его исключили бы из партии и хорошо, если бы к тому же не отправили в концлагерь, за отказ выполнить «задание партии и правительства». Поэтому ему пришлось бы распрощаться со своим положением и с любимым делом. Как бы для того, чтобы поскорее забыть неприятное, Непоседов после каждого исчезновения в деревню еще яростнее принимался за работу на заводе.

Охота пуще неволи

Ночью прошел дождик — солнце ярко поблескивало в лужицах, когда мы тронулись дальше. Пыль прибило дождем, воздух был пьяняще-чист и мы бодро катили по мягкой проселочной дороге.

Непоседов был озабочен: у нас оставалось мало бензина. Выручила случайность: не проехали мы и полчаса, как показалась автоцистерна, медленно тромыхавшая навстречу. Непоседов остановил машину, помахал рукой — цистерна тоже остановилась. В широкой кабинке сидел один шофер; по зеленой измазанной гимнастерке я признал в нем заключенного. Он и был заключенным концлагеря Волгостроя НКВД, строившего неподалеку, около Углича и Рыбинска, через Волгу плотины и электростанции.

— Эй, дружок, не разживемся у тебя бензинчику? — крикнул Непоседов. Шофер минуту подумал, приглядываясь к нам, потом выбрался из кабины и спрыгнул на землю.

— А много вам? — спросил он.

— Можешь, давай литров пятьдесят, нет — налей машинный бак. Много у тебя?

— Залейся, — махнул рукой шофер. — Целая цистерна. Давайте скорее, пока никого нет.

Мы мигом достали запасные бачки из багажника — волгостроевский бензин щедрой струей полился в них. Пока наполняли бак машины и запасные бачки, я спросил шофера:

— По какой статье?

— По седьмому восьмому. *

— На много?

— На десять.

— А сколько осталось?

— Пять.

— Не попадет тебе за недостатку бензина? — вмешался Непоседов.

— А кто будет проверять! — отмахнулся шофер.

* По закону от 7. 8. 32 года, за «расхищение социалистической собственности» каравшемуся десятью годами и даже смертной казнью кражи на производстве, в колхозах и т. п. По этому закону осуждали крестьян за срезывание колосьев на колхозных полях или за сбор колосьев с уже сжатых и убранных полей; рабочих за кражу куска мыла, кожи и т. п. на заводах.

— Тебя без конвоя пускают?

— Меня знают, я давно работаю.

— А резины у тебя случаем нет? — осведомился Непоседов.

— Нет, нету.

— Не знаешь, можно у ваших шоферов купить?

Шофер покачал головой:

— Нет, не купите. Раньше можно было, а сейчас у самих нет. Половина машин без резины стоит.

Бензин налит, Непоседов спросил, сколько надо заплатить.

— По казенной цене, — ухмыльнулся шофер, — 90 копеек литр.

Непоседов дал ему 50 рублей, мы распрощались и разъехались.

— Немного больше дал, — заметил Непоседов, — да он заключенный, ему неоткуда взять. Пусть пользуется нашей добротой. Зато мы теперь спокойны: бензинчику полный запас! О бензине голова до самой Москвы болеть не будет.

Ничто не сулило тяжких испытаний и мы были в отличном настроении. Погода прекрасная, машина идет хорошо, дорога ровная, бензина у нас много — чего еще желать? Забыв, что счастье не ходит без несчастья, мы дорого заплатили за свое благодушие.

Не проехали и десяти километров, как машина начала как-то странно вилять, будто припадая на одну ногу. Непоседов изменился в лице; остановив, он бросился из машины, как на пожар. Выбравшись следом, я застал его уже на корточках у правого заднего колеса, мрачно разглядывающим покрышку.

— Называется слезай, приехали, — пробубнил он в ответ на вопросительный взгляд.

Покрышка разъезжалась, да еще вдоль. Не только резина, но и основание покрышки стерто сантиметров на тридцать до конца, до дырок, в которые жалко выглядывала красноватая резина нежной камеры. Еще небольшое усилие — и покрышка разъедется окончательно. Конец, дальше ехать нельзя.

— Да, слезай, приехали, — задумчиво повторил Непоседов. — Что будем делать?

Что придумаешь в таком положении, километрах в пятидесяти от Рыбинска, в глухом лесу, на проселочной дороге, по которой только изредка, одна-две за сутки, проходят грузовые машины и цистерны Волгостроя, и при отсутствии запасной резины? Положение было безвыходным.

— Если бы у нас было что-нибудь, чем стянуть бы покрывку, — примеряясь к дыре, говорил Непоседов, — может, мы как-нибудь до Рыбинска дотянули бы. А чем стянешь? Ничего нет.

Покопались в багажнике, в ящике с инструментами, — верно, ничего. Оглянулись крупом: широкая просека, с обеих сторон лес. Ни намека ни на что, чем можно стянуть покрывку.

Вдруг вижу в глазах Непоседова смешливые искорки: ему смешно. Он распахивает пиджак, снимает брючный ремень . . .

— Рассупонивайтесь! — смеясь, предлагает Непоседов. — Брюки не спадут, а спадывать будут, зубами держите! Не сидеть же среди дороги, по малу выберемся!

Что ж, раз нет другого выхода, снимаю и свой брючный ремень. Хорошо, что брюки и без него держатся . . . Двумя ремнями мы крепко скрутили покрывку и осторожно двинулись.

Как ни мягка была дорога, ремни выдержали недолго и через несколько километров перетерлись. Но мы выбрались ближе к жилью: справа начиналось поле, огороженное проволокой, в ней мы нашли добрый кусок телефонного провода и им обкрутили покрывку.

— Как бы не разрезало шину, — беспокоился Непоседов и мы ползли со скоростью лошади, часто проверяя покрывку.

Показался лесной хуторок, на нем Непоседов купил десяток сыромятных ушивальников — длинных тонких ремешков; заменили проволоку ушивальниками и тем же темпом поплелись дальше.

Остановки, разматывание и заматывание покрывки заняли много времени, — стрелки часов перевалили за 12, — и стоили не мало нервов. Сначала было смешно, потом возня с покрывкой начала надоедать, наконец, она осточертела. Сидя рядом с Непоседовым, я вспоминал, как недавно в Ярославле, на берегу Волги около Резинокомбината, видел

горы новеньких покрывшек. Куда они деваются? Непоседов тяжело вздохнул:

— Что ты сделаешь, такое хозяйство. Те покрывшки не для нас. 75 % продукции Резинокомбината идет для армии и в резерв, на случай войны, а нам — мы на брючных ремнях должны ездить.

Часа в два въехали в большое село. Посреди стоял магазин Сельпо. Зашли в него и жадно оглядывали полки: нет ли чего подходящего для нашей покрывшки? Узнав, что мы ищем, продавец повел в отделение с упряжью.

Оно неожиданно оказалось очень богатым всякими супоньями, черезседельниками, ремешками — у нас разбежались глаза. Мы перебирали ремень за ремнем, оценивая их прочность и эластичность, и наткнулись на широкие, в ладонь, толстые и мягкие сыромятные ремни, как нельзя лучше подходившие нам.

— Это что за штуки? — спросил Непоседов.

— А я и сам не знаю, — флетматично ответил продавец. — По фактуре значатся, как арканы, а зачем они, неизвестно. В нашей местности они не употребляются, потому и лежат, с того времени, как присланы, никто их не берет. Тут почти весь товар бракованный: то короток, то узок, то широк, — с тем же равнодушием объяснял продавец.

— Ну, мы тебя немного освободим от брака, — заметил Непоседов. — Дай нам пять таких арканов.

Чтобы не срамиться на людях, выехали из села и остановились в поле для капитального ремонта. Крепко и так хорошо стянули арканом покрывшку, что закрыли всё разъезжавшееся место. Заодно стянули и еще одну внушавшую опасение покрывшку.

Закончив работу, отошли, полюбовались: светло-желтые ремни яркими заплатами красовались на черном фоне машины.

— Здорово получилось, — покрутил головой Непоседов. — Как в цирке, публику будем развлекать. Поедем — так замельтешит у каждого в глазах, кто на нас глянет, что за увеселение можно будет деньги собирать.

Сначала поехали медленно, часто проверяя заплаты — ремни держались. Ускорили ход — ремни держались. Настроение наше поднималось: может быть, дотянем до Рыбин-

ска? Въехали в Рыбинск — ремни держались, как ни в чем не бывало.

Ни в Рыбинске, ни в Ярославле резину мы не достали и так доехали на арканах до Москвы, в которую прибыли только на третий день к вечеру. От Ярославля до Москвы Непоседов гнал машину на третьей скорости: мы уже крепко были уверены в прочности арканов.

В Москве я заявил Непоседову, что не хочу срамиться, разъезжая по столице в машине с ярко-желтыми заплатами, и отстал от него: попросту, мне надоела слишком затянувшаяся поездка. В тот же день закончив свои дела, я выехал поездом обратно на завод.

Непоседов вернулся дня через два. Взглянув на машину, я ахнул: она сияла новенькой резиной!

— Где достали?

Непоседов хвастливо, но воровато ухмыльнулся:

— В Наркомате получил! — Потом отвел меня в сторону и тихонько сказал: — Ни одной душе не говорите, в особенности жене: съест! Главбуха предупредите, чтобы не проговорился, когда извещение придет: я в Наркомате наградные получил, тысячу рублей, и за семьсот полный комплект резины купил. Не срамиться же, на самом деле, на арканах ездить? Зато гляньте: хороша резина, а?

Я посмеялся: чего не делает любовь! До этого Непоседов покупал для машины на свои деньги только мелкие запасные части и бензин, которого по наряду давали мало, — не пожалел он для машины и своих наградных! Что ж, охота пуще неволи.

Всесоюзная смазь

Месяца через два после того, как завод резко поднял производительность, технорук забеспокоился: у нас мало оставалось пил. Технорук давно дал заявку на пилы, послал несколько напоминаний — Москва молчит, а пил на заводе осталось недели на две-три. Это грозило серьезными последствиями: завод мог остановиться, в самый разгар работы, когда мы только начали выпутываться из жестокого кризиса.

Технорук доложил Непоседову, что Москва не присылает пил. Докладил на свою голову: Непоседов вспылит так, как редко бывало с ним.

— Почему молчали раньше? Не знаете, что у вас под носом делается? Не первый день работаете, как вы можете полагаться на заявки? Москву надо год ждать! — Это было справедливо: пилы тоже крайне дефицитный товар. Что у нас не дефицитно?

— Вызвать Москву, Васильева к телефону! — распорядился Непоседов.

Васильев — наш агент по снабжению. Жил он в Москве, получал от нас всего 300 рублей в месяц, а пропивал не меньше тысячи: был он торьким пьяницей, от него разлило водкой в любое время дня и ночи. Но это не мешало ему быть необходимейшим человеком, ибо Васильев обладал неоценимым качеством: он мог достать почти всё, выкапывая самые дефицитные материалы, как говорится, из-под земли. За это ему прощали и пьянство, и хамоватость, и то, что жил он явно не по средствам, разными способами прикармливая даваемые ему на покупки и расходы заводские деньги.

Поговорив по телефону, Непоседов распорядился: немедленно выслать Васильеву удостоверение о том, что он командировается в Горький, на завод, изготовляющий пилы, и перевести ему 300 рублей на расходы.

Через несколько дней приходит телеграмма из Горького: «Подтвердите согласие отгрузить два вагона леса. Подробности письмом. Васильев». Согласие тотчас же посылается. Еще через неделю Васильев доставляет сотни полторы новеньких пил и представляет отчет рублей на 600–800: проездные, суточные, квартирные, доставка пил на станцию, погрузка, выгрузка, всё, как полагается, подтвержденное документами. Такой мастер, как Васильев, достанет или сделает любые документы! Беспрекословно платим: ловкость Васильева еще не раз пригодится нам.

По письму завода, изготовляющего пилы, также беспрекословно отгружаем два вагона леса: обязательства надо выполнять. Очень может быть, что нам и еще придется обращаться к этому заводу, опять за пилами. Если обманем, в другой раз не дадут: ипать надо честно.

Привезенные Васильевым пилы торьковский завод, вероятно, по плану должен был отгрузить какому-то другому заводу и последний пил не получит. Нас это не беспокоит: как говорит Непоседов, не будь растяпой, бабочек не лови. Положишься на план, насидишься без работы, а у нас, хоть

и не чистым путем приобретенные, а пилы есть и мы теперь спокойно можем ждать пилы, полагающиеся нам по плану.

Механик заявляет, что нет баббита для заливки подшипников — Васильев неведомыми путями достает баббит. Нет гвоздей — Васильев достает гвозди, которых обычным путем тоже не достать. Всё дефицитно, во всем нужда, но мы можем достать почти всё, потому что обладаем тоже на редкость дефицитным материалом: лесом. Стройкам и заводам лес нужен, как воздух — мы даем им лес, а взамен получаем тоже необходимые нам, как воздух, материалы. Не подмажешь, не поедешь. А тем временем в Москве лежат наши заявки на материалы «по плановому снабжению», которые когда-нибудь будут выполнены, может быть, в половинном размере. Если ждать их выполнения, то и завод будет работать наполовину, поэтому, хочешь — не хочешь, а надо «проявлять инициативу».

Так, совмещая то, что дается по плановому снабжению, с тем, что добывается всеми правдами и неправдами, работала и продолжает работать вся промышленность. Ничего не поделалось: без частной инициативы, оказывается, не может существовать и социалистическое хозяйство, если оно хочет работать, а не прозябать.

Но что делать предприятиям, не производящим ничего такого, что можно было бы обменять, чем можно было бы «смазывать»? Что делать, скажем, тем, кто занят обслуживанием населения? Им остается полагаться лишь на плановое снабжение и жить в постоянном ожидании выговоров и даже ареста из-за плохой работы предприятий, которые и не могут работать лучше — потому что их неизменно подводит «плановое снабжение». Либо им надо развивать колоссальную энергию, чтобы как-то удовлетворить свои насущнейшие нужды.

На заводе не раз появлялся заведующий коммунальным хозяйством нашего порога, тоже член партии, усталый, нервный, измотанный человек.

— Будь другом, выручай, — молил он Непоседова. — Ну, чего тебе стоит?

— У меня не соцобес! * — ругался Непоседов. — Я по

* Отдел социального обеспечения.

плану работаю, у меня каждая доска на учете. Почему наряда не имеешь?

— Имею, как не имею, да я по этому наряду с весны ни палки не получил! А у меня сезон: электростанцию ремонтировать надо? Надо. Баню к зиме надо приготовить? Квартиры надо в порядок привести? Мост надо перекрыть? На нем лошади ноги ломают. Где взять? Будь другом...

— Я не обязан вас снабжать, идите к дьяволу! — пуще раздражался Непоседов.

— А ты сам где живешь, в Москве? — наседал с другого бока Завгоркомхозом. — Сам зимой в баню пойдешь, сам без света сидеть будешь, сам по мосту поедешь...

— Я на заводе вымоюсь и свет с завода проведу, — отмахивался Непоседов. Коммунальщик не отставал, в конце концов нытье его Непоседову надоедало, он спрашивал:

— Сколько тебе?

— Ерунду, полсотни кубометров всего, — нарочито небрежным тоном говорил коммунальщик. Непоседов вскидывался:

— Ты что, спятил? Два вагона! Смеяться пришел?

Опять начинались мольбы, торг — мирились на половине и обрадованный коммунальщик, конечно, назвавший первую цифру с большим запросом, бежал в город, чтобы прислать за лесом подводы.

За Завгоркомхозом приходил Завгорздравом, которому надо было отремонтировать больницу и детские ясли, потом являлся директор животноводческого техникума, за ним директор механического техникума, заведующий театром, а там еще и еще завья и директора — после долгих просьб, ругани, споров каждый увозил с завода воз-другой драгоценных досок.

Жизнь продолжалась, предъявляя свои требования, люди рождались, болели, женились, учились, умирали, им нужно было и отдохнуть и повеселиться, потанцевать — для всего нужна крыша над головой, пол и четыре стены. «Плановое социалистическое хозяйство» не в силах обслужить людей, поэтому поневоле приходится как-то изворачиваться, ловчиться, обходя рогатки социализма и фактически работая не по планам, а по причудливой «диалектической комбинации» из плана и бесплановости, а в сущности из посто-

янного нарушения плана, что официально, впрочем, называлось «проявлением здоровой инициативы».

Главный бухгалтер завода не всегда выдерживал здоровье этой инициативы. Человек мяткий и снисходительный, он без большого труда пропускал плутни Васильева, но иногда, проверяя отчеты агента и наткнувшись на слишком нагло-фиктивный счет, не выдерживал. Швырнув счет Васильеву, главбух кричал:

— Вы свои фигли-мигли хоть оформляйте как следует! Эту филькину грамоту, хоть убейте, не приму!

Не раздражаясь, с лицом невинно страдающего человека, Васильев шел к Непоседову. Директор звал главбуха и терпеливо объяснял, что счет, да, фиктивный, но по нему приобретен абсолютно необходимый материал, который иначе, более честным путем, завод получить не может. Что прикажете делать?

Чаще главбух, вздыхая, соглашался и одному ему ведомыми способами оформлял и оплачивал несчастный документ. Но бывало, что доведенный комбинаторством Васильева до высшей точки кипения, главбух не сдавался, — тогда узкое совещание в составе Непоседова, Васильева, технорука и меня находило другой способ оплатить Васильеву счета и спрятать концы в воду. Выписывался, например, наряд на какую-нибудь невыполненную работу, Васильев, мастер расписывался разными почерками, подмахивал его, технорук подписывал, я визирировал, Непоседов накладывал резолюцию «оплатить» — бухгалтерия получала совершенно добропорядочный и устраивавший её документ, к которому не мог придраться самый требовательный ревизор.

Это, конечно, было подлогом, но можно ли поступать иначе? Или не работай, или занимайся подлогами, обманывая установленные государством законы и правила — в конечном счете в пользу того же государства. Совершая подлоги, мы ничего не клали в свой карман, хотя рисковали многим, если бы подлог обнаружился. Но жизнь научила нас делать так, чтобы ничего не обнаруживалось.

После такого совещания Васильев заходил ко мне в плановый отдел, разваливался напротив на стуле и, большой, пухлый, с красным лицом, дыша винным перегаром хрипел:

— Всё планируешь? Пишешь? Брось приятным делом за-

ниматься, кому твои планы нужны? Мы без них управимся. Пойдем лучше, выпьем . . .

Я не осуждал Васильева. Бывая у него в Москве в семье, я знал, что это человек с широкой и не такой уж плохой душой. При другом порядке он был бы, наверное, оборотистым коммерсантом. Разве Васильев был виноват в том, что в наших условиях он сделался нечистым на руку комбинатором? Он был не так много виноват в этом, потому что вся наша хозяйственная система — сплошное нечистое комбинаторство, какая-то «вселенская смазь», вынуждающая подчас самых безукоризненных людей становиться отменными ловкачами.

Великие и малые комбинаторы

Неизмерима глубина надежды и доверчивости человека. Работая в концлагере, я видел такие фантастические примеры комбинаторства, «туфты», обмана, какие в нормальных условиях вряд ли могут и присниться. Выйдя из лагеря и начав работать, в силу этой самой надежды человеческой, я вообразил было, что больше такой фантастики не будет. Например, завод наш работает по строго рассчитанному плану, каждый кубометр продукции на учете, распоряжается ею Главное Управление в Москве, по нарядам которого мы только и можем отпускать лес. Всё учтено, взвешено, подсчитано — где тут место фантазии?

На деле совсем по-другому. Как бы строго ни был составлен план, охватить всего он всё же не в состоянии и обычно у каждого промышленного предприятия есть какие-то резервы. По плану мы должны были вырабатывать из сырья 67% готовой продукции, а мы ухитрились давать 68, 69 и даже 70%. Излишек составлял наш резерв; он тоже учитывался, но им мы могли распоряжаться более свободно.

Был у нас еще ящичный цех, перерабатывающий отходы — его продукция была сверхфондовой. Скоро мы нашли, что ящичные дощечки дорого и канительно выпускать; лучше выпиливать в ящичном цеху из отходов обыкновенные дощечки в 1–2 метра длины — их тоже «с руками рвали», и даже по цене готовых ящичков. Обходились они нам очень дешево, а продавали мы их в пять-шесть раз дороже себе-

стоимости — для завода это было весьма прибыльным делом.

Главк смотрел сквозь пальцы на нашу частную торговлю: в Главке понимали, что без комбинирования не проживешь и не наработаешь. Только иногда нам делали замечания, когда мы распоясывались черезчур и отпускали без рядов слишком много леса.

На наши резервы, как мухи на мед, слетались десятки представителей с разныхстроек и заводов: каждому надо выполнять свой план. Но не каждый из представителей мог получить свою долю: мы были разборчивы и одаряли только тех, кто мог дать нам что-нибудь взамен. Благодаря этому, в особенности к 1939 году, когда с продуктами и промтоварами опять стало туго, мы могли сносно снабжать свою столовую, заводской кооператив, а потом и свои лесозаготовки...

Я захожу к Непоседову и застаю у него незнакомого внушительного вида человека в кожанном пальто. Непоседов веселится:

— Ну, что вы можете мне предложить? Танк? Или пару пулеметов? Они нам не нужны: мы люди мирные. Пушки нам тоже не нужны. А может, заведем на заводе армию? — смеясь, обращается Непоседов ко мне.

Человек в кожанном пальто — представитель большого военного завода из-под Москвы. У них «прорыв»: не хватает несколько вагонов леса для окончания важного задания. Они разослали на разные заводы десяток гонцов: авось кому-нибудь посчастливится.

— Зачем танк, пулеметы? — возражает кожанное пальто. — Мы можем дать вам махорку, мануфактуру. У нас есть.

Представительство это кончилось тем, что мы дали им два-три вагона леса, а от них получили несколько ящичков махорки, бочку растительного масла для столовой и другие продукты: военный завод оказался запасливым.

Другой завод, изготовлявший парашюты, оболочки воздушных шаров и дирижаблей, баллоны воздушного заграждения, взамен леса дал нам несколько сот метров перкаля — тонкой, шелковистой и на удивление прочной материи, употреблявшейся на оболочки воздушных шаров и баллонов. Материя была такой широкой, что из метра перкаля выхо-

дила почти полная мужская рубашка — весь завод оделся в перкалевые рубашки и кофточки. . .

Непоседов приезжает из командировки и хвастает:

— Жалеть будете, что не женаты. Смотрите, какие я штучки привез! — Он извлекает из портфеля изящные женские туфельки. Такие туфли, так называемые «модельные», в Москве в то время стоили от 250 до 400 рублей.

— Знаете, почём? 75 рублей. Это одна артель предлагает, могут отпустить пар пятьдесят, просят вагон леса. Они работают только на экспорт, эти туфли считаются браком, но поищите-ка, найдете брак?

Никакого изъяна в туфлях мы не нашли. Наши женщины обнаруживали еле заметные царапины где-нибудь на каблучке или совсем незаметное пятнышко, что было достаточной причиной для того, чтобы их забраковал придирчивый контролер по экспорту, но никак не помехой, чтобы не носить эти туфельки. Мы отправили артели вагон леса, а наши модницы, до этого лишь мечтавшие о дорогих туфлях, стали в них щеголять. . .

Самой колоритной фигурой из представителей был Яков Абрамович Гинзбург, по неделям живший на заводе. Шумный старик лет шестидесяти пяти, с огромной привой седых волос, он никогда не носил шапки и отличался здоровьем и добродушием. До революции крупный маклер в лесной торговле, он когда-то знал отца, служившего в фирме, с которой Гинзбург имел дела. Это обстоятельство сблизило нас.

Идем, бывало, с Яковом Абрамовичем по складу пиломатериалов, Гинзбург приподнимает одну из досок, хлопнет ею, бросив, по штабелю:

— Смотрите, одна вода! Нажмите, потечет. Что получится из этой доски? Разве ваш отец мог продать хоть одну такую доску? И это называется хозяйством!

Раньше доски высыхали, прежде чем их пускали в дело. Теперь мы грузили доски прямо из рамы: ждать некогда. Сырыми досками крыли крыши, стелили потолки и полы, из них делали двери, оконные рамы — высыхая, всё это перекашивалось, лопалось, давало трещины. В «Крокодиле» был шуточный рассказ, как женщина на третьем этаже нового дома уронила на пол ножницы и нашла их в квартире первого этажа: ножницы проскочили сквозь щели через весь дом.

Гинзбург работал в пяти-шести московских промартелях, поставляя им лес с нашего и с других заводов. В каждой артели он получал небольшое жалованье или «вознаграждение», в сущности, комиссионные за поставленный лес, хотя законом работа по совместительству и выплата такого «вознаграждения» были строжайше запрещены. Жил Гинзбург в Москве на Арбате, в доме оригинальной конструкции. Когда мы познакомились, Гинзбург так пригласил меня:

— Заходите к нам в склеп. — Я не понял, он пояснил: — Да, да, я живу в склепе, заходите, убедитесь.

И верно, это был склеп: какой-то жилкооператив большой каменный сарай переделал в жилой дом. Гинзбургу досталась в нем комната внутри, не имевшая наружных стен, а потому и без окон. Их заменяло окно-фонарь в потолке — получилось полное сходство со склепом. В нем Гинзбург обитал с женой, не раз по воскресеньям угощавшей нас обильными и великолепными обедами еврейской кухни: по-есть Гинзбурги любили.

У нас Гинзбург питался главным образом ящичными дощечками, но иногда выпрашивал к ним полвагона-вагон полнокачественных досок. Взамен он снабжал нас продуктами своих артелей. Приезжая на завод, Гинзбург извлекал из портфеля сверток, разворачивал и говорил, целуя кончики пальцев:

— Это ж объедение, цимес! Копчушки! По ним в Москве с ума сходят: нежные, жирные, во рту тают. Могу тонну достать!

Непоседов морщился:

— Вечно вы со всякой ерундой! Нам рабочих кормить надо, на кой ляд нам тонна копчушек? Давайте что-нибудь посущественней.

— А что нужно? Макарон, крупы, конфет? Могу дать пастилы, мармелада, повидло, рыбных консервов. Сколько? — При ведении нами «натурального хозяйства», Яков Абрамович в деле доставания продуктов был незаменим.

Останавливался он у Непоседова или у меня и часто докучал нам: вечерами старику было скучно. Еще днем, на заводе, он пристаивал:

— Заложим вечером пулечку? Бросьте работу, послушайте старого человека: от работы лошади дохнут! Вечером пре-

феранс и никаких разговоров! — Преферансистом он был за-ядлым, но черезчур азартным, а поэтому, несмотря на громадный свой стаж игры в карты, частенько проигрывал нам: Непоседов тоже был тонким игроком.

Комбинации Гинзбурга были невинны: он честно зарабатывал свои тысячу-полторы в месяц, лавируя по сложным каналам «планового хозяйства» и минуя его плотины. Были комбинаторы и другого пошиба.

Однажды, в Москве, Непоседов предупредил, что сегодня нас приглашают обедать в «Европу». Я знал этот ресторан: более скромный и солидный, чем «Метрополь», «Москва» или «Савой», в которых часто кутили загулявшие снабженцы типа нашего Васильева или пройдохи-шоферы, он отличался хорошей кухней и таким же обслуживанием. Посуда, белье и официанты, казалось, сохранились в нем если не с до-революционных, то с нэповских времен. Но я знал и то, что цены в «Европе» нам не особо по карману. Если так, то приглашавший должен был быть крупной персоной.

Вечером мы сидели в «Европе», втроем. Наш новый знакомый, действительно, выглядел крупным человеком: высокий, по-чичиковски «склонный к полноте», с внушительной осанкой и приятными манерами, это был грузин, лет пятидесяти. Угостил он нас обедом не роскошным, но добротным, подстать себе, заплатив за него около полтора-раста рублей. За обедом разговор шел о погоде, о театре, о кино — наш новый знакомый будто только старался создать о себе впечатление, как о солидном и приятном человеке.

Просидели за обедом часа два, а я так и не понял, с кем мы обедали и зачем он угощал нас. Спросил Непоседова:

— Погодите, пока сам не знаю, — ответил Непоседов. — Выяснится.

Через несколько дней грузин приехал к нам на завод. Жене и ребятам Непоседова он привез конфет и держал себя обворожительно. Понравился он всем без исключения. Вечером, после ужина у Непоседова, когда мы уединились втроем в непоседовском кабинете, одновременно служившим хозяину и спальней, пость рассказал, что он — упомянутый по внеплановым заготовкам грузинского управления строительной промышленности. Строительство у них большое, леса не хватает, планы не выполняются — он до-

стает лес, чтобы хоть отчасти удовлетворить потребности строительства. Живет в Москве, но часто ездит по лесным районам. Цены его не интересуют: он готов заплатить любую цену, лишь бы был лес. В доказательство гость открыл объемистый портфель: одно его отделение было набито пачками денег.

— Здесь сто тысяч, — с милой улыбкой пояснил гость. — Я могу платить наличными, а можно расплатиться и через банк, обычным порядком. Можно и по-другому: по счету через банк платится по прейскурантной цене, а разницу с договоренной ценой я плачу наличными. Я уполномочен покупать лес без счета и по какой угодно цене: денег у нас много. Вагон леса стоит 2 - 2,5 тысячи рублей — я могу заплатить за вагон 10, 15, 20 тысяч, — улыбаясь, говорил гость, явно предлагая вступить с ним в сделку.

Как ни были мы знакомы с разными видами комбинаторства, такой масштаб малость ошарашил нас. В наших условиях, когда наличные расчеты на-строга запрещены законом, иметь при себе сто тысяч, предлагать любую цену и без счета — это уже слишком! Что по сравнению с этим наше жалкое комбинаторство для того, чтобы оплатить по фиктивному счету Васильева какие-то 200-300 рублей, за безусловно необходимое заводу! Наш гость тоже доставал необходимое своему строительству, но можно было представить, сколько при этом прилипало у него к рукам! Неудивительно, что он легко мог платить по 150 рублей за обед.

Мы сказали гостю, что, к сожалению, не можем быть ему полезными: внепланового леса у нас нет. Должно быть по изменившемуся нашему тону поняв, что имеет дело с безнадежно-отсталыми провинциалами, гость, продолжая приветливо и солидно улыбаться, раскланялся и ушел. Больше мы его не видели.

— Каков гусь? — изумленно сказал Непоседов, когда мы остались вдвоем. — Вот это номер! Какие же мы с вами после этого октябренки! Нам еще галстуки красные надо носить. . .

Чем ближе к войне, тем чаще повторялись такие «номера». Военные стройки поглощали больше и больше леса — тем хуже оказывалось положение гражданских строительных. Они шли на всё, даже на грабеж. Однажды Непоседов рассказал мне, что представитель откуда-то из Одессы,

купив у десятника Волгостроя небольшой плот в 300 кубометров за 10 тысяч рублей, просил Непоседова принять его, чтобы выпрузить заводской лесотаской и на вагонах отправить в Одессу. За работу завода представитель соглашался заплатить по счету, сколько потребует завод, а отдельно он предложил Непоседову «вознаграждение», тоже в 10 тысяч. Непоседов выгнал этого представителя, еще не зная, откуда у него лес. Вскоре волгостроевский десятник, составивший на проданный лес акт о том, что его разнесло во время бури, на чем-то попался, история раскрылась — одесский представитель вынужден был бежать, бросив лес.

Другой, приехавший от какой-то донской строительной конторы, умолял Непоседова принять у него тоже откуда-то подозрительно взявшийся лес, распилить его и отправить в Донбасс, за взятку в 5 тысяч рублей, помимо оплаты работы завода по счетам.

— Хотел я в прокуратуру позвонить, чтобы его сейчас же забрали, — говорил Непоседов, — а потом просто выгнал. Чёрт их разберет, может быть он и порядочный человек? Лес всем нужен.

Были и другие случаи, — разобрат, когда мы имели дело с действительными жуликами и подлецами, а когда люди вынуждены были комбинировать из-за злой необходимости, было невозможно. Непоседов возмущался, всё это ему было противно, но каждый раз кончал тем, что только гнал таких представителей с завода.

А главный комбинатор, организовавший и упрямо поддерживавший такой порядок, оставался вне нашей досягаемости. Он сидел в Кремле и комбинировал не в масштабе малых наших предприятий, а в масштабе страны и шире — в масштабе мира.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СОЦИАЛИЗМ ЕСТЬ УЧЕТ

Дело и безделье

Середина месяца. Утро. Начало работы в восемь часов, но я не тороплюсь и прихожу в половине девятого*. По дороге я тщетно придумывал себе работу и ничего не изобрел. Потому и некуда торопиться: впереди скучный, утомительный, пустой день.

Прохожу в свою комнату, здороваюсь с сотрудницами, раскладываю бумаги и продолжаю мучительно думать: что бы изобрести? Всячески растягиваю проверку итогов работы за прошлый день, — их уже подвела моя помощница Валя. Убиваю на это час, потом балагурю с Валей, развлекаю её искусством вычислений на счетах и на арифмометре — ей это может пригодиться, а мне зачем, если знаю я их до того, что они мне осточертели?

С тоской смотрю на часы: всего десять. До перерыва на обед два часа; потом надо высиживать еще до пяти. Тяжко! Пойти поболтать с Непоседовым? Тоже не весело: обо всем переговорено. Вздыхая, поднимаюсь и иду — если хорошая погода, поброжу по бирже сырья, посижу на берегу, буду часами смотреть, как лента лесотаски бесконечно вытягивает из воды бревно, одно за другим. Плохая погода — пройду по цехам, заберусь в конторку к механику или в материальный склад, побалагурить с кладовщиком. . .

Со стороны могло показаться, что мы работаем много, — а большую часть времени я изнывал от безделья. Я работал с полной нагрузкой примерно треть года — остальное

* Дело происходило до 1940 года, до введения закона о прогулах и опозданиях.

время уходило почти только на то, чтобы придумать себе занятие. На текущую работу по наблюдению за статистической отчетностью уходило час-два в день — больше мне работы не было. Я взял на себя обязанности юрисконсульта, заключал договоры с нашими поставщиками и покупателями, вел с ними переговоры и переписку — и это не заполняло моего рабочего дня.

А у меня еще две помощницы — статистик Валя и плановик Нина Михайловна. Валя, пышущая здоровьем деревенская девушка, из семьи нашего рабочего, была не очень грамотной, но усердной и добросовестной. С трудом что-нибудь усвоив в плановой или бухгалтерской премудрости, она усваивала прочно, навсегда, и без каких-либо сомнений. Жизнерадостная, веселая, Валя была комсомолкой — если бы вместо комсомола существовала другая организация для молодежи, Валя могла бы состоять в ней: комсомол для неё, как почти и для всей нашей комсомольской молодежи, лишь место приложения избыточной энергии и удовлетворения потребности общения со сверстниками.

Работы Вале хватало тоже только на три-четыре часа. Потом она сидела и еще больше портила мне настроение, требуя, чтобы я нашел ей занятие: нет ничего скучнее, тоскливее, чем высидживать за столом положенные часы, тем более такому человеку, как Валя. Я отделялся от нее, сдавая в бухгалтерию «на прокат»: в бухгалтерии всегда есть какие-нибудь «хвосты», которые надо распутывать или «зачищать».

Нина Михайловна, к моему удовольствию, была другим человеком. Жена монтера, работавшего на городской электростанции, молодая, она была изящной, среднего роста, хрупкой блондинкой. Также из рабочей семьи, Нина Михайловна не пристрастилась к работе: она легко просидживала день за своим столом у печки, читая роман. Характер у нее был на редкость спокойный, кажется, она ничего больше не хотела, кроме того, чтобы ей не докучали и не отрывали её от чтения. Я старался ей не мешать.

Но сократить своих помощниц и взять их работу себе я не мог. Кончался месяц, начиналась наша работа: вечером первого числа мы обязаны выслать в Москву первые сведения о работе за истекший месяц; второго числа надо выслать следующие данные, а третьего необходимо послать

полный статистический отчет, состоявший из десятка сложных таблиц. В эти три дня мы работали до двенадцати и до часу ночи.

Не послать или задержать сведения абсолютно невозможно: Главное Управление, получив данные с десятков заводов, должно немедленно составить сводный отчет и в определенный срок представить его в Наркомат; Наркомат сводный отчет по всем своим предприятиям тоже в жесткий срок обязан представить в Центральное Статистическое Управление и в Госплан. ЦСУ сводку по всей стране тоже в определенный срок должно дать в Совнарком, в Политбюро и самому Сталину.

В этой цепи всё тесно увязано и составляет необходимый стройный орнамент социалистического фасада. Нет каких-либо сведений, их надо выдумать, взять с потолка, но упаси Бог, чтобы не представить: из-за одного недостающего сведения разрывается вся цепь и сверху могут посыпаться громы и молнии приказов, выговоров, а может быть и арестов «за срыв отчетности». Чтобы избежать этого, мы и вынуждены были держать трех работников, в течение месяца изнывающих от безделья. С этим все мирились и по штатному расписанию три работника нам были утверждены, хотя Главк хорошо знал, что загружены они у нас в общей сложности не больше, чем полторы-две недели в месяц.

Поряднее время было у меня еще при составлении годового плана, на полтора-два месяца. В середине или в конце ноября Главк присылал контрольные цифры на следующий год: сколько мы должны переработать сырья, выработать продукции, какова должна быть у нас производительность, себестоимость и т. п. Эти цифры Главк получал от Наркомата, а последний от Госплана: они были частью государственного плана очередного года пятилетки.

На основании их и утвержденных правительством обязательных норм, расценок и правил мы составляли до мельчайших деталей рассчитанный план работы каждого цеха и общий план завода на предстоящий год. В нем предусмотрена каждая мелочь, вплоть до того, когда, где и сколько мы можем израсходовать тряпок для обтирки станков или где и когда нам надо будет вбить сто граммов гвоздей. Понятно, что мы старались в плане на всякий случай предусмотреть резервы, чтобы чувствовать себя свободнее

В готовом виде план — это объемистый том с сотнями таблиц, тщательно согласованных между собой и гармонично сливающихся в сводной таблице общего плана завода. Получается очень точная и стройная картина, могущая напоминать классическое художественное произведение, в котором, подчиненное строгой логике, всё на своем месте, всё вытекает одно из другого, находит завершение в едином заключении и в котором будто бы нет ничего лишнего. Над составлением этого произведения мы просиживали полтора-два месяца тоже до двенадцати, до часу ночи: готовый план надо представить в Москву в точно указанный срок.

В Москве тщательно проверяли план, обнаруживали наши резервы — начиналась торговля. Я доказывал свою правоту, защищая интересы завода, мне возражали, защищая интересы Главка, Наркомата и правительственных предприятий: работникам Главка хотелось, чтобы показатели по Главку были лучшими и к тому же Главк должен подчиняться установленным правилам и подчиняться этим правилам нас. Споры происходили иногда неделями и почти всегда заканчивались компромиссом. Но мне приходилось переделывать план: малейшее изменение в одной таблице влекло за собой переделку многих таблиц. Бывало, что приходилось переделывать план по три-четыре раза.

В лучшем случае к концу января, а чаще в феврале или даже в марте, мы получали утвержденный годовой план. Он являлся для нас твердым законом: официально мы должны руководиться только им. Банк мог выдавать нам деньги лишь в размере, предусмотренном планом, мы имели право держать служащих и рабочих и платить им лишь столько, сколько указано в плане, по плану мы должны получать материалы, сырье, инструменты и в точно определенных планом количествах расходовать их. Фасад получался необычайно стройным и точно рассчитанным — фактически мы часто обращались не к плану, а к услугам Васильева или Гинзбурга и выезжали на энергии и порячности Непоседова, предусмотреть которые никаким планом нельзя.

Несмотря на свою широту и раскидистость, Непоседов к плану относился с уважением. Он нарушал его, обходил — тем не менее план оставался для Непоседова заводским евангелием, по которому завод должен жить и работать. Фактически, до получения утвержденного плана, мы месяц-

два работали вообще без него; я говорил Непоседову, что можно обойтись и без плана — Непоседов отказывался понимать:

— Как же иначе, без плана? — недоумевал он. — Надо на что-то ориентироваться, без плана нельзя. Чем мы будем руководиться?

В этом, в сущности, заключался главный смысл нашего планирования. Раньше хозяин или руководитель предприятия вел дело, соображаясь с его прибыльностью, с рыночной конъюнктурой, со спросом — при социализме если это и не совсем отпало, для экономики страны в целом, то для руководства тем или иным предприятием уже не играло никакой роли. Единственным мериллом для руководителей стал план, знаменитые «плановые показатели». Другого мерилла, кроме разве своего собственного чутья, руководителям не давалось — постепенно, в особенности у молодых людей, появлялось сознание, что иначе работать нельзя вообще.

Наше лавирование и комбинирование тоже диктовалось необходимостью выполнить план. А план, в конечном счете, представлял собой не что иное, как приказ сверху и весь сложный социалистический орнамент этого приказа был лишь его маскировкой.

Людам доверять нельзя

Мой плановый отдел — в угловой комнате. Рядом, в двух больших комнатах и в клетушке с железной дверью и окошечком в коридор, где помещается касса, расположилась бухгалтерия. В ней почти сплошь девушки и женщины, такие же, как мои Валя и Нина Михайловна, тоже не очень грамотные и не очень умеющие работать, но всё же работающие. А ими командует главбух, пожилой, редко раздражающийся толстяк, с лысой, как бильярдный шар головой и круглым, в смешливых морщинках лицом. Он постоянно подшучивал над своим «цветником», но относился к нему отечески. Хорошее расположение духа главбух терял не часто, хотя положение его было не легким: если моей обязанностью была разработка данного сверху приказа-плана и наблюдение за его выполнением, то главбух в значительной мере нес ответственность за состояние завода наравне с директором.

Директор — главное лицо. Он распоряжается работой и средствами завода; он — «распорядитель кредитов». С него первый спрос. Главный бухгалтер подчинен ему, но он же — первый контролер над директором. Он имеет право не выполнить приказ директора о выплате денег, если почему-либо считает данную выплату незаконной; он может отказаться, на том же основании, санкционировать отпуск нашей продукции или материалов. При повторном распоряжении директора главбух обязан выполнить приказ, но в таком случае он немедленно должен сообщить о происшедшем в прокуратуру и вышестоящему начальству. Главный бухгалтер, в финансовом отношении, приставлен к директору чем-то вроде комиссара, жестоко контролирующего свое начальство.

На бухгалтерию в советских условиях, в сущности, возложена обязанность не столько учета и отчетности в общем смысле, сколько контроль за людьми, имеющими отношение к денежным и материальным ценностям. Поэтому и учет оказался осложненным до предела. Механику, например, надо выписать из материального склада для машинного отделения килограмм обтирочных тряпок. Он выписывает на них требование, оно поступает в плановый отдел. Я кладу на этом требовании визу о том, что в плане расход тряпок предусмотрен и выдать их можно. Требование переходит в бухгалтерию — она обязана сначала проверить, не перерасходовал ли механик отпущенные ему средства на обтирочные материалы, после чего выписывает, в четырех экземплярах, приказ-накладную на склад об отпуске тряпок. Кладовщик отпускает их, списывает тряпки по своей картотеке и при десятидневном отчете сдает копию накладной, с распиской получателя, в бухгалтерию. Последняя, по отчету кладовщика и расписке, списывает тряпки с кладовщика в расход. У всех, в качестве оправдательных документов, остается по экземпляру накладной, которые надо хранить в течение положенного срока.

Тряпки остаются тряпками, стоят они 15 - 20 копеек, понятно, что никто их красть не будет — на процедуру их получения и учета расходуются рабочие дни. И так с каждым материалом, какой бы ни был он ценности и как бы мало его ни выписывалось.

В основе такого «порядка» — недоверие к людям. Как

в области идеологической, так и в области хозяйственной советская система прежде всего подчинена задаче надзора за людьми. Иначе и не может быть, ибо у коммунизма готтентотская мораль: «морально только то, что выгодно коммунизму». Марксизм отвергает общечеловеческую моральную оценку поведения, основу оказания доверия людям, — это приводит к тому, что вожди коммунизма принуждены каждого человека рассматривать, как по крайней мере потенциального вора, за которым нужен бдительный надзор.

И потребовалось введение сложнейшего учета, требующего много людей и времени. В каждом цеху и на складах — учетчики; их проверяют работники планового отдела и бухгалтерии; нас проверяют работники Главка, банк, финансовый отдел; еще выше Наркомат — всюду есть громоздкие аппараты бухгалтерий и плановых отделов. А со стороны за нами следят еще прокуратура и НКВД.

Если бы мы соблюдали все сыпавшиеся сверху правила и приказы, тогда мы действительно не могли бы работать: не хватило бы ни людей, ни времени. Мы должны были бы заниматься только соблюдением правил учета, а производство работало бы кое-как. Поэтому кое-как мы соблюдали правила — и получалось опять двойное изображение: внешне — точный и строгий учет, а за ним люди, подчиняющиеся прежде всего требованиям жизни, а потом учету.

Это естественно: для Кремля мы — безликие единицы, которым власть никогда не доверяла и за которыми она должна была тщательно следить. А для нас работники завода были не единицами, а людьми, которых мы хорошо знали, а поэтому и не могли не доверять им. Мы не могли, например, подозревать нашего заведующего материальным складом, пожилого, степенного человека из крестьян, вероятно, бывшего «кулака» в том, что он присвоит тряпки или что другое: для этого наш завскладом был слишком порядочным человеком. Механик знал своих людей; все люди на заводе были, как люди, со всеми присущими им достоинствами и недостатками и почему-либо относиться к ним с особым недоверием мы не имели никакого основания. А поэтому и приказы о контроле выполнялись нами настолько, чтобы была сохранена лишь видимость этого выполнения.

И для соблюдения видимости приходилось держать много людей. Бухгалтерия у нас состояла из восемнадцати

человек, а всего в заводууправлении работало больше тридцати служащих и «инженерно-технических работников», не считая служащих в цехах. При более простом учете вместо тридцати заводу нужно было бы, вероятно, работников раза в три меньше, а частное хозяйство обошлось бы пятью-шестью работниками. Так как «социализм есть учет», наши тридцать работников — накладной расход на социализм.

В этом, впрочем, была и положительная сторона: безработица, несомненно, у нас ликвидирована, — в большой мере за счет того, что всюду сидят лишние люди, с точки зрения хозяйственной целесообразности производству не нужные и только отягощающие его. А вместе с тем у нас во всем нужда, нет массы самых необходимых товаров, которые эти «лишние люди» могли бы производить. Но социалистическая система не умеет заботиться сразу обо всем...

У бухгалтерии тоже есть свое «пиковое время»: составление квартальных и полугодового отчета, а в особенности — отчета годового. Годовой отчет занимал у бухгалтерии, как у меня план, полтора-два месяца усиленной работы. Оплата сверхурочных часов была запрещена, но обычно все работники бухгалтерии получали, в виде премии «за успешное составление годового отчета», — хотя бы он был составлен и весьма неуспешно, — по месячному и больше окладу. Так же получал и я со своими работниками за составление годового плана. Эта премия, пожалуй, заменяла награды, которые раньше выдавал хозяин своим работникам к Пасхе или к Рождеству. Теперь она приходилась перед весной, всегда с нетерпением ожидалась и была для нас не малым подспорьем...

Приехав на завод, невольно я обратил внимание на главбуха. Я подозревал, что у него с прошлым не совсем в порядке: походкой или манерой сидеть, разговаривать, не знаю, но чем-то напомнил он мне старых офицеров, которых встречал я в концлагерях. Спустя год-полтора, когда мы уже хорошо знали друг друга, моя догадка подтвердилась. Сидели мы однажды вдвоем за бутылкой вина, почему-то заговорили об армии — подвыпивший главбух пустился вспоминать, какую форму носили в царское время разные полки, обнаруживая в этом большие познания. Я подлил масла в огонь, вспомнив фамилии знакомых по концлагерю офицеров, — оказалось, что одного из них главбух хорошо

знал. Он так расчувствовался, что заплакал и открыл тщательно скрываемую тайну: он — бывший офицер, конногвардеец. В гражданскую войну, раненым, он остался в занятом красными городе, добрые люди укрыли его, достали ему документы — опростились, с тех пор он живет под чужой фамилией. После этого нечаянного признания мы бережнее относились друг к другу.

Заместителем у главного бухгалтера работал местный человек, из крестьян, Волков. Нескладно, но крепко скроенный, среднего роста, с широкоскулым лицом с узкими щелками глаз, Волков был туповатым и туго соображавшим человеком, но работником усидчивым и добросовестным. Плохо зная учет, он нередко обращался ко мне за советами и помощью; должно быть знанием или дружеским отношением я приобрел у него большое доверие и он заходил ко мне поболтать и не по делу. Однажды, по привычке покашливая и шмыгая носом, Волков сказал, что хочет подать заявление о приеме в партию: парторг говорил ему, что примут.

— Мы должны быть сознательными строителями социализма, — смущенно улыбаясь может быть фальши казенных слов, говорил Волков. — Почему мне не вступить в партию? Я из крестьян, работаю честно.

Я ответил, что это личное дело каждого и советовать тут я не могу. Про себя подумал: что его тянет в партию? Конечно, не социализм и не коммунизм, к которым он вполне равнодушен. Вернее другое: у Волкова молодая, бойкая, очень напористая жена, командир в семье. Скорее она решила, что её недалекий муж, оставаясь беспартийным, вряд ли продвинется дальше своего нынешнего места. Будучи членом партии, он может рассчитывать стать главбухом: партии нужны свои люди на ответственных постах. Волков для этого вполне подходил: с незапятнанным социальным происхождением, он мог быть идеальным беспрекословно повиновущимся партийцем.

Ничего не меняло, будет на заводе главбухом бывший гвардейский офицер или член партии Волков. Оба должны подчиняться одинаковым правилам и оба одинаково должны делать вид, что тщательно выполняют их.

Против правил

Вызывает Непоседов. В кабинете у него сидит тетя Паша, наша уборщица. Еще не старая женщина, лет около сорока пяти, она похожа на старуху: маленькая, сухенькая, со сжавшимся в кулачок морщинистым лицом — жизнь не баловала тетю Пашу. Она подметает контору, топит печи, моет полы — работы ей хватает. У нее, вдовы, двое детей, лет 13 - 14. Как тетя Паша обходится с ними, одному Богу известно: получает она всего 110 рублей в месяц.

Непоседов возмущен:

— Сколько раз говорил бухгалтерии, чтобы тете Паше зарплату прибавили, ни с места! Пока сам не сделаешь, никто не пошевелится. Нельзя же так: у человека столько работы, а с двумя ребятами на прощии живет. Давайте по плану посмотрим, что можно выкроить?

На 110 рублей тете Паше, конечно, нельзя жить, но такая ставка уборщице утверждена по плану и зарегистрирована в местном финансовом отделе, строго контролирующем, чтобы зарплата служащим выше утвержденных ставок не выдавалась. Поэтому бухгалтерия не виновата: она не имеет права увеличивать тете Паше зарплату. Не имеет права делать этого и Непоседов. Но право остается правом, а человек человеком и план не всегда безжалостен: при умелом обращении из него кое-что можно извлечь.

— За мытье полов, вот, по графе «уборка помещений», пишите, платить тете Паше 40 рублей в месяц дополнительно, по 10 рублей в неделю, — говорит Непоседов, рассматривая план. — А что у нас в строгательном цеху предусмотрено? Две уборщицы? Там одна справляется. Еще 50 рублей за счет строгательного цеха прибавить. И пусть выплачивают не по ведомости управления, а по рабочим ведомостям. — Я понимаю Непоседова: это для того, чтобы финансовый отдел не узнал о нарушении нами правил.

Тетя Паша уходит, удовлетворенная: она будет теперь получать 200 рублей в месяц. Конечно, мы совершили преступление, но что важнее, подчинение бумажному правилу-приказу или помощь человеку?

У старого, хорошего и добросовестного рабочего, тяжело заболел ребенок. Местные врачи не могут установить, что с ним, семья добилась направления в больницу в Москву, к

знаменитому профессору. Медицинская помощь бесплатна, но на поездку с ребенком и на житье в Москве нужны не малые деньги, рабочий просит помочь. Немного денег дает ему профсоюз, через завком, часть он получает в кассе взаимопомощи, но этого мало. Подумав, Непоседов вызывает заведующего биржей сырья, у которого работал отец ребенка, и приказывает выписать рабочему наряд на работу, которая никогда не производилась, — конечно, так, чтобы было «ши-то-крыто». Опять подлог, но ребенка надо лечить, его отец, кадровый рабочий, не мало лет проработал и еще проработает на заводе, а другого выхода нет.

На заводе есть детский сад, многие матери-работницы отдают в него своих ребят на время работы, платя за содержание детей в детском саду около десяти рублей в месяц. Бюджет у детсада нищенский, а детей надо кормить, за ними надо ухаживать, надо приобретать белье, игрушки, посуду. Приходит заведующая детсадом, плачется: не на что купить для ребят продуктов! беру план, иду к Непоседову и мы совместно выкраиваем сотню-другую детскому саду за счет, например, «расходов по представительству». В конце концов, почему детский сад нельзя считать нашим представительством?

Для власти мы безликие единицы, сливающиеся в такую же неразличимую толпу, в «массу». А на заводе работают живые люди. В особенности давно работающие составляют сжившуюся семью, у которой много общих интересов, много и общей нужды. Как пройти мимо нужд этой семьи, как не стараться помочь ей там, где люди вполне заслуживают помощи? Люди не виноваты: они работают и могут работать и больше, интенсивнее; дайте им возможность и они не будут нуждаться в помощи, а сами заработают для себя. Но социалистическое хозяйство не хочет думать о людях, его дело — «строительство коммунизма», т. е. втискивание людей в рамки, никак не обеспечивающие людские потребности. Остается один выход: помогать, чем можно, через эти рамки, стараясь служить не социализму, а тем, кого он подминает под себя . . .

Непоседов, механик, главбух и я вечером сидим на квартире директора и обсуждаем одно из очередных заводских дел. В середине комнаты за столом сидят жены, Непоседова и механика. Жене Непоседова надоели наши разговоры:

— Хватит, на заводе наговоритесь! — полушутя, полусердито прерывает она нас, подходит, сгребает в кучу бумаги и бросает на письменный стол.

— Постой, постой, — протестует Непоседов, но быстро пасует: с женой сладить не так-то легко. — Всё равно ничего не добьешься, — чтобы досадить ей, говорит Непоседов, — мы в преферанс будем играть.

— Никаких преферансов! Что, в самом деле, — сердится жена, — днем завод, вечером завод, потом преферанс, а мы что, смотреть на вас будем? Играем в маус, все вместе!

Приходится покоряться: садимся играть в маус.

— Скоро помещаетесь на заводе, — шутливо ворчит жена Непоседова. — Нет, устроить бы прогулку в лес, пока лето и погода хорошая.

— И правда, давно ничего не устраивали, — поддерживает жена механика. — В прошлом году как хорошо было, а в этом...

— А в этом закинем на несчастном заводе, — продолжает жена Непоседова. — Директор, когда маевку устроим? — обращается она к мужу. Непоседов отшучивается: он знает, что значит маевка для заводской кассы. Но вмешивается главбух, всегда рыцарски становящийся на сторону дам:

— Почему бы, верно, не развлечься немного? Жара в лесу теперь самое время... — Механик тоже любит на лоне природы пропустить рюмку-другую. Против директора составляет дружный фронт — приходится сдаваться.

— Ладно, берите бумагу и карандаш, посчитаем, — обращается он к главбуху. — Но уж если устраивать, то всем заводом, — завод опять на первом месте.

Начинаем считать. Предполагаем, что желающих принять участие в лесной прогулке, вместе с женами, наберется человек четыреста. Закуска — за свой счет: каждый возьмет с собой что-нибудь. Но нужна выпивка: что за вылазка в лес без выпивки? Выпивка, так уж заведено, должна быть общей, поставленной заводом: иначе коленкор не тот! Да и не у каждого на нее именно в этот день найдутся деньги. А на ораву в четыреста человек питья надо не мало! Две, три бочки пива? Малоовато, запишем четыре. Водки, хотя бы по доброй стопке на брата — тоже порядочно. Обязательно нужна музыка: подсчет переваливает далеко за тысячу. Непоседов

кряхтит, кряхтит и главбух, но раз согласились, не откажешься. Люди не манекены, им и повеселиться нужно.

— С завкома надо часть содрать, за счет культурно-массовой работы, это его дело, — говорит Непоседов, сам не надеясь, что из этого выйдет прок: у завкома тощий бюджет и завком больше пробавляется за заводской счет.

В ближайшее воскресенье в пахучий сосновый бор над рекой, к берегу переходящий в тенистые заросли ольхи, черемухи, ивняка, тянется пруппами заводской люд, на дороге поскрипывают подводы с вином и пивом, блестят трубы городского оркестра. До ночи гремят в лесу вальсы, польки, «барыня», на большой поляне отплясывает молодежь; к ним выходят и люди постарше и какой-нибудь захмелевший дедка въкинёт в «барыне» коленце, от которого взрыв восторга взлетает к небу. На поляне смех, визг девичий; дальше по лесу отводят на лоне природы душу в разговорах люди постепеннее, не любители смешить других. В лесу полная демократия: работницы подхватывают Непоседова и он отплясывает с ними трепака; перемещались рабочие и служащие, ИТР и МОП* — в лесу настоящее равноправие, без социалистических ярлыков.

К ночи бор угомонится и люди будут долго вспоминать, как они веселились на маевке. А мы на другой день будем ломать голову над тем, куда отнести расходы по этому непредусмотренному плану «культурно-массовому мероприятию». Воспоминание о радости, которую дала вылазка в лес людям, облегчит нам эту задачу.

Каверзы учета

По видимости, учет организован очень тонко, но ведь «где тонко, там и рвется». В конце каждого года производится инвентаризация — полный пересчет всего оборудования, инструментов, материалов. Данные инвентаризации сверяются с книжными остатками — никогда не обходится без того, чтобы не обнаружились крупные разницы. Бухгалтерия недоумевает: откуда излишки и недостачи, если, будто бы, учет производился тщательный? Кое-что выяснялось, кое-что подчищалось и пряталось — в конце концов разницы как-то сглаживались...

* ИТР — «инженерно-технические работники»; МОП — «младший обслуживающий персонал».

На этот раз главбух взволновался не на шутку: по инвентаризации биржи сырья оказался излишек бревен почти в 1.500 кубометров, стоимостью около 300 тысяч рублей. Волноваться было чему: такое количество и сумму спрятать трудно, а они доказывают, что учет у нас никуда не годится.

Непоседов тоже всполошился: как, откуда такой излишек? Сырья не много, чуть ли не каждое бревно на учете, и вдруг — 1.500 кубометров! Опять чудо!

Проверили — никакого чуда не оказалось. Вполне нормально: ряд лет биржу сырья фактически не инвентаризировали, а, сохраняя обычную видимость, инвентаризационные ведомости составляли по книжным данным. Тем самым излишек образовался за пять-шесть лет, а 200-300 кубометров излишка в каждом году уже не чудо, по крайней мере для меня.

Еще в детстве я наблюдал, как на заводах приемщики бревен обманывают сдатчиков. Бревна по лесотаске идут одно за другим, не задерживаясь, приемщик быстро приставляет аршин к вершине, но приставляет «с пальцем»: он чуть, незаметно, отводит конец аршина пальцем от края бревна и кричит диаметр бревна иногда на полвершка меньше. Сдатчик не всегда успевает уследить, — позже приемщик получит от хозяина благодарность.

Я не удивился, встретив такой же способ обмера теперь на нашем заводе, при приеме бревен от Наркомлеса. Кажись бы, надо удивляться: обмерщиками работали молодые ребята, по 18-20 лет, воспитавшиеся уже при социалистическом строе, выгоды им обманывать сдатчиков не было, так как никакой награды получить они не могли — откуда в них сидит прежняя страсть, какая сидела и в их отцах и дедах? И техника осталась старая: тот же «палец». Но тут не было ничего непостижимого: для приемщика обмеривание — попросту спорт, возможность проявления своего молодечества и ловкости. Кроме того, обмерщики были патриотами своего завода. В них говорил, в сущности, всё тот же инстинкт собственника: завод, на котором я работаю, мой.

Непоседов тоже был собственником. Когда сдатчики жаловались ему на обман при приеме, он не принимал жалоб:

— А вы на что поставлены? — ругал Непоседов жалобщиков. — Бабочек ловите? Значит, сами виноваты. — При-

емщиков наших он если не поощрял за обман, то и не ругал и посмеиваясь говорил, чтобы они были поосторожнее.

Излишек бревен беспокоил Непоседова. Потом его осенила мысль. Он вызвал главбуха и предложил не показывать излишка, а дать инвентаризацию, как раньше, по книжным данным. Главбух колебался.

— Мы вот что сделаем, — убеждал Непоседов, — у нас по капитальному строительству намечено 100 тысяч на постройку дома. А мы построим на эти деньги два дома, потому что лес дадим бесплатно, за счет излишка. Понимаете? Даю слово, мы этот излишек за год распихаем!

Поколебавшись, главбух, тоже патриот завода, согласился. Инвентаризационные ведомости засунули подальше, составили новые, всё же показав в них допустимый излишек кубометров в 200. Непоседов радовался и хвастал, какое жилищное строительство он закатит в будущем году. Он раздобыл типовые проекты жилых домов и с увлечением переделывал их по своему вкусу.

Но денег на жилищное строительство нам не дали: средства на это Совнарком отпускал с большим трудом, в первую очередь для тяжелой промышленности и военной. Встал вопрос: что делать с излишком леса? Если он обнаружится, на заводе многим может не поздоровиться.

Судьба покровительствовала нам, хотя и неожиданным способом. Теплой апрельской ночью мы засиделись с Непоседовым за шахматами и поздно пошли спать. Только я успел задремать, как в окно забарабанили, я услышал истошный вопль:

— Пожар! Завод горит! — Я вскочил, в одну минуту оделся, застегиваясь на ходу, выскочил из дома. Непоседов уже заводил машину; присоединились механик и главбух и мы помчались на завод.

Над домами города вставало зарево. Мы молчали, было не до разговоров. Выехали в пригород — над черными деревьями вдали красные языки пламени лизали багровые клубы дыма. По направлению — прямо на заводе, но что горит, цеха, кочегарка, склад пиломатериалов, жилые дома? Непоседов гнал машину так, что свистел воздух.

Вынеслись за деревья — Непоседов засмеялся. Я взглянул на него, как на сумасшедшего: так странно слышать смех, когда рядом бушует пламя!

— Корабль горит! — даже радостно воскликнул Непоседов. Стало легче: наш разваливающийся жилой дом стоял довольно далеко от завода.

Вокруг сновала возбужденная толпа, у дома еще металась рабочая, вытаскивающая пожитки из нижнего этажа. Верхний этаж горел, закутанный в пламя, как в рвущийся по ветру красный плащ; с него кое-где уже текли вниз ручейки пламени. Наши и городские пожарники носились, как ошалелые, направляли в огонь струи воды, но было видно, что дом не отстоять.

Его и не надо было отстаивать. Убедившись, что жертв нет, мы успокоились. Из дома все жильцы успели выбраться, большинство вытаскило даже свои пожитки, только часть жильцов верхнего этажа выскочила, в чем была.

— Они, пожалуй, сарай отстоят, — говорил Непоседов. Побегав вокруг горящего дома, он вернулся к машине и с удовольствием смотрел, как полыхает пламя, клонясь к длинному бревенчатому сараю, в котором жильцы хранили дрова, держали скот и птицу. — Чёртовы дети, куда они лезут? Пусть и сарай горит.

Главбух не понимал: зачем нужно, чтобы и сарай сгорел?

— Проще простого, — подмигнул Непоседов. — Дом по балансу сколько стоит? Тысяч полтораста? Сарай еще десять. Всего 160 тысяч. Эту кругленькую суммочку мы получим, как страховую премию — и такие дома закатим, за-качаешься! Чем больше сгорит, тем лучше...

Дом скоро рухнул, взметнув огромный клуб искр, пламени и дыма. Чуть занялась крыша сарая — к радости Непоседова, пожарники растащили сарай баграми.

Разместив погорельцев в столовой и в клубе, мы поехали домой. Теперь горел Непоседов:

— Утром пишите в Москву, — распоряжался он. — Сгорел жилой дом, сто семей осталось без крова, создается катастрофическое положение. Пишите сильнее, чтобы проняло. Просим, до получения страховой премии, разрешить начать строительство жилых домов, на сумму премии. Я завтра сам поеду с этим письмом в Москву...

За лето мы выстроили два больших двадцатичетырехквартирных дома, больше, чем на сто комнат. Если в сгоревшем корабле в маленьких комнатках у нас ютилось

по семье, то теперь большим семьям мы могли дать даже по две комнаты, а некоторым и по целой квартире, с отдельной кухней.

Непоседов сам занимался строительством. На заводе работа шла спокойно и строительство для Непоседова пришлось кстати: иначе он не знал бы, куда девать свою энергию. Здесь он себя показал: типовые проекты его не удовлетворяли и он импровизировал, из разных проектов выуживая, что получше. В каждой квартире он устроил кухню, кладовку, умывальник, настроил каких-то шкафчиков: ему хотелось, чтобы жильцы имели максимум удобств. Мы могли позволить себе это: отборный лес мы дали на строительство бесплатно, из излишка.

Дома получились хорошими, но Непоседову этого было мало. Он договорился с одной мебельной фабрикой, мы дали ей десяток вагонов леса, всё из того же излишка, а она поставила нам, по дешевке, около ста комплектов мебели: столы, стулья, кровати, шкафчики, вешалки. Непоседов ликовал: он дал рабочим приличную мебель. Мечтал он еще о том, чтобы в каждую квартиру поставить диван, но на эту роскошь уже не хватало средств.

При вселении жильцов Непоседов присутствовал лично. Он ходил по квартирам и готов был сам расставлять мебель, так, как казалось ему более «культурно». А потом огорченно жаловался:

— Понимаете, квартиры как конфетки. А работяги нанесли тряпок, развесили, расстелили — всё впечатление испортили. Тряпье, рваньё, почти ни у кого хорошего одеяла нет. Прямо, хоть одеяла им за свой счет покупай. . .

Случилось так, что этим же летом в области устроили конкурс на лучшее жилищное строительство. Наши дома тоже попали на конкурс и заняли первое место. О них писали в районной и областных газетах, ставя непоседовское строительство в пример другим. Конкурсная комиссия не знала, что мы на сто с лишним тысяч рублей перерасходовали отпущенные на строительство средства, так как лес дали бесплатно. Такая возможность редко у кого могла быть. Не часто встречается и непоседовское рвение, выхаживавшее строительство, как мать своего ребенка.

Как бы там ни было, а каверзы учета плюс нечаянный пожар и непоседовское усердие дали нам возможность обес-

печить своих рабочих хорошим жильем. А Непоседову, вполне заслуженно, они дали возможность еще раз почувствовать удовлетворение от плодов трудов своих: он опять ходил сияющим.

Ошибка Сталина

По необходимости, человек может жить и работать в любых условиях, но это не значит, что он может мириться с этими условиями и привыкнуть к ним. В этом, вероятно, состоит основная ошибка Сталина и вообще марксистов, считающих, что поскольку «бытие определяет сознание», человек может свыкнуться с любым бытием.

Сталин и его «соратники», конечно, знали, что за стройным социалистическим фасадом скрывается невероятное комбинаторство. Больше, они даже поощряли это комбинаторство, призывая к проявлению «инициативы на местах», тогда как «инициатива», при тотально-плановом хозяйстве, могла быть лишь нечистым комбинированием. Но она помогает осуществлению приказов власти, а Сталину важна в первую очередь социалистическая внешность, но не её безобразное содержание. Внешность, основа советской жизни, выдержана в стиле «социалистического бытия», — по мысли «вождей», это бытие современем придаст людям другое, социалистическое сознание, т. е. заставит свыкнуться со своим положением.

Свыкнуться было невозможно. Как ни часто, по необходимости, приходилось нам «комбинировать», привыкнуть к этому мы не могли. Нет, нет, да и делалось противно. В душе поднимался протест: кто заставляет нас заниматься подлогами, нечистыми делами, зачем, для какого дьявола нужна вся эта безобразная канитель? Почему нам не дают возможности работать по-человечески, честно, без унижительного ловкачества? Мы чувствовали себя униженными, оскорбленными этим ловкачеством и временами становилось невыносимо тошно.

Людей, у которых изначально — анархическая, влекущая к разрушению часть души превалирует над другой, стремящейся к созиданию, к порядку, вероятно, не так уж много. И почти у каждого человека есть врожденное чувство уважения к официальным бумагам, установлениям, зако-

нам, от кого бы они ни исходили. Мы нарушали их, часто ни на секунду не задумываясь, будто бы уже привыкнув к нарушениям, а в подсознании в это время грызла совесть: так поступать нельзя. В конце концов это ведет в развращению людей. Хорошо, что у нас Непоседов и главбух были внутренне порядочными людьми — на других предприятиях на почве легкого отношения к документам и правилам и из-за множества рожденных советскими условиями причин процветали взятки, хищения, растраты, мошенничество. Суды завалены подобными делами.

Это разъедающее противоречие грызло многих людей на заводе. Технорук спасался тем, что старался отходить в сторонку, замыкался в свое узкое дело; главбух временами словно без причины мрачнел и ходил тучей; механик два-три раза в году запивал «мертвую» и тогда стремился каждому встречному выложить всё, что накопилось у него на душе, — перепуганная жена ловила его и запирала в чулан. Люди словно тосковали по отобранной у них возможности нормально, по-человечески работать и жить и не находили себе места.

Вечная тяга к порядку принуждала работать добросовестно. Так рабочий или крестьянин, не видя в советских условиях плодов своего труда и не получая от работы удовлетворения, «туфтит», волянит на работе годами — и вдруг начинает работать усердно, с душой, потому что ему надо едет, становится противно «туфтит». И душа и руки его просят полноценного труда. А потом остывает и снова туфтит. Так и мы: как бы пренебрежительно ни относились мы к своей работе и сколько бы ни ловчились, а всё-таки старались работать как следует и, подчиняясь инстинктивной тяге к порядку, те же планы и отчеты старались сделать лучше, — конечно, этим удовлетворяя не только веление своей совести, но и требования власти. Не на эту ли человеческую потребность в порядочности рассчитывал и материалист Сталин, считая, что она когда-нибудь возьмет верх и организует его социализм и по содержанию? Но его «порядок» только дезорганизовал это содержание и развращал людей, — а когда верх возьмет порядок другой, нет сомнения, он не будет марксистским социализмом.

Над такими вопросами Непоседов, увлеченный техникой и делом, в первое время работы с ним, не задумывался.

Но потом, года через три после начала нашего знакомства, я начал замечать, что и его что-то берedit, что наше молодечье ловкачество и ему начинает становиться будто бы противным. Приходило ли это с возрастом, но и ему становилось не по себе. Иногда, после приезда на завод какого-нибудь ловкача с особенно гнусным предложением или после очередного нарушения нами правил и законов, я заводил с Непоседовым на эту тему разговор. Почему бы нельзя работать иначе, без нечистого ловкачества?

— Но как же иначе? — обычно недоумевал Непоседов. Он никак не мог найти ответа на вопрос: можно ли работать по-другому? Старого времени Непоседов не помнил и не знал даже по литературе, кроме своего дела и техники мало чем интересовался — найти решение ему было нелегко. Сначала Непоседов пытался оправдывать безобразия в хозяйстве бюрократической волокитой в высших и снабженческих учреждениях, что, мол, современем изживется, или объяснял недостатками отдельных людей; потом, поразмыслив, догадался, что дело не только в этом, но довести свои догадки до конца не мог: не хватало ни знаний, ни кругозора.

Иногда мы жестоко с ним ссорились, до того, что не разговаривали по несколько дней. Инстинктивно стремясь погасить чувство внутреннего разлада, Непоседов бросался на завод, а если делать там было нечего, придумывал что-нибудь экстренное, лишь бы занять себя. Так, ни с того, ни с сего, он вдруг решил реконструировать на заводе водопровод. Старый водопровод справлялся со своей задачей, воды для завода и поселка было достаточно, а реконструкция потребовала бы затраты 15 - 20 тысяч рублей — я решительно запротестовал: зачем нам новый водопровод? Внешняя причина непоседовской выдумки была вздорной: он обнаружил в Москве, на складе Главка, какой-то дико-винный мощный насос и загорелся желанием поставить его у нас. Я восстановил против этой затеи главбуха и мы наотрез отказались финансировать непоседовское сумасбродство. Непоседов вспылил, мы разругались на смерть и дней пять не разговаривали.

В таких случаях я выдумывал какое-нибудь дело в Москве и уезжал, а там заходил к Кольшеву, который так

понравился мне тогда полтора назад из-за его сочувствия к «рабочему классу» и с которым мы подружились.

Кольшев жил в дачном поселке под Москвой, давно переставшим быть дачным поселком и входившим в черту «Большой Москвы», а потому считавшимся уже Москвой. За пять лет, вместе со своим сослуживцем, Кольшев выстроил в этом поселке свой домик, в чем ему помог наш же завод, отпустив лес по дешевой цене. У домика было два входа — получились две изолированные квартиры, по две комнатки с кухонкой в каждой. В одной жил Кольшев с женой и дочуркой.

Кольшев много работал и занимался, в его комнатке полки были уставлены книгами. А по воскресеньям он стоял на чердаке, который Кольшев мечтал когда-нибудь, когда будут деньги, оборудовать под свой кабинет и спальню, у него была устроена мастерская, с верстаком и маленьким столярным станком. Здесь Кольшев часами пилил, точил, строгал, изготавливал полочки, этажерки, рамки, а потом дарил их своим знакомым. Это благородное занятие, как видно, было для Кольшева отдыхом от творившегося вокруг.

Не раз мы беседовали об этом.

— Что же делать? — говорил Кольшев. — Мы с вами не изменим этот порядок. Это — как буря, шквал. А если так, у нас должна быть одна задача: стараться сохранить, как говорите вы, внутреннюю порядочность, помогать сохранять её другим и всё-таки что-то создавать, чтобы труд не пропадал совсем даром. Что сохраним и создадим — оно всё равно останется...

Это было единственным утешением. И это было единственной путеводной звездой, на которую всё же можно было ориентироваться.

Человек в бедламе

Мне часто приходилось ездить в командировки. В Москве я нередко бывал по два — три раза в месяц; ездил в Ярославль, в Калинин, где у нас тоже были дела. Главной причиной командировок была волокита с перепиской: если возникало срочное дело, — а при социализме, как правило, не срочных дел не бывает, ибо Кремль неустанно подхлестывает своих подчиненных, постоянно создавая лихорадку, —

проще съездить самому, чем писать и неделями ждать ответа. Но были и другие причины: сиденье на заводе в бездельное время надоедало; с 1938 года продукты в провинции начали исчезать, а в Москве они были и командировки использовались для пополнения запасов. Во время командировки мы получали почти двойную зарплату, за счет суточных и квартирных, что тоже много значило — причин для командировок было достаточно.

Но и за это удовольствие надо платить: командировки связаны с большими трудностями и трепкой нервов. Только в середине двадцатых годов, при НЭП-е, железные дороги справлялись с перевозкой пассажиров, — позже поезда были набиты битком и получить билет можно было лишь с большим трудом. Миллионы людей передвигались с места на место: одни в поисках лучших условий, другие в командировки, третьи были завербованы на разные работы; крестьяне ехали в города за продуктами, заключенных эшелонами везли под конвоем в концлагери. Вокзалы осаждали толпы и у касс стояли длинные очереди, из сотен и тысяч людей. Командировочное удостоверение давало преимущество при получении билета, но, например в Москве, одних командировочных у касс собирались сотни и приходилось часами простаивать в очередях. Или надо опять ловчиться: давать железнодорожнику десятку и он покупал билет без очереди, проникнув в кассу с заднего хода.

Проблема — ночевка в городах. Где переночевать? Не раз наученный горьким опытом, перед приездом в Калинин или Ярославль, я уже был наготове. Едва поезд останавливался, я соскакивал и стремглав несся в гостиницу, чтобы оказаться первым и захватить место. Но часто и это не помогало и приходилось часами ждать, когда освободится место. В Калинин было всего две гостиницы, потом одну занял «партактив» — оставшаяся всегда была переполнена. В Ярославле тоже было две гостиницы, но одна из них наполовину была занята постоянными жильцами, работниками Областного комитета партии. Социалистическое хозяйство, рассылавшее тысячи своих работников в командировки, никак не могло обеспечить их ночлегом; людям приходилось ночевать на вокзалах или в коридорах гостиниц, сидя на стуле.

В Москве, сначала на Пушкинской, потом на Неглинной, для командировочных существовало «Бюро по распределе-

нию комнат». Когда у меня еще не завелись знакомства в Москве, я тоже пользовался его услугами. С вокзала едешь в это Бюро, регистрируешься — на твое командировочное удостоверение ставят штамп и номер, порядка от 500 до 1.000 и выше. Потом надо ждать — хорошо, если полдня, день, чаще приходилось ждать два-три дня, пока не получишь место в одной из гостиниц.

Ежедневно в Москву приезжает примерно десять тысяч человек в командировки, — только около тысячи из них пользовались услугами социалистического бюро, а остальные рассасывались по знакомым. Такие гостиницы, как «Националь», «Метрополь», «Грандотель», «Савой», «Москва» в подчинении Бюро не были, но в них останавливались либо только иностранцы, либо приезжавшие по вызову правительства, либо имевшие много денег: цены в них рядовому люду недоступны. В «Москве», на пятом, шестом этажах, останавливались директора наших больших заводов; номер из двух комнат, хорошо обставленный, с коврами, мягкой мебелью, с ванной стоил им 50 - 60 рублей в сутки. Приезжие и «зная ходы» можно было устроиться иногда и без Бюро в других гостиницах, дав взятку швейцару в 15 - 20 рублей: деньги и при социализме оставались решающим фактором.

Днем люди растекались по своим делам, потом придумывали, чем бы занять время. Шли в театры, в кино, до закрытия сидели в ночных ресторанах. После этого брели в Бюро, в котором стояло сотни полторы стульев. На этих стульях или на полу люди дремали ночь, а утром невыспавшиеся, с головной болью шли на работу. Социалистическая Москва неласково встречала своих работников, строивших социализм в провинции.

Устраивались и по-другому. Однажды я вернулся в Бюро около полуночи, усталый, задремал. Рядом сидел какой-то толстяк, тщетно борющийся со сном и поминутно клевавший носом. Ключнув так, что едва не свалился со стула, толстяк застонал и обратился ко мне:

— Не могу больше! Слушайте, не составите компанию? Надо же спать, так невозможно. В поезде не спал две ночи, здесь вторую ночь — сил моих нет, с ума сойдешь. Пойдемте, устроимся?

— Куда?

— А к какой-нибудь бабе, лишь бы выспаться. — Я отказался. Толстяк поднялся: — А я пойду. Не могу больше...

Проституция, конечно, запрещена и проститутки при очередной «чистке» Москвы отправляют в концлагери. Но запрещение остается видимостью. Рядом по Неглинной и дальше по Театральному проезду, по улице Горького, по Тверскому бульвару маячат женские фигуры, то с вызывающими, то со смущенными лицами. Не только профессионалки, но и мелкие работницы, мелкие служащие, получающие мизерную зарплату и не имеющие сил жить нищенски, постоянно борясь с нуждой. На улице они получают дополнительный заработок, которого не может им обеспечить социалистическое государство. Но встречаются и шикарно одетые, стреляющие за ответственными тузами и кутящие с ними в дорогих ресторанах; у Большого и в других театрах можно увидеть и любительниц острых ощущений, даже не интересующихся деньгами. Большой город, назови его хоть социалистическим, остается большим городом, со всеми его пороками, а людей одними запрещениями и названиями не переделаешь. Не знаю, к какой категории женщин попал мой сосед, но в Бюро он в эту ночь не вернулся...

Всюду две стороны, два лица. В газетах, в докладах хвастливые, самодовольные заявления: «Советские люди — сознательные граждане страны социализма». «Мы живем культурно и зажиточно». И «сознательные граждане», молодежь, вечером выпив и закусив селедкой, утром говорят: «Мы вчера культурно выпили». Как «довести до сознания» этих «сознательных граждан», что выражение «культурно выпили» — чудовищная, неслыханная профанация культуры?

Кремль подхлестывает: «Темпы, темпы!» — а за билетами надо стоять часами, мест в гостинице надо ждать сутками, трамвая надо ждать. В до отказа набитом трамвае кондукторша, взобравшись на заднюю скамейку и возвышаясь над головами пассажиров, тщетно вопит:

— Граждане, будьте сознательными! Посуньтесь чуток, вам говорят! Да дьявол вас возьми, скоты вы что ли бесчувственные, граждане! — а стиснутые селедками ошалелые граждане только стараются, чтобы их не раздавили совсем. Податься дальше всё равно некуда, они в трамвае, как в социалистической ловушке, в которой перестаешь реагировать

и на ругань. И женщина-кондуктор, может быть совсем не плохой человек, на своем посту в этой ловушке, измученная, с истрепанными нервами, превращается в социалистическую мегеру.

Метро много помогает. Но утром, когда люди спешат на работу, на Комсомольской площади у двух входов в метро выстраиваются дюжие милиционеры, локтями направляющие прущую в двери толпу: и метро в это время не вмещает всех. Заботиться же о том, чтобы дать своим гражданам достаточно транспортных средств, дать им удобства, которые превращали бы «сознательных граждан» в людей, социалистическое государство не может: ему некогда заниматься этим, ему надо строить социализм.

И в это время Кремль вызывает тысячи «ударников», «стахановцев» на «слеты» — они живут в лучших гостиницах, заботиться им ни о еде, ни о ночлеге, ни о деньгах ни секунды не нужно: им всё дается, они действительно живут «зажиточно». Но, как бы то ни было, они тоже в ловушке.

Вы можете, впрочем, вообразить себя гражданином, не подвергаться трамвайной ругани и не чувствовать себя в ловушке, даже не принадлежа к «стахановцам». Наймите, например, такси, — если у вас, конечно, есть деньги. Опять оказывается, что гражданином можно быть, только имея деньги. Но за каким лешим в таком случае наша жизнь называется социалистической?!

В столовой тоже полчаса и даже час надо ждать обеда. Официанты грубы, подают так, как будто ненавидят вас тяжкой ненавистью. Но дайте хорошо на чай и произойдет немедленное превращение: официант запомнит и если завтра вы снова придете в эту столовую, он всё бросит и тотчас подаст вам обед. За то, чтобы получить работу в бойкой столовой или в ресторане, в особенности там, где больше пьют, московские официанты платят заведующим взятки по две-три тысячи рублей. Это опять обратная сторона социалистического фасада.

Ничего не поделаешь, приходится жить и при социализме, в который влопались мы, как кур во щи. Надо стараться в этом социалистическом бедламе только об одном: чтобы не потерять окончательно человеческий облик.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

МЫ — ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ

Новое несчастье

Мой отец до революции почти сорок лет проработал у одного хозяина. Начав с мальчиков, потом более двадцати лет он был доверенным лицом хозяина и самостоятельно вел дело фирмы. Работал он так, что пользовался неограниченным доверием и уважением не только хозяина, но и своих служащих и рабочих. Полуграмотный, не окончивший даже начальной школы и впоследствии сам одолевший премудрости дробей, он стал одним из выдающихся специалистов своего дела в наших краях и был признан даже советской властью: к большому смущенью старика, новая власть наградила его званием «инженера-практика», — хотя эта власть, конечно, не могла не знать, что старику она не по вкусу.

Всю жизнь мои родители прожили в одном городе, там, где родились и где умерли мои деды и бабки. Так жил раньше почти весь народ: родились и умирали у кладбищ, где были похоронены их родители, и всю жизнь занимались одним делом. Тогда можно было так жить, потому что родители наши подчиняли себя несложным требованиям честности и добросовестности. Одно это давало им возможность надеяться до конца дней своих прожить спокойно и на одном месте.

При социализме это стало невозможным. Все переместилось, перепуталось и оказалось утраченным самое главное: что нужно для того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне? Как для этого надо себя вести? Честность, добросовестность, даже абсолютное подчинение власти и любое поведение никак и никого не гарантировали от того, что зав-

тра тебя почему-либо не уволят с работы, не отправят работать куда-нибудь на Урал или на Дальний Восток, не арестуют или что не произойдет какой-то иной неожиданности, которая сорвет тебя с места и разрушит и образ твоей жизни и все твои планы, расчеты и надежды. Жизнь потеряла свою устойчивость, какое-то твердое основание и каждый жил, в глубине души постоянно терзаемый беспокойством: что будет завтра или через неделю, через месяц? Загадывать на год никак нельзя...

Наш завод около полутора лет проработал хорошо, выполняя месячные планы на 130 - 150 %. Благодаря этому мы скопили около миллиона рублей свободных денег; из прибыли нам разрешили создать небольшой «фонд директора». Его тоже можно было расходовать только по точно расписанной смете, но он полностью принадлежал заводу. Свободные средства позволяли нам не чувствовать себя стесненно. Рабочие, получая большую зарплату, приободрились, настроение у всех людей завода было не плохое и, казалось, не следовало думать о будущем: оно было безоблачным. Но я не раз ловил себя на том, что будто бы даже с любопытством думаю: а что готовит нам судьба завтра? Не верилось, чтобы завтра было таким же, как сегодня: мы живем во время, утратившее постоянство.

Так и вышло. В конце лета 1938 года мы получили извещение от Наркомлеса о том, что из-за перераспределения сырья Совнаркомом поставка леса нам прекращается. А в будущем году леса нам не дадут совсем. Непоседов изменился в лице, прочитав извещение, и в тот же день помчался в Москву. А я почувствовал, будто над заводом и над нашей работой захлопнули крышку.

Сырья у нас оставалось не больше, как до февраля. Никто, кроме Наркомлеса, требовавшегося нам сырья в этих местах поставить не мог. Следовательно, после января будущего года завод можно закрывать. Все наше созданное на социалистическом песке благополучие развеивалось по ветру.

Непоседов вернулся таким же озабоченным, каким уехал. Он привез новость: чтобы не допустить остановки завода, в Москве решено выхлопотать нам в Совнаркоме разрешение вести лесозаготовки. Наметили программу: 150 тысяч кубометров, из них 100 тысяч деловой древесины и 50

тысяч дров, так как до 30 % лесозаготовок обычно составляют дрова.

Мне стало не по себе. Еще по концлагерю я знал, насколько трудоемким и в наших условиях сложным делом являются лесозаготовки. До начала сезона оставалось два-три месяца, а у нас для лесозаготовок не было ни рабочих, ни лошадей, ни инструментов, ни средств. Рассчитывать на то, что все это появится в течение двух месяцев, мог только ребенок. Мы еще даже не знали, где будем вести заготовки, так как нам еще не был выделен лесосечный фонд. Я высказал свои сомнения Непоседову.

— Думать, как вы, значит ничего не делать, — недовольно возразил Непоседов. — Что ж по вашему, закрывать завод? Или вести лесозаготовки или прекращать работу, одно из двух. Значит, будем вести заготовки.

— Нет таких крепостей, каких не могли бы взять большевики? — усмехнулся я. Непоседов только плечами пожал: выхода всё равно не было.

Для меня было ясно, что созданное нами, в сущности вопреки режиму, крохотное благополучие завода рушилось. Теперь мы будем включены в общую советскую стихию напряжения, нужды и безалаберщины и хорошо, если не захлебнемся в ней. Непоседов еще надеялся, что когда-нибудь для нас вернутся лучшие времена.

Вопреки ожиданию, на этот раз разрешение от высших инстанций мы получили скоро и месяца через два нам уже выделили лесосечный фонд. Но выделили его в двух местах: половину в Ярославской области, километрах в 90 от завода, на речке Вилюйке, а половину в Калининской, в 100 километрах от завода в другую сторону, на речке Волчихе. Это усложняло положение: два участка требовали больше персонала, рабочих, лошадей, больше забот и затрат на обслуживание, тогда как у нас для лесозаготовок вообще еще не было ничего.

Мы дали в Облисполкомы заявки на рабочую и гужевую силу и поехали с Непоседовым смотреть выделенный нам лесосечный фонд на Вилюйке. Лесничий долго водил по лесу и привел в чащу, от одного вида которой у нас забегали по спине мурашки. Насколько хватал в стороны глаз, лес был перекручен, спутан каким-то диким хаосом. Сломанные деревья вклинились обломками вершин в другие деревья,

вырванные с корнем то висели на соседних, то валялись на земле, создавая мешанину и барьеры; молодая поросль буйно охватывала здоровые и попибшие деревья, во многих местах вставая стеной. В довершение всего в чаще было много лиственного леса, совсем непригодного нам.

— Вот ваши лесосеки, — сказал лесничий. — Несколько лет тому назад здесь прошла буря и этот лес надо свести совсем, мы насадим новый.

Нахмурившись, Непоседов долго молчал. Потом проговорил:

— Сколько же мы возьмем из этого кавардака деловой древесины? 10-15%?

— Сумеете, возьмете больше, — возразил лесничий. — Если брать короткомер, в 2-3 метра, можно набрать и 50%.

— Мы для завода будем заготавливать, нам не нужен ваш короткомер.

— А это меня не касается, для чего вы будете заготавливать, — ответил лесничий. — Другого у меня нет.

Выяснилось, что есть у них и хороший лес, тоже назначенный к рубке, но Лесоохрана преследовала свои интересы: ей надо свести бурелом. Впоследствии, с большим трудом, опять через Москву, нам удалось к бурелому получить еще небольшую лесосеку, тысяч на 10 кубометров, но с обязательством, что мы сведем и бурелом. Непоседов ругался:

— Пусть сами сводят. Вырубим, что нам нужно, а там видно будет.

В другом участке, на Волчихе, лес был хороший, строевой, но и там трудность: на Волчихе можно вести только выборочную рубку, деревьев, отмеченных лесничеством. Из 20-30 деревьев можно срезать только 5-6. Работа должна вестись на огромном расстоянии, почему высокой производительности от рабочих ожидать было нельзя.

Наши заявки на рабочую силу Облсполкомы удовлетворили только в половинном размере, а в гужевой силе отказали совсем: рабочие и лошади были уже закреплены за Наркомлесом.

— Вывозите собственными силами, — заявили нам хозяева обеих областей. А у нас не было для лесозаготовок ни одной лошади.

По нарядам на рабочую силу мы получим хорошо, если половину рабочих: людей в колхозах нет. Следовательно, мы

будем иметь едва четверть требующихся нам рабочих. Надеяться, что при таких условиях в следующем году на заводе будет лес, никак не приходилось.

Непоседов ходил мрачный и накаленный, как грозовая туча. Созвав нас на совещание, он начал его почти клятвой:

— Ну, вот что: засучим рукава и выжмем всё, что можем дать. На стенку полезем, а лес будем заготавливать. Пил не будет, зубами будем грызть, лошадей не дадут, на себе повезем, но отказа от нас чтобы не было. А уж если и это не поможет, тогда . . . — развел он руками и не договорил.

Бесполезное мученье

По составленному мною плану лесозаготовок вышло, что лес будет нам стоить в три раза дороже, чем тот, который поставлял Наркомлес. Это понятно: Наркомлес работает с большим убытком, который ему покрывается правительственными ссудами. Нам, как самозаготовителям, дотации дать не могли. Откуда мы возьмем деньги для лесозаготовок?

Всего для них нам надо было около четырех миллионов рублей. Надо купить 70 лошадей, сани, инструменты, таке-лаж, много других материалов. С заявками и требованиями обратились в Москву — Главк нашел наши требования справедливыми, но удовлетворить их не мог. Для этого у него не было средств, так как все свои свободные средства и Главк и Наркомат наш обязаны немедленно, по мере накопления, передавать Наркомфину, который направлял их в другие отрасли хозяйства. Обращаться в Совнарком и Наркомфин с ходатайством об отпуске средств бесполезно: в последнюю четверть хозяйственного года, когда средства давно распределены, такое ходатайство никто не будет рассматривать. Можно было надеяться, что нам дадут средства — в феврале, в марте будущего года, когда лесозаготовительный сезон подойдет к концу.

— Работайте на средства завода, мобилизуйте все свои ресурсы, — советовали в Главке. — Мы обещаем не брать с завода ни копейки.

Это означало, что мы израсходуем деньги завода до последнего гроша, этим посадим в калошу и завод, а потом и сами сядем на мель.

Уже выпал снег, а в лесу у нас еще не было ни одного рабочего: колхозы не давали людей. Непоседов отправил на вербовку заводских комсомольцев. Одновременно дали заявку Гинзбургу на махорку, конфеты и мануфактуру, чтобы послать их в лес для привлечения людей на работу. Не надеясь на колхозников, остановили на заводе одну смену и из своих рабочих организовали две бригады лесорубов. Не было пил и топоров, Васильев обещал достать их через две-три недели, — собрали всё, что могли, на заводе, у рабочих, у служащих, ходили по дворам и покупали пилы у местных жителей, платя за них втридорога. Всё же набрали несколько десятков старых, изогнутых, сработанных пил и отправили рабочих в лес.

Лесозаготовки с трехом пополам начали, но что делать с вывозкой? Лошадей покупать нельзя, так как приобретение основных средств финансируется банком по особому счету и особым порядком, который не обойдешь. Комбинаторство в данном случае немедленно обнаружилось бы.

Главк старался помочь. На одном из своих заводов он отыскал гусеничный трактор и прислал нам. Срочно соорудили комплект саней для тракторной вывозки и отправили трактор в лес. Он отошел от города километров десять и застрял: от тяжелой снежной дороги у него лопнула крышка блока. Запасную крышку мы искали чуть ли не по всем центральным областям, в Москве, обращались в Челябинск на тракторный завод, но крышку не достали: оказалось, что запасных крышек не изготавливают. Трактор простоял зиму в поле, засыпанный снегом.

Главку посчастливилось где-то получить для нас шесть трехтонных газогенераторных машин. Главк приказывал: «В двухнедельный срок организовать двухсменную работу автомашин и вывезти весь заготовленный лес». Для этого прежде всего надо было найти двенадцать шоферов, а шоферы — крайне дефицитная профессия. С трудом нашли восемь шоферов, один вид которых приводил в отчаяние: двое были подростками, еще трое, очевидно, горькими пьяницами, выгнанными откуда-нибудь с работы, а остальных трех было трудно понять, шоферы они или бандиты. Хорошими шоферами каждое предприятие дорожит и найти хорошего шофера нельзя: его надо подготовить самому, из своих рабочих.

Никто из найденных шоферов не умел обращаться с газогенераторными машинами. Пока нашли специалиста, подучили шоферов, изготовили комплекты саней, сделали сушилки для газогенераторного топлива, прошло больше месяца.

В полях давно лежал полутораметровый снег, а дороги годились только для санного пути, лошадьми. Первая же посланная в лес машина увязла в снегу километрах в трех от города. Сделали снегоочиститель, послали с ним вторую машину — она тоже увязла, так как снегоочиститель для такого глубокого снега был слишком легок. Сделали второй снегоочиститель — его постигла такая же участь. Послали на выручку бригаду рабочих с завода, — они три дня боролись со снегом и метелями, но машины продвинулись всего на три-четыре километра. Можно было рассчитывать, что к весне наши машины доберутся до участка.

Непоседов распорядился вернуть машины на завод: было очевидно, что 90 километров снежных сугробов не преодолеть. Для этого надо было построить автодорогу, чего сделать мы были не в состоянии. Очевидно, машины можно забросить в лес только летом.

Прошла половина лесозаготовительного сезона, заготовка кое-как шла, но из леса мы не вывезли еще ни одного бревна. Похоже было, что нам действительно придется возить лес на себе.

Немного помог случай: в одной из районных контор «Заготконь» Непоседов разыскал двадцать лошадей, почему-то застрявших в конторе, которых она могла отправить только весной. Заготконь дал нам этих лошадей до весны во временное пользование, что Заготконю было выгодно: он экономил на содержании лошадей.

Лошади были исхудавшими, слабосильными: видимо, Заготконь кормил их лишь настолько, чтобы они не пали. Надо их подкормить, но у нас не было фуража: без заявки нельзя получить ни грамма ни овса, ни сена, а заявку на фураж надо было давать полгода тому назад, тогда, когда мы не могли еще и подозревать, что у нас будут лошади. Пришлось покупать сено на базаре, у окрестных колхозов и колхозников, у разных учреждений, вымаливая каждый воз и платя за него в десятки раз дороже твердой цены. Потом Главк прислал нам с одного из своих южных заводов нес-

колько вагонов пресованного сена, а Гинзбург достал два вагона овса.

Пока приобрели упряжь и сани для вывозки леса, лошади успели подкормиться. Отправив их в лес, мы вздохнули немного с облегчением: мы сделали всё, что могли.

За эту зиму мы вымотались сами и измотали наших десятников и работавших в лесу наших рабочих. У Непоседова от лица остался почерневший пенёк носа и лихорадочно блестящие глаза, вместо щек была втянутая обожженная морозом кожа. Мы забыли о преферансе, об отдыхе, и постоянно метались с участка на другой участок, в ближайšie села и колхозы, в Москву, Калинин, Ярославль, забывая о времени и о том, чтобы поесть. Мы старались, как могли, но старания наши дали жалкий результат.

К весне на берегах в верховьях у нас лежало: на Вилюйке 12 тысяч кубометров бревен, на Волчихе 6 тысяч. Всего 18 тысяч — вместо 150 тысяч по плану. Но было бы чудом, если бы мы сделали больше: у нас работало меньше одной пятой требовавшихся рабочих и 20 лошадей вместо 70. Рабочие работали не полный сезон, а лошади меньше половины сезона. При всем нашем рвении сделать больше мы не могли.

Драма на реке Вилюйке

18 тысяч кубометров сырья завод не спасали, но работу надо было доводить до конца. Лесозаготовительный сезон кончился, наступила распутица, но заготовленный лес надо еще сплавить. В наших заявках на рабочих для сплава нам отказали: в колхозах уже начинались полевые работы. Мы набрали человек двадцать какой-то шалой, никаким социализмом не учтенной публики, и опять мобилизовали своих рабочих.

Сплав осложнился тем, что на обеих реках работали не мы одни. На Волчихе работал Калининлес, у него было заготовлено более 100 тысяч кубометров и он на Волчихе считался главным сплавщиком. С Калининлесом договорились: они сплавят свой лес в первую очередь, а вслед за своим, попутно, сплавят и наш, за что мы им уплатим. Тем самым мы освободились от хлопот по сплаву 6 тысяч кубометров.

На Вилюйке дело оказалось сложнее. Недалеко от нашего участка ряд лет заготавливала лес московская контора Мясомолпрома. Она имела около 20 тысяч кубометров, но выше нас по течению. Сплавливать же лес ей надо было не до устья реки, как нам, где мы должны делать плоты и сплавлять их оттуда на завод по большой реке, а километрах в пяти выше устья. Там проходила железная дорога и там Мясомолпром выгружал свой лес на берег и отправлял его в Москву на вагонах.

Казалось бы, по логике вещей, сплав должен проходить так: мы сплавим свой лес в устье, а вслед за нами Мясомолпром сплавит свой и остановит его там, где им нужно. Лес в реке не спутается и обе организации будут удовлетворены. Мы так и предложили Мясомолпрому, но наткнулись на неожиданную неговорчивость: Мясомолпром, в прошлые годы бывший единоличным хозяином реки, заявил, что он ни с кем в разговоры о сплаве входить не желает и будет вести сплав так, как найдет нужным.

Это было нелепостью и шло против твердой традиции: в сплаве должен быть определенный порядок. Иначе, если каждый поведет сплав, как ему заблагорассудится, в сплаве будет хаос. В реке получится каша из 150 тысяч бревен, которую потом не распутаешь: какие бревна наши, а какие Мясомолпрома? Кроме того, Вилюйка оправдывала своё название: она извивалась, как спираль, выписывая на каждом двух-трех километрах дуги и зигзаги. В зигзагах стояло несколько мельниц и мостов, которые легко можно сломать. Кто будет за это отвечать? Разобраться, чей лес сломал мост или мельницу, невозможно, должен быть один хозяин, ответственный за сплав.

Мы пытались урезонить Мясомолпром, но ничего не выходило. Мясомолпром отказывался вступать в переговоры, попросту саботируя их. А стороной Непоседов, к этому времени в окрестных селах и деревнях имевший знакомых, узнал о том, что заведующий участком Мясомолпрома однажды в пьяном виде хвастал, что он проведет нас, новичков на реке, за нос: воспользовавшись неразберихой в сплаве, он хотел захватить часть нашего леса.

Мы пришли в негодование; Мясомолпром из неговорчивого партнера превратился в нашего злейшего врага: покуситься на наш лес, добытый таким нечеловеческим трудом!

Очевидно, мы попали в лице работников Мясомолпрома на квалифицированных ловкачей. Надо принимать меры. Непоседов помчался в Ярославль, добился постановления президиума Облисполкома о том, что завод является главным сплавщиком на Вилюйке — другие сплавающие лес организации должны в сплаве подчиняться ему. Постановление послали Мясомолпрому, в Москву и на участок. Должно быть чувствуя себя «москвичем», не обязанным подчиняться областными организациями, Мясомолпром не отозвался и на это постановление. Непоседов добился второго постановления — с тем же результатом.

А весна не ждала, лёд на речке вспух. Ездить по Облисполкомам некогда. Мы послали рабочих в верховья, расставили рабочих по реке — Мясомолпром расставил своих рабочих. Непоседов взбеленился, поднял на ноги районную прокуратуру, прокурор послал несколько телеграмм Мясомолпрому с требованием принять наши условия сплава и прекратить самоуправство — ответа на телеграммы ни мы, ни прокурор не получили. Это было неслыханной наглостью даже в советских условиях. Заведующий участком Мясомолпрома куда-то скрылся, его работники говорили, что он будто бы уехал в Москву, а сами они ничего не могут сделать, против его приказов. Уехать в такое горячее время заведующий участком не мог, — совершенно очевидно, что мы имели дело со злостным саботажем наших усилий договориться. Приходилось вести сплав на авось.

В предвидении дальнейшего, Непоседов приказал обмерить весь наш лес. Акты об этом были подписаны представителями местных властей, как незаинтересованными лицами. Прошел лёд, вода поднялась — мы сбросили лес в реку. Одновременно сбросил свой лес Мясомолпром. Через несколько часов бревна смещались в реке в общую кашу.

Задержавшись на заводе, я выехал на сплав на следующий день. Дорога была грязная, я только к вечеру добрался до Вилюйки, примерно в середине её течения, где, на другой стороне, расположилось большое районное село. Перед мостом нас задержала группа людей, предупредив, что дальше ехать нельзя: мост каждую минуту может рухнуть. Я соскочил с тарантаса и побежал к мосту.

Поднявшись почти до высокого бугристого берега, река сердито неслась по весеннему мутной пенящейся водой

Плыли одиночные и кучками бревна. У деревянного моста они останавливались: у моста образовался затор. Сотни бревен, упершись в сваи моста, переплелись хаотичной грудой, вода, ворча и бурля, била в них — мост дрожал, сотрясаясь от напора. На другой стороне стояла большая толпа любопытных, а впереди толпы Непоседов оживленно жестикулировал, что-то доказывая окружавшей его группе местного начальства.

Ожидать на этой стороне не хотелось, да и, если мост рухнет, на другую сторону перебраться будет нельзя. Я решил перейти по мосту, пока, быть может, еще есть время. Не рискуя погубить казенную лошадь, я сказал кучеру, чтобы возвращался обратно на завод, а сам бегом перескочил на другую сторону. Бежать было жутко: мост, метров пятидесяти длины, ходил под ногами, как живой.

Около Непоседова — всё районное начальство: председатель райисполкома, прокурор, уполномоченный НКВД, начальник милиции, секретари райкома. Всем любопытно. Неподалеку стояли рабочие Мясомолпрома, с баграми, — наших рабочих Непоседов предусмотрительно не поставил у моста, объясняя это тем, что раз есть у моста рабочие, зачем нужны другие? Был тут и один из десятников Мясомолпрома. — на беднягу наседали со всех сторон: как он допустил затор? Почему не подчинился требованию властей о том, что сплав будет вести завод? Совершенно потерявшийся, десятник даже не пытался защищаться, хотя он был всего подчиненным, безответственным лицом. А Непоседов готовил почву для будущего, искусно возбуждая районное начальство против Мясомолпрома.

Попытки разобрать затор, предпринятые до моего приезда, не удались: затор образовался не на чистом месте и бревна так переплелись со сваями моста, что растащить их не было возможности. Теперь на них нагромоздились еще сотни бревен и чудовищную кучу у моста можно было разве только взорвать динамитом. Ругая десятника, все лишь ждали, когда мост не выдержит напора и рухнет. Мост стоял еще минут пятнадцать и разом, с выстрелами и треском, свалился в воду по течению реки. Куча бревен, шевеля поднятыми вверх концами, как неуклюжими хоботами безобразных чудищ, тяжело поползла вниз, сокрушая остатки свай. Через две-три минуты ни от затора, ни от моста

не осталось ничего, если не считать жалких обломков насти-
ла у самого берега.

— Вы срываете посевную кампанию! — вне себя бро-
сился к десятнику Мясомолпрома председатель райисполко-
ма. — Мне семена надо везти, удобрения! Расстрелять за та-
кие штуки мало! — Глухой район, только этим мостом свя-
занный с внешним миром, оказывался отрезанным от всего
света.

Непоседов немного успокоил председателя райисполко-
ма, сказав, что завод, как главный сплавщик на реке, немед-
ленно заплатит стоимость моста, чтобы его можно было вос-
становить. Надо только составить акт. Пошли в райиспол-
ком и тут же, по горячим следам, составили акт о том, что
при сплаве сломан мост — конечно, по вине Мясомолпрома.
Акт подписало всё районное начальство и на-смерть пере-
пуганный, ничего уже не соображавший десятник Мясомол-
прома.

Мост стоил 40 тысяч рублей. Непоседов позвонил на за-
вод и распорядился перевести 40 тысяч райисполкому. Глав-
бух попросил подтвердить распоряжение письменно, — пос-
лали телеграмму.

Ночью Непоседов рассказал, что выше по течению сло-
мали две мельницы. На это тоже составлены акты, тоже дока-
зывающие, что в поломке мельниц виноват Мясомолпром.
Непоседов передал мне ворох документов: акты, копии теле-
грамм, постановлений, с подписями местного начальства и
со множеством печатей. Все это было драгоценным материа-
лом, изобличающим Мясомолпром, и должно было послу-
жить для сокрушения Мясомолпрома в будущем. Я чувство-
вал, что, несмотря на трудные передрыги со сплавом, Непо-
седов был рад, собирая эти бумаги: в нем говорили и его лю-
бовь к крючкотворству и жажда мщения.

Утром — новая неприятность: из устья позвонил наш
десятник и сообщил, что Мясомолпром устанавливает запани,
из-за чего лес к нам, в устье, не дойдет. В наши запани
уже пришли первые бревна, но пока всего полтора-два-
сти кубометров. Мы помчались в устье.

По разбухшим дорогам добрались до устья только к ут-
ру следующего дня. За это время в наши запани приплыло
около тысячи кубометров, а главная масса бревен, только
начавшая подходить к низовьям, была задержана Мясомол-

промом, уже установившим запани, перегородившие реку.

Непоседов вскипел: задерживать наш лес! Мы поскакали к запаням Мясомолпрома, захватив с собой десяток рабочих и десятника по сплаву. Им был служащий завода Матвеев, плечистый, большой физической силы энергичный и смелый человек, хороший лесной работник. Была у него и смекалка: он велел рабочим захватить несколько топоров.

Мясомолпром установил уже целую систему запаней. Главная запань, широкая, мощная, из восьми бревен, прочно и будто навсегда перегородившая реку. Выше стояли дополнительные запани, сортировочные дворники и все это было забито бревнами. Похоже, что Мясомолпром не собирался больше пропускать вниз ни одного бревна, его работники уже готовились начинать выпрузку. А у нас не хватало еще 11 тысяч кубометров, застрявших в этих запанях. Их надо выручать: пропустишь время — вода уйдет и тогда сплав будет невозможен, наш лес останется в пяти километрах от устья, в лучшем случае до осени, или до будущего года. Кроме того, сколько его приберет к своим рукам Мясомолпром?

На берегу стояли рабочие Мясомолпрома и десятник, не тот, что дежурил у моста, другой. Этот оказался наглецом, подстать своему начальству. Послав Матвеева с рабочими к главной запани, Непоседов бросился к десятнику:

— Почему не пропускаете наш лес?

Высокого роста, десятник сверху вниз посмотрел на Непоседова и лениво ответил:

— А он был, ваш лес? Нам об этом неизвестно. На бревнах не написано.

Непоседов едва не задохнулся от ярости. Он готов был двинуть десятника в ухо. Повернувшись, с искаженным лицом, Непоседов отчаянно крикнул:

— Матвеев! Руби запань!

Этого десятник не ожидал. Он растерялся:

— Стой, не руби! Как так, рубить запань? Права такого нет, чужие запаня рубить!

— А чужой лес задерживать есть право? Руби, Матвеев!

Матвеева не надо было просить: он уже орудовал с тремя рабочими, топорами разрубая толстые пеньковые и мочальные канаты. Рабочим, которым наше возбуждение и не-

годование были понятны и передались, с горячностью выполняли приказ.

— Стой! — уже вопил десятник Мясомолпрома, порываясь что-то сделать и не видя, что можно в таком положении сделать. — Ребята, сюда! — позвал он своих рабочих. Те подошли; их было тоже человек десять; с баграми, они выжидательно смотрели, будто бы готовые поддержать свое начальство и словно не решаясь на это. На нашей стороне тоже были багры, а по лицам наших рабочих было видно, что они не прочь броситься в драку и баграми отстоять добро и честь завода. Может быть эта решимость, написанная на лицах, и объясняла нерешительность рабочих Мясомолпрома.

Тем временем Матвеев справился с канатами и запань разошлась в стороны, открываясь, как ворота. Лес массой поплыл вниз.

— Будешь пропускать лес из верхних запаней? — требовательно спросил Непоседов десятника. Тот еще пытался возражать. — А не будешь — все перерубим к чёртовой матери! Матвеев! Пошли на верхние запани! — Вооруженные баграми и топорами, сплоченной когортой мы двинулись к верхним запаням.

Разрушение главной запани и наша решимость подействовали на десятника, с него слетела спесь. Он шел за Непоседовым и униженно хныкал о том, что он человек маленький и должен делать, как приказывает его начальство. Он просил немного подождать, он позвонит начальству и они откроют запани. Непоседов был неумолим:

— Я твое начальство долго уговаривал, довольно. Не хотели добром разговаривать, нахрапом хотели взять, наш лес зажулить — не на таковских напали. На бандитов мы сами бандиты. Или пропускай лес или сейчас твои запани полетят к чёртовой матери.

Ничего не оставалось делать десятнику, как начать пропускать лес.

В этот день вниз прошло 8-9 тысяч кубометров. Но последние бревна все же застряли в запанях Мясомолпрома: ночью они опять закрыли запани. А за день они подняли шум: обратились в НКВД, к прокурору, которого неделю назад не хотели знать, с жалобой на Непоседова за преступное разрушение их имущества. Районные власти знали, что

первовиновником является Мясомолпром, а поэтому и не привлекли Непоседова к ответственности, но рубить запа-ни вторично было уже нельзя.

Мясомолпром пошел, наконец, на соглашение. Он выделил представителя для совместного учета леса у нас, в устье, с тем, что недостающее количество он пропустит из своих запаней дополнительно. Но тут мы обманули их: пока шли разговоры, Матвеев на скорую руку сплотил кубометров пятьсот бревен и тайно сплавил на завод, так, что в совместный учет они не попали и Мясомолпрому впоследствии пришлось эти пятьсот кубометров добавить нам из своего леса. Мы не чувствовали угрызений совести из-за этого жульничества: пусть платятся за свое коварное поведение и нечистые замыслы! Хотели украсть у нас — мы украли у них.

Но оставшиеся примерно 1.500 кубометров нам пришлось доставлять в устье с большими трудностями и затратами: вода ушла и лес обсох. По одному бревнышку тащили лес баграми в мелком ручейке, пять километров. Сплав этих 1.500 кубометров обошелся дороже, чем сплав остальных 10.500.

На Волчихе тоже произошло несчастье. Сплавив свой лес, Калининлес халатно отнесся к выполнению договора с нами, пропустил воду и половина нашего леса обсохла в русле, километрах в 15-20 от устья. Все лето мы провозились с этим лесом, сплавливая его при помощи сооружения небольших плотин. Это был тяжелый и дорогой труд и 3.000 кубометров бревен, сплавленных этим способом, можно было считать золотыми.

Дорогое представление

Покончив с основными работами по сплаву, мы взвесили свое положение. Оно было незавидным. Сырья на заводе нет, а лесозаготовки и сплав съели все деньги и кроме долгов у нас тоже ничего не было. Надо что-то предпринимать.

Первым делом следовало свести счета с Мясомолпромом. За сломанные мост и мельницы мы уплатили больше 100 тысяч рублей, их надо было вернуть. Мы предъявили требование Мясомолпрому, — он отказался платить, обвиняя в поломке нас. Приходилось судиться. Так как мы име-

ли хорошо составленные акты, было бесспорным, что деньги эти мы получим с Мясомолпрома. Но Непоседову этого показалось мало.

— По постановлению Облисполкома мы были главными сплавщиками, мы вели сплав? — говорил он. — Мы. Поэтому пусть Мясомолпром заплатит нам за сплав их древесины. Предъявить им счет за сплав, а не заплатят, подадим в Арбитраж. Они задержали наш лес и этим причинили нам лишние расходы? Они. Пусть возместят лишние расходы. А еще надо получить судебное постановление о возврате остатка нашего леса, чтобы они не вольничали с ним и не прикарманили. Могут раскопать, что мы успели выхватить 500 кубометров и задержат их. А будет приказ Арбитража — шалишь, голубчики, никуда не денешься!

Кроме последнего пункта, по остальным предложениям Непоседова я возражал, доказывая, что он не логичен: если мы вели сплав и несем ответственность за него, то мы виноваты и в поломке моста и мельниц и в таком случае требовать за них деньги с Мясомолпрома не имеем оснований. В расчеты, почему и на сколько мы перерасходовали средства, Арбитраж входить не будет и мы этим только осложним наш иск и можем его проиграть. К тому же, заплатим огромную судебную пошлину и потеряем ее.

Непоседова оказалось невозможным переубедить: он горел жаждой мщения. Ему хотелось нанести Мясомолпрому чувствительный удар и мы предъявили иск более, чем на 300 тысяч рублей, заплатив около 15 тысяч рублей пошлины.

Зная порядки в Арбитражах, исковое заявление я составил коротким, на одной странице. К нему были приложены многочисленные расчеты, акты и копии других документов. Не вдаваясь в их рассмотрение, арбитр из заявления мог видеть основные наши претензии и цифры, а если надо, обратиться за разъяснением к документам.

Мясомолпром прислал возражение — на пяти листах. Я изумился: вот так москвичи, будто бы искусные в делах и знающие порядки! Возражение было так длинно и написано так путано, что ни один арбитр не будет его читать. А мы должны предстать перед высшим судебным органом, разрешающим имущественные споры: перед Арбитражем при Совнаркомом СССР.

Имущественные споры на сумму до тысячи рублей между различными учреждениями разбирались в обычных народных судах. Споры между предприятиями, входившими в один и тот же Наркомат, разбирались Ведомственными Арбитражами, существовавшими при каждом Наркомате. Споры от 1.000 до 5.000 рублей между подчиненными разным Наркоматам предприятиями решались Государственными Арбитражами при Областных Исполнительных Комитетах; от 5.000 до 25.000 рублей, а позже до 50.000, в Госарбитражах при Совнаркоме союзных республик, а выше этой суммы — в Госарбитраже при Совнаркоме СССР.

В Арбитраже ведомственном и при Облисполкомах нам приходилось бывать не раз: при общем беспорядке в хозяйстве споров возникало много. В этих Арбитражах существовала обычная учрежденческая обстановка: можно, без стеснения, возражать противнику и арбитру, отстаивая свои интересы и доказывая свою правоту; арбитры не прерывали спора и часто входили во все его детали. В Арбитраже при Совнаркоме РСФСР атмосфера суше и разговаривать там много не полагалось. Надо полагать, что в высшем судилище, в Арбитраже при СНК СССР, будет царить атмосфера совсем горних высот — мы приготовились больше молчать и быть скромными.

Дело назначили к слушанию на два часа дня. Не без волнения мы вошли в приемную Госарбитража, помещавшегося в одном из крыльев здания ГУМа на Красной площади, занятого под учреждения СНК. Тишина, полумрак; ни привычного канцелярского стука машинок, ни множества работников: в хорошо обставленной комнате нас встретил только один консультант. Представители Мясомолпрома уже ожидали, от них был заведующий участком, невидный краснолицый человек средних лет, и юрисконсульт московской конторы — солидный, с животиком, в пенсне, похожий на старого адвоката или на молодящегося актера.

Ровно в два консультант пригласил нас к арбитру. Непоседов и я скромно, изображая одновременно казанских сирот и невинно пострадавшую добродетель, пропустили вперед представителей Мясомолпрома. Они прошли с независимым видом, высоко подняв головы. Непоседов толкнул

меня в бок и едва не прыснул: он знал, что в этом месте высоко поднятая голова не годилась.

В большом кабинете арбитра тоже полумрак; на массивном письменном столе горела лампа под зеленым абажуром. В кабинете всё было массивным: тяжелые кожаные кресла, диван с высокой спинкой, чернильный прибор на столе, большая картина за спиной арбитра, почти во всю стену, в толстой золоченой раме. Сам арбитр тоже был массивным, обрюзгшим человеком, с лысиной, с широким жирным лицом в больших черепаховых очках. Арбитр сидел, прихлебывая чай, просматривал лежавшую перед ним газету и на нас даже не взглянул. Его лицо, смахивающее на изображение Будды, было одновременно надменным, презрительным и усталым: как будто он чувствовал себя где-то в другом месте, на недостижимых высотах, а окружающее ему смертельно надоело и было противным.

Мягкий мохнатый ковер заглушал шаги. Консультант указал нам место в креслах поодаль от стола, а сам встал сбоку около него. Предупредительно посмотрев на арбитра, он почему-то догадался, что можно начинать и коротко, бесстрастным тоном, доложил дело. Закончив, он положил перед арбитром лист бумаги, очевидно, с проектом решения.

Пухлой белой рукой отодвинув стакан, арбитр поднял, наконец, равнодушное лицо. Минуту помедлив, он невнятно и презрительно спросил:

— Почему Мясомолпром не подчинился решению Облисполкома?

Юриисконсульт Мясомолпрома торопливо вскочил и театральным жестом поправил пенсне. Я где-то в печонке почувствовал, что жест этот не может понравиться Будде.

— Мы не могли выполнить решения Облисполкома потому, что условия сплава на реке Виллюйке... — начал юриисконсульт, повидимому приготовившись говорить долго. Будда легким мановением пухлой руки остановил его:

— Меня не интересуют ваши рассуждения о сплаве. Я спрашиваю, почему вы не подчинились решению Облисполкома?

— Мы охотно подчинились бы, если бы могли подчиниться, — чему-то улыбнувшись, опять зачастил юриисконсульт. — Нам не позволили сплавные условия, так как на реке... — Арбитр недовольной примасой и уже нетерпели-

вым жестом прервал юрисконсульта: улыбка юрисконсульта, очевидно, ему была нестерпима.

— Довольно. Запишите, — не поворачивая головы, обратился он к консультанту, глядя на лист перед собой. — За сломанные мельницы и мост иск удовлетворить в полном размере. . .

— Но, товарищ арбитр, мы просим рассмотреть вопрос во всем объеме, — вмешался юрисконсульт. — Акты, представленные против нас, неверны, их следует квалифицировать. . .

Лицо Будды изобразило высшую степень презрения, смешанного с мукой. Теперь консультант жестом руки и выражением лица остановил юрисконсульта, как бы говоря: не надо раздражать божество.

— За неподчинение областным органам советской власти оштрафовать Мясомолпром на 25 тысяч рублей, в доход государства. . . Что там еще? — невнятно промямлил арбитр. Мясомолпромовцы были ошеломлены, юрисконсульт приподнялся было из кресла, пытаясь что-то сказать, но консультант строгим взглядом заставил его сесть и повторил нашу претензию об уплате за сплав и лишние расходы.

— Это меня не касается, — возразил арбитр. — Работали оба, оба путали, пусть оба несут и расходы.

Непоседов почтительно подался в кресле вперед и кратко спросил:

— Разрешите? — Арбитр недовольно глянул на него. Непоседов мягко, словно говоря больному, продолжал: — Мы понесли большие убытки, товарищ главный арбитр, и не по своей вине. Кроме того, Мясомолпром препятствует в получении нашего леса, находящегося в их гавани. Поэтому. . .

Арбитр прервал и Непоседова:

— Вы поставлены руководить делом, вы будете отвечать и за убытки. Я не могу помогать вам сокращать ваши убытки: умейте работать. Что с лесом? — спросил он консультанта. Консультант пояснил. — Запишите: Мясомолпрому возвратить заводу лес до последнего кубометра. Оштрафовать Мясомолпром за партизанщину дополнительно на 25 тысяч рублей, в доход государства. Всё. . . — Арбитр придвинул к себе холодный чай и углубился в газету, мгновенно забыв о нашем существовании. Консультант неслышно отошел от стола, жестом приглашая нас удалиться.

Мясомолпромовцы выходили растерянными и подавленными. Юриисконсульт вытирал со лба пот. В приемной он опомнился и громко запротестовал:

— Мы не согласны с решением, мы обжалуем в заседание Совнаркома. . . — Консультант вежливо, но твердо прервал его, оттесняя к выходу:

— Я прошу вас говорить тише. Здесь нельзя шуметь. . .

Непоседова разбирал смех. Он прыскал, отворачиваясь, в кулак, и опять толкал меня в бок, кивая на мясомолпромцев. А когда мы выбрались на Красную площадь, дал волю смеху:

— Ведь это спектакль, настоящий спектакль! — показывался он. — Не надо в театр ходить! «Меня не интересуют ваши рассуждения», — передразнивал Непоседов арбитра.

— Этот театр обошелся нам в лишних 10 тысяч, — напомнил я. — Иск мы выиграли всего на одну треть, поэтому и пошлины получим с Мясомолпрома только треть. Остальные 10 тысяч мы с вами уплатили за спектакль. Дороговато, по 5 тысяч за билет!

— Черт с ними, — отмахнулся Непоседов. — Тысяча больше, тысяча меньше, все равно, где наша не пропадала! Нет, а как он мясомолпромовцам приварил: 50 тысяч! Зачещут затылок, голубки! 50 тысяч, как корова языком слизнула! Нет, они еще мелко плавают, нахрап есть, а понимания настоящего нет. А арбитра — вот у кого учиться надо: в момент все разобрал и рассудил! Не сильно, так здорово, а не здорово, так сильно! — потешался мой шеф.

Старые знакомые

В эти годы второй жизни концлагерное прошлое изредка напоминало о себе неожиданными встречами. Однажды я возвращался из Москвы ночью, сидя в вагоне, дремал. Напротив, в проходе, у окна, остановился человек и закурил папиросу. Сквозь дрему я почувствовал к нему бессознательный интерес. Круглое лицо, бородка — будто бы что-то далекое и давно знакомое, но может быть и нет. Я попробовал представить его себе без бороды — и сон отлетел. Я поднялся, подошел — мужчина с бородой теперь так же силился что-то вспомнить, рассматривая меня.

Прошло много лет с тех пор, как меня арестовали, но арест свой я помню, словно он был вчера. Арестовали вечером, ночь я провел в комендатуре ГПУ, а утром меня доставили на вокзал и посадили в купе какого-то поезда. В купе были только два конвоира и я, — я обрадовался, потому что до этого три ночи не спал и решил, что сейчас же залягу на одной из скамей и высплюсь. Пожалуй, тогда меня больше ничто не интересовало. Но за минуту до отхода поезда в купе ввели еще одного человека и вошли еще два конвоира, стало тесно и я понял, что мечте моей не суждено сбыться. Второго арестованного посадили рядом и сковали нас наручниками: его правую руку, мою левую. Проделав эту операцию, старший конвоя вышел и запер снаружи дверь в купе.

Разговаривать не разрешали, мы обменивались лишь сочувственными взглядами и улыбками. Спутник тоже смертельно хотел спать, перепробовав разные положения, мы нашли наилучшее и попеременно склонялись один к другому на колени, а второй на спину лежащему у него на коленях. Так, собратьями по наручникам, сутки ехали мы до столицы, там, в тюрьме, нас расковали и мы потеряли друг друга из вида. Через год я встретил своего спутника в концлагере, потом опять потерял. Теперь мы снова были рядом: куривший у окна человек был тем самым моим собратом по наручникам.

Он освободился из концлагеря почти в одно время со мной и с тех пор мыкался с места на место, не находя постоянной работы. Я повез его к себе и помог ему устроиться.

В другой раз, в Москве, я вышел вечером из гостиницы и отправился вниз по улице Горького, прогуляться. У Центрального Телеграфа заметил ладного, статного военного. Пригляделся, подошел к нему:

— Товарищ Бобров?

Он тоже всмотрелся:

— Как будто мы где-то встречались... Не припоминаю...

— Помните Синюю Речку? Начальника лагеря Хрулева? У вас оттуда сбежал заключенный...

— Неужели вы? — воскликнул военный.

Он был начальником охраны лагеря, из которого я когда-то бежал. Не плохой по душевным качествам человек,

он много делал для лагеря. В тех глухих местах работы для охраны почти не было и он охотно помогал по хозяйству, доставая для заключенных продукты, одежду, обувь, благо, это происходило в одну из либеральных полос. Я с ним по этой работе тогда был хорошо знаком.

Мы зашли в ресторан и выпили бутылку вина, вспоминая старое.

— Я до сих пор не знаю, как вам удалось бежать, — говорил Бобров. — Я ведь тогда мобилизовал чуть ли не всех местных жителей, сам с собаками две недели ходил по тайге, по горам. Вошел в охотничий азарт и плохо было бы вам, если бы я вас настиг! Где вы шли?

Я сказал.

— Да я же там был! Дней пять лазил по горам!

— Теперь мне понятно, — улыбнулся я. — Однажды я заметил на противоположной горе, далеко, километров за восемь — десять, будто бы человека с собаками, но не был уверен, не ошибаюсь ли. На всякий случай я поторопился уйти дальше.

— Где вас задержали?

Я ответил, что в Сибири: не было хороших документов.

— Да, — подтвердил Бобров, — бежать можно, а уйти нельзя. Никуда не уйдешь.

— Нам тоже можно, вот, бутылку вина выпить, а дальше, — развел я руками. Бобров понимающе усмехнулся.

Мы просидели с час, болтая, как добрые знакомые. Я подумал, что если бы тогда он заметил меня, но не мог бы поймать, он меня застрелил бы. Теперь он работал в другом лагере, на Урале, тоже в охране, в Москве был в отпуску, — в новом лагере он охраняет таких же, как я, и так же гоняется за ними, когда они бегут. А потом может встретиться с ними, как со мной, и выпить бутылку вина. Он тоже только такой же работник и исполнитель, не имеющий своей воли, как и я. И он так же не может оставить свою работу, как не могу оставить своей я: этому многое мешает. Мы оба не хотим друг другу зла — очевидно, дело не в нас, а в ком-то или в чем-то другом.

Одна из встреч с прошлым произошла на заводе, в тяжелую для нас пору.

Завод дышал на ладан. Заготовленных 18 тысяч кубометров леса, даже если бы они поступили сразу, без помех со сплавом, хватало только на три месяца. Мы работали в одну смену, и то с остановками. Денег не было. Главк приказывал: «Всеми мерами привлекайте давальческое сырье». Мы старались перехватывать каждую сотню кубометров у других организаций, работавших в нашем районе, чтобы загрузить завод работой. Если год назад Непоседов гнал с завода представителей, предлагавших за нашу работу взятки, то теперь мы готовы были сами давать взятки, лишь бы нам поставили лес. Но у «давальцев» леса оказывалось всего по 200 - 300 кубометров, их хватало на три-четыре дня работы. Да и давальцев этих было мало.

Однажды Непоседов зашел ко мне и сказал:

— Приехали богатые купцы, дело пахнет крупным. Держите ухо востро, надо не промахнуться. Берите план и пойдете.

В кабинете у Непоседова сидели представители Волгостроя НКВД, приехавшие договариваться о том, чтобы завод распилил для них около 100 тысяч кубометров леса.

Одним из представителей был Начальник лесного отдела Волгостроя Селецкий, высокий одутловатый человек. Я когда-то знал его по Соловкам: бывший офицер, он был заключенным и в Соловках работал начальником лесозаготовок. Одно его имя приводило заключенных в ужас: попасть на лесозаготовки часто означало гибель. Сам Селецкий никого не бил и не убивал, но с отчаяния, или почему другому, он пьянствовал, развратничал и попустительствовал охранникам и десятникам, по большинству из уголовников, нещадно избивать и убивать на лесозаготовках заключенных. Если его тогда удавалось видеть трезвым, это был бравый цветущий мужчина.

Теперь в кабинете сидела рыхлая развалина: почти глухой, кашляющий старик. Селецкий шутил, балагурил и был похож на добродушного промотавшегося помещика. Деловую часть разговора вел его помощник, напористый и хамоватый человек средних лет.

Он предъявил невозможные требования: они не сдадут нам сырье для переработки, а поставят свой персонал, почему, в сущности, нам на заводе почти ничего не оставалось делать и мы должны были бы уволить многих своих слу-

жащих. Мы отвергли эти требования, помощник Селецкого настаивал, не прося, а требуя и даже угрожая: работники НКВД привыкли разговаривать тоном приказа. Непоседов осадил его: Непоседов не привык подчиняться первому встречному. Дошло до скандала, волгостроевец заявил, что они отберут завод. Но испугать нас было не легко и переговоры кончились ничем.

Мы не боялись этих энкаведистов потому, что они были лишь хозяйственными работниками, а не политическими. Они могли распоряжаться у себя в лагере, с бесправными заключенными, а мы чувствовали себя не ниже предъявлявших нам требования. Отобрать же завод не так легко: для этого Лесному отделу Волгостроя надо возбудить ходатайство перед управлением лагеря, последнему перед Главным Управлением Лагерьей НКВД, ГУЛАГ-у перед Совнаркомом — на этой длинной бюрократической лестнице много не легко преодолимых ступеней, не перешагнув которые завод не возьмешь.

Через неделю помощник Селецкого приехал опять, уже более покладистым, но все еще с неприемлемыми требованиями. Мы опять отказали ему. Еще через неделю он приехал в третий раз, уже дружески расположенный к нам и принял наши условия. Но выяснилось, что они поставят не 100, а всего 20 тысяч кубометров: НКВД, как никто другой, любит блефовать.

Мы приняли 20 тысяч кубометров, но этого тоже было мало. Одну смену рабочих и часть служащих уволили. Не находя себе работы в нашем городке, они должны были покидать насиженное место. Оставшиеся опять получали малую зарплату, почти такую же, как и два года тому назад. Перспективы не было, завод медленно умирал. Установилось, как говорил Непоседов, «сонное царство», с уныло-безнадежным настроением.

Я говорил Непоседову: не пора ли переменить работу и переехать на другое место? Но Непоседов сжился с заводом и не хотел его покидать, как свое детище. Он тоже тосковал, но надежды на лучшие времена не терял.

— Я не удерживаю вас на этом кладбище, — отвечал он. — Хотите, уезжайте, в претензии не буду. А я останусь.

Подумав, что уже достаточно пожил провинциальной жизнью, я начал строить планы переезда в другое место. Пора было перебираться в Москву.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ПЕРЕД БУРЕЙ

Первый гром

В Москве к этому времени у меня было уже много знакомых. Кольшев и другие работники Главка и Наркомата; встретил я даже двух школьных товарищей. Мой сверстник Лапшин, окончивший Военную Академию, был майором и работал в Генеральном штабе Красной армии. Лет пять назад, по молодости, он вступил в партию, а выйти из нее уже не мог: добровольно из партии можно уйти только в тюрьму. Осторожный, суховатый, сдержанный, марксизм-ленинизм он знал на зубок и партийной организацией Генштаба считался примерным и даже активным партийцем. А внутренне он был антикоммунистом. Под покровом сухости у него скрывалась попрежнему горячая ищущая душа и мы возобновили с ним нашу прочную юношескую дружбу.

У него был небольшой круг близких друзей, сошедшихся на любви к литературе и на внутреннем антикоммунизме. Его сослуживец, полковник тоже Генерального штаба; еще полковник, профессор Военной Академии; военный инженер-майор из той же Академии — все трое были членами партии. Бывали еще двое беспартийных военных, — все они редко сходились вместе, но у Лапшина (у него была большая квартира из трех комнат, в огромном доме Наркомата Оборонны) часто по вечерам можно было застать одного-двух из них. Это никак не была группа заговорщиков или даже только единомышленников. Но как-то так получалось, что в разговорах на самые невинные темы звучали определенные ноты, соединявшие нас в одном чувстве. Слушая со

стороны, нас нельзя было обвинить в антикоммунизме, а между тем намеки, тон, звучание голоса были полны им.

Другой мой школьный товарищ, инженер, работал в Наркомате тяжелого машиностроения. И у него был ряд друзей, тоже сходявшихся в одном чувстве. Одна из моих родственниц вышла замуж за кинорежиссера, у них бывали работники кино и театра, артисты, писатели — я заглянул еще в один круг людей, не делающих погоду в стране, но придающих этой погоде то или иное звучание. Это был круг оформителей общественного мнения, создаваемого по приказу власти.

Эти люди не принадлежали к узкому кругу заговорщиков, сидевших в Кремле и являвшихся полными хозяевами страны. Но они были управляющими у хозяев и находились на верхних ступенях государственной и общественной лестницы. Роль их в стране была велика — вместе с тем она была ничтожна.

Как громом поразило всех нас сообщение о заключении договора с гитлеровской Германией. Из четырех миллионов москвичей может быть только тысяча знала, что в Москву прилетел Риббентроп и ведет в Кремле переговоры. Все знали, что в Москве находятся представители Англии и Франции и что с ними идут переговоры о союзе против Гитлера, официально первого и злейшего нашего врага — и вдруг нам сообщают, что мы заключили с ним договор о дружбе! Такой поворот дел для всех без исключения был ошеломительным, в первые часы все были растеряны, никто не мог собрать своих мыслей: их тоже надо было круто поворачивать, чтобы понять случившееся.

Днем я разговаривал с Кольшевым:

— В Кремле заваривают большую кашу, — говорил он. — Чую, придется нам туже затягивать пояса. — В голосе этого собранного человека звучала тревога.

Вечером я встретил Лапшина. И этот осторожный человек был встревожен.

— Идем к последнему решительному. Предав «капиталистические страны», Сталин развязывает войну в Европе. Мы пока останемся в стороне и будем вооружаться. Придет час — ударим так, что Европе не поздоровится. Стратегия старая и рассчитанная на дальний прицел.

— Ударим против кого?

— Против кого придется, против того, кто будет слабее. Нам всё равно, потому что для нас все враги.

— А будет удар достаточно сильным, при наших настроениях?

— Об этом позаботятся, пока есть время. И если будем наступать, против слабейшего, удар при любом настроении будет сокрушительным...

Поворот был настолько неожиданным, что власть решила объяснить его населению не совсем обычным способом. К нам на завод для этого приехал пропагандист из Обкома партии. На общезаводском собрании, без крикливых пропагандных фраз, он просто, умело и увлекательно приоткрыл завесу над переговорами с Риббентропом и над происходившим в дипломатических кругах Европы. Пропагандист рассказал много такого, о чем печать молчала и что не было известно никому, кроме узкого круга наверху. Он более подробно, чем в газетах, рассказал о Мюнхене; между прочим и о том, что Риббентроп привозил с собой пленку, на которую тайно был записан разговор между Гитлером и Чемберленом, процитировал отдельные места из этой записи. В них говорилось, что Западная Европа предоставит Гитлеру свободу рук на Востоке и не будет протестовать против отделения от СССР Украины. Привел пропагандист и ряд других таких же фактов. Выводов он не делал, предоставляя это слушателям. Выводы напрашивались сами: Сталину ничего не оставалось, как прервать переговоры с западными державами и заключить союз с Гитлером.

Эта необычайная информация произвела большое впечатление. Что в ней было правдой, а что выдумкой, оставалось неизвестным, но как бы люди ни привыкли не верить власти, в данном случае не верить совсем они не могли. Двойственная и противоречивая «мюнхенская» политика была перед глазами: предали Австрию, Чехословакию — почему Англия и Франция будут соблюдать договор с нами? Рядовой человек склонен был поверить тому, на что наталкивало его Политбюро: опять «англичанка хитрит».

Многим незаметно польстился вкрадчивый, доверительный характер информации. В газетах рассказанного не было, а народу Кремль об этом сообщил! Для неискушенных в политических тонкостях людей, привыкших, что с ними не считаются, факт этой доверительности протянул какую-то

невидимую паутинку к власть имущим и даже словно тронул: какая бы ни была власть, а в решительные минуты, когда дело идет о судьбе родины, она обращается к народу и считается с ним. Эта доверительная информация была слабым провозвестником тех обращений к народу, которые пришлось власти делать во время второй мировой войны.

Нападение Гитлера на Польшу и начало войны на западе Европы еще больше взвинтили настроение. Наше вступление в Польшу свидетельствовало, что Сталин пользуется случаем и начинает осуществление грандиозного плана коммунистического наступления, которое могло обернуться поражением. Оставаться в такое время на умирающем заводе не хотелось, тянуло поближе к «большой политике». Я переговорил об этом с Кольшевым.

— Да, что же вам на заводе делать, — согласился он. — Переезжайте к нам. У меня одного работника мобилизовали, займете его место.

— А как с пропиской, с жильем? — Переехать в Москву на жительство, не москвичу — исключительно трудное дело, разрешения можно добиться лишь по особому ходатайству Наркомата.

— Оформим переезд через Наркомат, а пропишем вас в Лосинках, на нашей фабрике. Жить пока будете в Останкино, в нашем общежитии, как-нибудь выкроим вам там комнатку. Потом устроится и с пропиской в Останкино. Согласны?

Через некоторое время я переехал в Москву.

Антикоммунисты строят коммунизм

В своей послеконцлагерной жизни членов партии я встречал немного. На заводе из пятисот человек было всего шесть партийцев; самый видный из них — Непоседов, на которого равнялись остальные: партторг, предзавкома и трое рабочих, совсем незаметные люди. В Главке работало около двухсот человек, членов партии из них было одиннадцать: в Москве процент членов партии выше. Особого влияния их не чувствовалось.

Больше того, я почти не встречал членов партии, взгляды и настроения которых резко отличались бы от моих. Мне, например, не пришлось встретить человека, о котором я мог

бы сказать: «этот — идейный коммунист». Попадались тупые службисты, вроде того управляющего Союзрыбой, который два с лишним года назад уволил меня «за сокрытие прошлого», но таких были единицы. Много было карьеристов, откровенных рвачей, шкурников; были более или менее случайно попавшие в партию люди; не мало встречалось петушившейся молодежи-комсомольцев — ни одна из этих категорий не определяла средний, массовый тип советского служащего и, шире, советского интеллигента. Этот средний тип приближался к облику Непоседова, Кольшева или Лапшина, а его несложная в советских условиях философия была примерно такой: подчиняйся власти, не забывай о себе и, насколько можно, всё же заботься и о своем ближнем. Порядок этих трех принципов мог перемещаться, иногда один из принципов мог приобретать большее значение, другой умаляться или даже не выполнялся совсем, но потом восстанавливался вновь. И даже в откровенных рвачах и карьеристах нередко можно было увидеть желание всё-таки не забывать третьего принципа, который большевизму в русском человеке так и не удалось искоренить.

И вот — я, бывший контрреволюционер, концлагерем так и не переубежденный и оставшийся антикоммунистом. Настроения и взгляды окружающих одинаковы с моими. Между тем, над нами — власть, откровенно заявляющая, что её цель — коммунизм. Мы подчиняемся власти, выполняем её приказы и этим даем ей возможность говорить, что она «едина с народом». Что за чертовщина?

Понятно, что «общность советской власти с народом» — тоже лишь декорация, за которой скрыто фактическое противостояние народа власти. Люди вынуждены подчиняться: они должны, например, работать, а работать можно только у государства, ибо у нас всё подчинено государству, — а государство в полной власти Политбюро. Работая, вы уже «поддерживаете власть». Тысячью нитей вы связаны со своим народом, с родиной, со своей землей, вы хотите жить одной жизнью с ними, помогать им, — вы можете это делать только через государство. Тем самым вы оказываетесь тысячью нитей связаны и с властью, которая строит коммунизм. Как миновать их? Как снять, уничтожить, сломать дьявольскую декорацию, чтобы для каждого всё встало на свои места?

Страх не был этому главным препятствием. Человек не может жить одним страхом и ежечасно страха мы не испытывали. Были среди нас осведомители НКВД, доносчики — их обычно знали, сторонились и не очень боялись. На некоторые темы вообще было наложено незримое табу и при посторонних они не возбуждались. Каждый знал, что в Москве есть Лубянка — этого было достаточно, чтобы вести себя осторожно и не слишком распространяться.

И вместе с тем хлесткий антисоветский анекдот в два-три дня облетал Москву. Его рассказывали в кабинетах ответственных партийцев, в канцеляриях, дома, в цехах, на улице. Будто бы всемогущий НКВД никак не мог этому помешать и ни разу не приходилось видеть, чтобы такой анекдот вызвал у кого-нибудь негодование или возмущение: все весело потешались над властью, опять обнаруживая общность чувства. А посмеявшись, переходили к выполнению её приказов.

Однажды, в воскресенье, за обедом у Гинзбурга мы говорили с его сыном, политруком в одной из частей московского гарнизона, о книжных новинках. Я похвалил каверинских «Двух капитанов», только-что появившихся в каком-то толстом журнале. Политрук усмехнулся:

— Это что, вы «Возмутителя спокойствия» Соловьева читали? Вышел в «Роман-газете». Прочитайте: занятная штука!

Я достал «Возмутителя спокойствия», прочитал — маскируясь изображением средневековой Бухары, Соловьев дал такую яркую сатиру на кремлевские порядки, что я только ахнул: ай-да политрук, воспитатель красноармейцев в духе коммунизма, какие книги рекомендует читать! . . .

Обыватель жил, как всюду и всегда: втихомолку злорадствуя, посмеиваясь или негодуя, — показывая власти «кукиш в кармане», — страшаясь, но не забывая и о себе и заботясь о хлебе насущном, что было его первой задачей. Но и немногие, способные не только негодовать, а и размышлять, не могли ответить на вопрос: как изменить нашу жизнь?

Культурный уровень людей, входивших в круг Колышева, Лапшина, других моих московских друзей был неизмеримо выше, чем у Непоседова, но и они не имели ответа. Безобразность и бесчеловечность социалистического строя

были ясны и никто из нас не хотел принимать его. Но мы отдавали себе отчет и в том, что со старых основ жизнь сдвинута бесповоротно: прошлая эпоха кончилась. Какой может быть — или должна быть — наступающая? Ломке старого, не только свидетелями, но и непосредственными участниками которой мы были, инстинктивно и упорно сопротивляются миллионы; крестьянин, рабочий, интеллигент упрямо отстаивает не одно свое существование, но и многое из прежнего — тысячи, миллионы отдают за это свои жизни. Совершенно очевидно, что тут не только старое, косное, отжившее, но и вечное, без чего человеку не жить. Что является этим вечным, что должно сохраниться, а что можно или нужно действительно выбросить, как мешающий хлам? Как в новых условиях и в предвидении будущего надо организовать промышленность, сельское хозяйство, чтобы не породить отжившего, но вместе с тем наиболее полно удовлетворить и потребности людей и нужды государства? Как организовать государственное управление, чтобы оно не было деспотическим, но и обеспечивало бы порядок? Каковы должны быть социальные отношения, что в них нужно изменить, что оставить? Множество вопросов требовали обязательного решения, без этого сдвинуться с мертвой точки было нельзя.

Формально часть этих вопросов решалась «сталинской конституцией» и вообще советскими установлениями, что еще более сбивало с толку. Действительность резко противоречила форме, — но где гарантия, что и какие-то другие, кажущиеся нам справедливыми, наши установления не будут такими же, как и существующие советские? Как перевести хорошие слова, записанные на бумаге, в хорошие дела на практике, в жизни?

Найти сколько-нибудь общий ответ на такие вопросы в узких кружках из трех-четыре человек нельзя: у каждого кружка в лучшем случае свой ответ. Не раз приходилось убеждаться в том, что одинаковые мысли и желания «носились в воздухе», но собрать их вместе, свести в систему, которая превратилась бы в силу, без свободного обмена мнениями невозможно. И кроме недовольства, критики, отрицания нам нечего было противопоставить власти: идеи, которая могла бы стать ведущей силой, не было.

Тщетно пытались мы присмотреться к загранице, но понимать, что происходит там, не могли. Что там тоже неблагополучно, для нас было несомненным: в этом убеждала не столько пропаганда, сколько, например, паломничество к нам с Запада известных писателей, ученых, общественных деятелей, обмануть которых, казалось бы, наша пропаганда не могла. Если на Западе всё благополучно, зачем они приезжают искать лучшего у нас?

Приезжал Ромэн Роллан, Лион Фейхтвангер, чета Вэбб, многие другие, оставлявшие часто восторженные отзывы об увиденном. Мы недоумевали: чем вызваны эти восторги, необъяснимой ли слепотой восторгающихся или тем, что на Западе действительно есть что-то настолько плохое, чего мы не знаем, и это плохое затмевает даже наше безобразие? Трудно было этому поверить, но и этим уже создавалась помеха вере в Запад.

Честности и искренности многих приезжавших не верить мы не могли. Приехал Андре Жид — у нас не было ни малейшего повода подозревать его в пристрастности. Уехав, Андре Жид выпустил за границей книгу «Возвращение из СССР», после чего из нашего друга Политбюро переименовало его в злостного врага. Но что не понравилось Андре Жиду, узнать могли только единицы, имевшие доступ к запрещенным книгам. Для широкого круга критерия опять не было.

Недовольство строем было повсеместным. Для того, чтобы его собрать и обрушить против власти, не хватало существенного звена: во имя чего? К чему, к какому конкретно строю надо звать людей?

Отсутствие руководящей идеи было едва ли не решающим фактором нашего подчинения власти. Иногда, за бутылкой вина, мы говорили с Лапшиным на такие темы:

— Представь, что в Москве вспыхнуло восстание, — начинал я. Лапшин пренебрежительно ухмылялся:

— Гм. Это каким же образом? Выдумываешь.

— Были же восстания в провинции, почему бы не случиться в Москве? И не в этом дело, разберем теоретически. Восстания в провинции подавлялись войсками, что объяснимо: войска присылали из других районов, дело происходило далеко от центра и его можно было объяснить «происками врагов народа». Но вот восстали рабочие Шарикоподшипни-

ка или ЗИСа, к ним присоединилось население — будут красноармейцы стрелять?

— Почему же нет? Дадут приказ, они и будут стрелять.

— А как сделать, чтобы они не стреляли?

— Чтобы красноармеец не стрелял, он должен знать, что и другие не будут стрелять. А для этого им всем нужно знать, зачем они рискуют, во имя чего не подчиняются приказу. И вожака, командира еще нужно, который тоже должен знать, во имя чего он действует и что его другие поддерживают. А сейчас ни обратиться к своим красноармейцам, ни связаться с другими командирами он не может: вокруг и политработники, и особысты, и тайные шпики. Почему в таком случае он не подчинится приказу сам и не даст приказа стрелять?

— Значит, безнадежно?

— Вполне, пока есть такое разъединение и мы не можем объединиться вокруг какой-то общей цели. Когда был Тухачевский, еще можно было надеяться: вокруг него, как известного и авторитетного человека, люди могли собраться. А сейчас нужно ждать — возможности организации, появления какого-то человека, идеи, события, которые переборол бы разъединение и сплотили людей.

Так заканчивались все подобные разговоры: надо ждать. И мы, безусловные антикоммунисты, поговорив вечером, утром опять втягивались в рутину работы, которая имела одну цель: строить коммунизм.

В коммунистической упряжке

Шутя, я так определял темп нашей жизни: в глухой провинции, в деревнях или районных городках, люди движутся сонно, со скоростью черепахи. В областных городах люди идут. В Москве они бегут: приезжая из провинции, поражаешься московскому шуму, движению, а захваченный ими, крутишься оголтело с утра до вечера и только ночью получаешь возможность передохнуть, если, измотанный до последней степени, не засыпаешь тотчас же, как только доберешься до постели. Москву постоянно лихорадит и может показаться, что люди в ней не знают отдыха ни днем, ни ночью.

Потом я убедился, что московская занятость — тоже фикция. Лихорадило только Кремль: он один имел ясную для него цель, во имя которой и подхлестывал нас. А наша лихорадочная спешка была лишь отзвуком огнедышащего Кремля, почему она и была не настоящей лихорадкой.

Внешне много суматохи, деловитости, оживления. Прием у ответственных работников не добиться: они вечно заняты, у них постоянные заседания, часто кончающиеся за полночь. Но ответственные и на работу являются на час, два, три позже, а иногда приезжают и во второй половине дня. Не ответственные тоже не спешили и редко кто являлся на работу без опоздания. И стоило лишь немного организовать свое дело, как оказывалось, что времени у нас с избытком: в течение дня можно и поболтать с сослуживцами, и пойти прогуляться по улицам, зайти в магазин — лихорадочная деятельность опять оборачивалась бездельем.

У нашего Главка было около ста заводов, фабрик, мастерских и несколько Всесоюзных контор, производивших, заготовлявших и распределявших строительные материалы. На нас лежали руководство и контроль за деятельностью этих предприятий. Но они работали по годовым планам-приказам, отчитывались в установленные сроки — мы были лишь промежуточным звеном между заводами и верховной властью, исправно регистрирующим проходящие через нас приказы и отчеты. Это занимало часть начала месяца и года — в остальное время мы кое-как «регулирували» деятельность подчиненных предприятий, штопая постоянно появлявшиеся у них дыры. Штопанье тоже зависело от приказов, например, от планового снабжения, и тоже отнимало не так много времени. В результате оказывалось, что и в Москве люди заняты продуктивной работой, скажем, половину своего времени. Остальное уходило на бестолковую суету и явное ничегонеделанье.

Такая работа была не чем иным, как скрытым саботажем, результатом того, что никто не мог ответить на вопрос: а ради чего мы работаем? Кремль работал ради коммунизма — для нас коммунизм был даже не пустым звуком, а отрицательной величиной. Для работы оставался один стимул: зарплата, материальные блага, у многих, как у Колышева, дополнявшийся еще старанием, несмотря ни на что, всё же что-то создавать. Но советская жизнь скудна и не-

устойчива, она не дает надежд и на достижение материального благополучия — непрочным оказывается и этот стимул.

К концу 30-х годов скрытый саботаж приобрел угрожающие размеры: опоздания на работу, прогулы и текучесть приняли характер бедствия. Многие предприятия за год принимали и увольняли вдвое и втрое больше работников, чем им было нужно, сменяя в течение года два-три раза свой состав. В 1940 году власть издала указы о запрещении добровольного перехода с предприятия на предприятие и о наказаниях за опоздание и прогулы. Теперь, приходя на работу, надо было расписываться в особых листах: ровно в 10 часов листы убирались — опоздавших ожидала кара, включительно до тюремного заключения. Власти надо было заставить нас работать больше. Но указы не принесли ей много пользы: мы стали приходить во время и высиживать положенные часы, делая вид, что заняты.

Для энтузиазма не было оснований. Мы строим заводы, фабрики, новые города. Но что они дают нам, всему народу, стране? И их можно строить нормальным путем, без истерики и жертв...

Одним из близких моих сослуживцев был некто Поспелов, худощавый, будто выцветший человек, с усталым и грустным лицом. Осколок прежнего мира, еще до революции Поспелов окончил московский университет, потом учился за границей и был разносторонне образованным и большой культуры человеком. Много лет он работал в Центральном Статистическом Управлении; когда почти весь состав ЦСУ арестовали за «вредительство» при переписи 1936 года, обнаружившей убыль населения и отсутствие в его сознании сдвига в сторону социализма, арестовали и Поспелова. Но он был незначительным работником в ЦСУ, через полгода его освободили. По знакомству с Кольшевским он устроился статистиком к нам. Работал Поспелов добросовестно, но без малейшего интереса и с таким видом, как будто тонко и печально смеется и над своей работой и вообще над всей нашей жизнью. Себя он называл «конченным»: этому умному и многознающему человеку места в советской жизни не находилось, а сам Поспелов раз и навсегда решил, что пытаться что-либо изменить в нашем строе бесполезно.

Жил Поспелов на Новинском бульваре, в комнатухе-чуланчике большого старого дома. По плану новой Москвы

этот дом подлежал сносу; Пospelов говорил, что ему некуда будет деваться, когда дом начнут сносить. Жильцам сносимых домов давали по две тысячи и предлагали уходить на все четыре стороны, — а для того, чтобы найти в Москве комнатку, нужно было не менее десяти тысяч. Выселяемые устраивались у родственников или знакомых, уезжали в провинцию; некоторые, сложившись с другими, возводили халупы на отведенных за городом для частных построек местах. В новых домах им не давали комнат: новые дома заселялись партийцами, «знатными людьми», орденносцами, часто из провинции — власть наводняла Москву людьми, которых она считала более близкими. Большие новые дома на улице Горького были почти сплошь заселены военными, в том числе участниками боев у Хасана и Халхин-Гола.

Летним днем 1940 года Пospelов не пришел на работу. К полудню мы узнали, что накануне, вечером, он повесился в своей комнатке. Придя с работы, Пospelов нашел у себя повестку с предложением выселиться из дома. Чтобы не подвергаться новым мтарствам, Пospelов предпочел покончить с собой.

Другим близким моим сослуживцем был инспектор Виноградов. Тоже пожилой, образованный, культурный человек, этот — порывистый, увлекающийся. По порячности своей он еще считал, что не всё безнадежно и что продуктивно всё-таки можно работать. Нередко он увлекался каким-нибудь делом, шумел, волновался, хлопотал, отдаваясь делу целиком, но чаще обнаруживал, что хлопоты его напрасны или что они дают такой ничтожный результат, либо так искажаются, что Виноградов приходил в отчаяние. Ему не хватало спокойствия, терпения и упорства Кольщева или увертливости Непоседова, с помощью чего только и можно иногда преодолевать или обходить созданные приказами железные барьеры нашей жизни. В сотый раз убедившись в бесполезности своих усилий, Виноградов остывал — до следующего увлечения.

Наблюдая за ним, я думал: так работает и вся страна. То один, то другой вдруг вспыхнет, загорится, работает с увлечением — пока не наткнется на неодолимый барьер приказа и не погаснет. Вспыхивает другой — и тоже остывает. Остывшие превращаются в чиновников, уныло регистрирующих «прорывы» и кое-как штопающих неизживаемые «не-

поладки». Ни налаженной постоянной работы, ни условий для творчества: всякий творческий порыв неминуемо утыкается в приказ, в желание власти сковать его, и неизбежно остывает. Получается цепь всплшек и угасаний — по ним проходит ухабистая дорога, а на ней кое-как ковыляет воз коммунизма.

Увяз в неполадках и Непоседов, бодрость которого, казалось, была неистощима. Он часто бывал у нас и стал неузнаваемым: совсем высох, почернел; насмешливый и уверенный огонь в его глазах сменился недобрый, злым огоньком. Дела у него с заводом шли хуже и хуже: план лесозаготовок опять не был выполнен и наполовину, денег не было, рабочих тоже. Автомашинны давно были поломаны, работать не на чем. Я чувствовал, что Непоседов меняется внутренне: если раньше он не был коммунистом, то теперь он становился антикоммунистом.

Непоседов разуверился в технике, она перестала быть для него богом. Он словно понял, что дело не только в технике. И тут он не был исключением: я не раз встречал разуверившихся во всемогуществе техники людей. В конце 20-х и в начале 30-х годов среди молодежи было чуть не поголовное увлечение техникой, с большой долей преклонения перед ней. К концу 30-х годов многие из увлекавшихся сменили любовь к машине почти на презрение. Может быть, люди насытились своим увлечением и поняли, что они сами могут властвовать над техникой, а не она над ними; возможно, что их не удовлетворяла, или даже унижала, любовь «к неодушевленной материи», только я не раз встречал, например, шоферов, прекрасно знавших свое дело — и вполне пренебрежительно относившихся к своим машинам. А лет десять назад они были влюблены в них не меньше, чем Непоседов в свою «эмочку».

Несчастье с Непоседовым заключалось еще в том, что его нельзя было уговорить вести себя ровнее, спокойнее. Кольшев и я искренне беспокоились за него, боясь, что он попадет в большую беду, но наши попытки воздействовать на Непоседова не дали успеха. Зная себя, Непоседов еще верил в свои силы, ему казалось, что он может еще перебороть сложившиеся условия, а стать чиновником он был бы не способен. Он лез на рожон и рисковал тем, что его могли исключить из партии, а потому снять с работы и посадить. Он

не знал за собой вины, но разве его попытки преодолеть установленные рамки не были преступлением?

Бунт Непоседова ничего не менял: его снимут, посадят, — на его место найдется другой Непоседов. В многомиллионном народе всяческих сил, знаний и талантов с избытком. И подчас было невыносимо сознавать, что этот огромный, неистощимый кладезь способностей, знаний, талантов постоянно сдерживается, прихлопывается уродливой крышечкой приказов власти, всю энергию направляющей только по одной, никому не нужной и постылой дороге в коммунизм.

Барахольные инженеры

Концлагерь убедил меня в том, что знаменитая «перековка трудом и воспитанием» способна только развращать людей. Повинуясь инстинкту, приказывающему выжить, сохранить себя, голодные, ловчась и изворачиваясь, мы учились ненавидеть работу и кнут, но никак не любить их. Кнут мы научились обманывать, притворно покоряясь ему и даже хваля его, работу же полюбить не могли: насильно мил не будешь.

В большом масштабе в какой-то степени это творится и во всей стране. У людей огромная жажда деятельности — направляемая на одну, внутренне отвергаемую людьми цель, она сковывается, гасится, уродуется. Это ведет к тому, что люди начинают смотреть на труд, лишь как на тяжкую повинность, а дальше — и к тому, что чуть не всё население стремится работать меньше, а получать больше. Социалистическая формула «от каждого по способностям, каждому по труду» обернулась безобразным ликом: «работай меньше, старайся урвать больше!»

Вторая часть формулы прозила вытеснить всякое чувство порядочности. Как всегда, наиболее разительно она была заметна наверху, в частности, в слове советской «элиты» — среди писателей, названных Сталиным «инженерами человеческих душ», артистов, киноработников и других работников искусств, вынужденных помогать Политбюро в перевоспитании русского человека в социалистического. В 1939-40 годах «инженеры душ» показали свое «советское нутро».

Захват Западных Украины и Белоруссии население восприняло равнодушно. Ни патриотического подъема, ни одоб-

рения; многие понимали, что этим Сталин лишь выдвигает свои форпосты дальше на запад. Лозунг власти о необходимости «протянуть руку помощи братьям украинцам и белорусам», изнывающим под капиталистическим гнетом, был встречен иронически и вызвал в народе трагикомический отклик: «руку мы им протянем, а ноги они протянут сами». Захват, немного позднее, Прибалтики, встречен был несколько иначе: широкой массой тоже равнодушно, но в военной среде и отчасти среди интеллигенции он вызвал и положительный отклик. Сказалось, очевидно, и патриотическое, и государственное чувство: Прибалтика, дважды принадлежавшая России, за обладание которой Россия отдала столько крови, нужна стране, как выход к морю и как естественный рубеж. Владея только Ленинградом и Кронштадтом на замерзающем зимой Финском заливе, мы не могли играть на Балтике роли, которая диктовалась и географическим положением и могуществом России, почему создавалось ненормальное положение. Поэтому возврат Прибалтики многими был воспринят положительно, как естественный возврат к старому и исправление ненормального положения, что рано или поздно, тем или другим путем, но должно было произойти. То, что прибалтийские народы будут подчинены нашему режиму, играло в этом отклике десятую роль: мы, 175 миллионов, вынуждены жить при таком режиме — чем 4-5 миллионов прибалтийцев лучше нас?

Вступление в эти страны вызвало большое смятение в Красной армии. В особенности молодежь была смущена тем, что, например в Польше, о которой пропаганда Политбюро трубила, как о стране полного бесправия и неслыханной нищеты, оказалось трудно встретить голодных и нищих пролетариев. Прилично одетые рабочие казались красноармейцам «капиталистами». Красноармейцев всё поражало: крестьян они принимали за богачей, горожан за «буржуев». Магазины оказались заваленными товарами. Где же бедность и нищета капиталистического мира?

Рассуждения пришли позднее, а сначала Красная армия бросилась покупать. У изголодавшихся по товарам людей при виде западного изобилия и дешевизны разбегались глаза, люди расхватывали всё, нужное и не нужное, лишь бы покупать. Каждый, кто имел хотя бы немного денег, набирал ворох белья, обуви, других вещей.

Население, боявшееся немцев, встретило Красную армию сначала доброжелательно. Купцы, торговцы радушно встречали красноармейцев и только удивлялись, зачем они берут сразу так много? У них много товаров, а иссякнут запасы, они получают с фабрик еще: товарищи красноармейцы могут не спешить, товары будут всегда! Эти наивные люди, еще помнившие Россию и русские порядки и совершенно не знавшие порядка советского, долго не могли понять, что к ним пришла не русская, а советская армия.

Что красноармейцы проявили такую жадность к вещам, легко понять: они долгие годы были лишены их. Но вместе с Красной армией и следом за ней в Польшу ринулись советские журналисты, писатели, киноработники, с целью якобы просвещения «освобожденных братьев». Они жили не плохо и дома, денег у них было достаточно — приехав в сказочную страну изобилия они, однако, оставили красноармейцев далеко позади.

Заслуженный кинооператор Довженко, под видом киноимущества, вывез из Польши несколько вагонов: в одном была киноаппаратура, а в других мебель и разные товары, по дешевке купленные им для себя. Писатель Авдеенко купил два автомобиля: в легковом он ехал сам, а за ним следовал грузовик, набитый одеждой, обувью, мануфактурой. Один джазист скупил в Черновицах все аккордеоны: в Черновицах аккордеон стоил 300–400 рублей, а в Москве 5–6 тысяч. Алексей Толстой, один из богатейших людей Советского Союза, не имевший, как говорится, разве лишь птичьего молока, купил в польском имении старинный сервиз за 60 тысяч рублей. Толстой вообще прославился в этой истории тем, что отбирал для себя редкие вещи и платил за них, не торгуясь; в Белостоке торговцы-евреи говорили о нем: «Сразу видно — настоящий граф!»

Артисты, писатели, журналисты скупали мебель, музыкальные инструменты, мануфактуру, кожаные пальто, обувь, часто с целью спекуляции. Знакомый мне артист привез из Белостока 60 пар дамской обуви, но ему не повезло: он вернулся тогда, когда спекуляция западными товарами стала уже преследоваться. Кто-то на него донес, к нему явились из НКВД, попросили показать привезенное и осведомились: зачем ему столько обуви? Артист ответил, что привез туфли для жены, но ему не поверили: туфли были разных

размеров, от № 36 до № 40. Ему оставили две-три пары, а остальные конфисковали.

К этой вакханалии покупок в западных областях москвичи сначала отнеслись снисходительно-насмешливо: «Наши распоясались!» Но по мере того, как вакханалия разрасталась, возникло возмущение. Возмущались тем, что «элита» позорит нас перед Западом, тем, что наши «инженеры душ» оказались способными на такую отвратительную жадность. В этом возмущении была явная горечь: до чего мы дошли?

Возмущение москвичей докатилось до Кремля. Поведение «инженеров душ» было слишком позорным, оно окончательно подрывало престиж строя, его надо было прекращать. В Кремль вызвали председателей Комитетов по делам искусств, по делам кинематографии, ответственных лиц из Союза советских писателей, видных киноработников и других «инженеров» на совещание «по вопросам советского творчества», под руководством самого Сталина. Тема советского творчества была попутной, основным содержанием совещания был жестокий нагоняй, учиненный Сталиным «инженерам душ» за их поведение в захваченных западных областях.

Это совещание решило судьбу Авдеенко. Незадолго перед тем поклявшийся на Съезде советов в собачьей преданности Сталину, Авдеенко поскользнулся на сценарии фильма «Закон жизни» — фильм был забракован из-за якобы антимарксистской тенденции; жадность и спекуляция западными товарами доканали Авдеенко. Его сослали на Урал и исключили из Союза советских писателей. Больше, впрочем, никто не пострадал: «инженеры душ» не совершили ничего антикоммунистического и Сталину были нужны.

Алексей Толстой и драматург Вишневский, жившие в Ленинграде, узнав о совещании, тоже поспешили в Москву. Они опоздали: совещание уже окончилось. Толстой позвонил в Кремль и попросил доложить Сталину, что они хотели бы его увидеть, чтобы получить у него «творческие указания». Сталин отказался принять их. По Москве ходил рассказ о том, что будто бы Сталин приказал ответить Толстому: «Скажите, что я со спекулянтами не разговариваю». Это вполне могло быть: Сталин знал цену своей элите.

После совещания закупочная вакханалия немного улеглась, но она оставила в Москве тяжелое впечатление. Даже те, кто склонны были сомневаться в моральной гнилости нашего строя и считали, что «как-нибудь образуется», должны были задуматься. Мы жили в обстановке внутреннего распада, разложения, которое внешне можно было сдерживать только силой, кнутом.

В тупике

Война с Финляндией доказала отсутствие внутренней спайки в стране воочию. Доказала она и то, что для государственной жизни и даже для возможности победы коммунизма одного кнута мало.

Эта война ни в ком не вызвала подъема или воодушевления. Скорее можно было наблюдать некое смущение: «Связался чёрт с младенцем!» Но младенец неожиданно оказал сильное сопротивление — его хватило на то, чтобы огромная машина СССР немедленно начала давать перебои.

Мы воевали с крошечной страной, а почти повсюду у нас железные дороги были переведены на военное расписание: железнодорожный транспорт не справлялся с перевозкой грузов для смехотворного фронта. Под Москвой остановились фабрики: железные дороги не могли снабдить их углем. В провинции исчезли последние товары, на хлеб ввели суррогат карточек, отпуская его по спискам в ограниченном количестве. И всё это из-за ничтожной войны с трехмиллионным народом!

В центральных и северных областях по домам роздали шерсть, чтобы женщины вязали для армии рукавички, носки, шарфы: на военных складах не было ни рукавичек, ни носков и промышленность не могла изготовить их в короткий срок. Ходили по домам и собирали лыжи: лыж в армии тоже не было. Население недоумевало, возмущалось: десять лет нам твердили, что надо нести тяготы, чтобы вооружить армию; нас уверяли, что армия обеспечена всем необходимым, — а теперь бабки должны срочно вязать рукавички! Значит, обманывали и тут?

Приезжавшие с фронта офицеры рассказывали, что красноармейцы со злости разбивали винтовки о деревья: в винтовках замерзло масло и против финских автоматов они

вообще были негодны. Автоматов у нас не было. Утверждения власти, что наша армия оснащена новейшим оружием, оказывались пустым бахвальством.

Отвратительно было поставлено санитарное дело: тысячи красноармейцев замерзали, еще большие тысячи были обморожены, а помощь им неизменно запаздывала. От морозов погибло больше людей, чем от финских пуль и снарядов; легкие ранения оказывались смертельными: раненые не могли добраться до санитарных пунктов и замерзали. Уже после войны в Москву пришли страшные транспорты: тысячи обрубков людей, без рук и без ног, отмороженных на фронте и ампутированных. Их предложили взять родственникам — на запасных путях Октябрьского вокзала, где останавливались транспорты, происходили душераздирающие сцены. До этого о состоянии раненых родственникам не сообщали, а теперь вместо людей предлагали принимать обрубки. Были случаи, когда жены отказывались принимать то, что осталось от их мужей; на месте выгрузки, оцепленном войсками НКВД, жены, матери открыто ругали Сталина, Политбюро, большевизм — настроение было таково, что жен и матерей даже не решились арестовать.

Война затянулась: 175 миллионов не могли одолеть 3 миллиона. Но против 3 миллионов, в сущности, воевал только Сталин с его приближенными: у остальных не было ни малейшего желания воевать. Впрочем, были и добровольцы: вскоре после начала войны приступили к организации комсомольских отрядов, в которых единицами можно было насчитать действительных добровольцев. Не малую роль в добровольчестве играло то, что добровольцам по месту работы сохраняли полную зарплату за всё время пребывания в армии.

Затяжка войны у многих вызвала недоумение, в котором была и необычная нотка: как могут финны сопротивляться, если на них навалилась такая гора? Не лучше ли им сразу капитулировать, этим избавив от тяжести войны и себя и нас? Безусловно, в конце концов мы их раздавим — какой смысл сопротивляться? В этом сказывалось чувство безнадежности открытого сопротивления коммунизму, для борьбы с которым люди прибегали к скрытым методам. И дальнейшая затяжка начала вызывать уже недовольство финнами и желание быстрее покончить с их сопротивлением.

Сталин не жалел людей: финская война стоила нам около полумиллиона человеческих жертв. Представители Финляндии уже подписали условия перемирия в Москве, утром оно было опубликовано — за несколько часов до этого, на рассвете, по приказу Сталина наши войска штурмовали Выборг. Этот штурм обошелся в сорок тысяч человек и нужен был только для того, чтобы Сталин запоздало продемонстрировал сомнительное могущество Красной армии.

Финская война вызвала переоценку ценностей; армию начали спешно переучивать. А у нас появилась надежда: война доказала, что стойкое, организованное сопротивление коммунизму может быть победоносным. То, что мы не раздавили Финляндию, уже было её победой и нашим поражением. А если вместо Финляндии будет более сильный противник, не приведет ли это к тому, что коммунизм у нас рухнет и мы освободимся?

Беседуя с Лапшинным я говорил, что его теория сокрушительного удара по слабейшему не оправдалась: Финляндия была слабым противником, а мы её не сокрушили. Лапшин охотно признавал свою ошибку: теперь он тоже надеялся на крах коммунизма в войне.

— Да, дело только в том, чтобы наш будущий противник выдержал первый удар, — говорил он. — Длительного напряжения мы не выдержим и сами рассыпемся: чем Сталин скрепит людей? Вот тогда армия и сможет оказаться командиром положения...

Мы не учитывали тогда двух обстоятельств. Одно — это возможность союза с Западом против Гитлера. В 1940 году мы дружили с Гитлером и называли его войну с «плутократами» справедливой, а «плутократам» желали всяческого поражения. Предполагать в то время новый поворот на 180 градусов было невозможно, все расчеты могли исходить только из того, что мы будем ждать, пока и наш друг Гитлер и «плутократы» вымотают свои силы во взаимной борьбе — только тогда придет наш час. И о возможности союза с Западом, который помог бы Сталину материально и морально, тогда не думали.

Второе обстоятельство заключалось в явлении, которое обнаружилось в финскую войну и внушило смутное беспокойство. В финских лесах находили обезображенные трупы красноармейцев: у убитых или замученных были отре-

заны уши, носы, выколоты глаза. Сначала это вызвало глубокое недоумение: финны считались культурными людьми — и вдруг такое варварство! Финны устраивали много ловушек; разбрасывали разные вещи — ручки, фотоаппараты, велосипеды, соединенные с минами — много красноармейцев погибло или было ранено при попытке подобрать эти вещи. Это тоже вызывало возмущение: война была явно «не рыцарской», люди гибли не в честном бою, а из-за каких-то унижающих людей нечистых уловок. То и другое было причиной, почему во вторую половину войны в армии уже было озлобление против финнов и красноармейцы начали драться с ожесточением.

Вот этот новый, еще неизвестный и античеловеческий характер войны вызывал негодование. В нем сказывалось и такое чувство: разве финны не знают, что мы не по своему желанию воюем с ними? Да, они вынуждены защищаться, что можно понять, но зачем они мучат нашего брата, издеваются над ним? Мы не хотим их смерти — почему они хотят нашей смерти, раскладывая мины даже там, где они уже проиграли, откуда всё равно ушли? Солдат, носивший на пилотке красную звездочку, оставался русским человеком — он не чувствовал себя врагом другим народам и никак не ожидал, чтобы эти другие могли считать его своим кровным врагом. И он не мог понять ни поведения финнов, ни нового характера войны, ведущейся на бессмысленное истребление.

Мы привыкли считать западные народы культурными и гуманными и случаи зверства в финской войне расценивали, как необычные, вызванные, вероятно, слишком сильным озлоблением. Мы не учитывали тогда, что тонкая оболочка культуры на теле народа еще не делает людей действительно гуманными и что западные народы могут быть способны на утонченное и дикое варварство. Это было вторым обстоятельством, не позволявшим нам предполагать, что безумный расизм Гитлера, его дикая ненависть к России и к славянам создадут недостающее звено для спайки народа в одном чувстве — в русском патриотизме. Мы никак в то время не могли предполагать, что Запад, и фашистский и демократический, разными путями, но одновременно, заставит наш народ помочь Сталину удержаться у власти и сохранить его строй.

Но всё это произошло позднее. А пока мы жили, ощущая, что попали в полосу удушливого застоя, выход из которого вообще мог быть только один: война.

После окончания гражданской войны большевики вынуждены были пойти на уступки и ввели НЭП. Получив некоторую свободу для частной инициативы, население устремилось к созданию материального благополучия. В первую пятилетку страна была занята борьбой за и против коллективизации и индустриализации. В середине 30-х годов население опять попало в короткий период сравнительного благополучия — тогда, когда Сталин принужден был провозгласить, что «жить стало лучше, жить стало веселее» и когда он пообещал вторую пятилетку проводить более медленными темпами. В это время на верхах шла жестокая ликвидация Сталиным всякой, и «правой» и «левой», оппозиции. Закончив «ликвидацию», Сталин оказался уже окончательно единоличным диктатором — и с этого времени жизнь для населения окончательно утратила какую-либо целеустремленность, если не считать одной: жить сегодняшним днем, стараясь лишь сохранить себя. Наступили «будни строительства социализма», никак не удовлетворявшие население. Однако, зажатое к этому времени в тиски, никакой активной борьбы с этими буднями оно вести не могло. Оно могло лишь ловчиться, приспособляться, изворачиваться, т. е. вести скрытую, пассивную борьбу, не выдвигавшую какую-либо динамическую цель. Невозможно было даже стремление к материальному благополучию: инициатива всячески пресекалась и в стране был сильный товарный голод, из-за трат на вооружение и поставку товаров гитлеровской Германии. Вместе с тем и власть не могла выдвинуть никакой большой цели, кроме того же окончательно поблекшего в сознании людей «строительства социализма». Между тем, страна, с начала революции, двадцать с лишним лет жила лихорадочно, бурно, — внезапная приостановка полной динамизма жизни создала впечатление застоя.

К концу 30-х годов произошла приостановка вообще в разбеге коммунистического развития, не только внутри страны, но и вне её. К этому времени позиции «народного фронта» на Западе были поколеблены, СССР исключен из Лиги Наций, в которой Литвинов выступал не без эффекта. По-

лучилась как бы изоляция нашей страны от мира, что тоже чувствовалось.

Приостановка, возможно, объяснялась и слишком большим кровопусканием, произведенным Сталиным во время ежовщины в аппарате власти и в армии: власти необходимо было приостановиться, чтобы набрать сил для нового разбега. Надо было и готовиться к войне, учитывая события на Западе. Так или иначе, но в эти два-три года перед войной напряжение всё усиливалось, атмосфера накалялась — и вместе с тем мы словно толклись на месте, попав в полосу застоя и бесперспективности. Народ не мог поставить перед собой определенную, конкретную цель, — «за или против», как это было, например, в годы гражданской войны или в первую пятилетку, когда власть «закладывала фундамент социализма». Но и власть не могла выдвинуть ничего мобилизующего. И мы могли пока «гнить на корню»; власть тоже гнила на корню и ничего, кроме мало действующих призывов к «советскому патриотизму», не могла дать даже своему советскому и партийному аппарату.

Мы видели в этом положении две перспективы. Первая заключалась в победоносной войне. Если Сталин, в результате войны на Западе, сумеет захватить Европу или часть её, коммунизм получит новую пищу, на переваривание которой уйдет не мало лет. Косвенно это будет пища и для нас. Этим коммунизм будет спасен на какой-то длительный срок: он получит возможность дальнейшего развития.

Вторая перспектива была желательна для нас: не победоносная война, а разгром коммунизма в войне. Как это могло произойти практически, мы не представляли; для нас было лишь несомненно, что большого военного напряжения, при гнилости советского режима, коммунизм не выдержит, а поэтому и победа окажется на нашей стороне. Это была единственно мыслимая в то время и в том положении наша победа.

Оба варианта сходились в одном — в войне. Власть к ней усиленно готовилась во имя коммунизма; помогая власти, мы могли войну только пассивно ждать, надеясь на нее, как на средство освобождения и от Сталина и от коммунизма.

Опять хищники

Живя ожиданием, мы продолжали присматривать за работой наших предприятий. И перед самой войной мне пришлось принять непосредственное участие в ликвидации одного из случаев разложения «советского общества».

У одной из наших Всесоюзных контор был в Рыбинске лесозаготовительный участок. В последние два года замечалось, что на нем не всё благополучно: участок расходовал слишком много средств и давал мало леса. Управляющий конторой почему-то защищал этот участок, а сведения о неблагополучии продолжали поступать. В начале 1941 года управляющий, член партии с 1919 года, крупный политработник, был вызван из запаса и направлен в Западную Украину комиссаром большой армейской группы. Его заместитель, тоже старый член партии, бывший путиловский рабочий, решил проверить участок; не доверяя своим работникам, он попросил назначить контролера из Главка. Начальник Главка послал меня, как знакомого с лесным делом.

Весной 1941 года я поехал в Рыбинск. Этот когда-то богатый торгово-промышленный город выглядел запущенным. Дома не ремонтировались, очевидно, еще с дореволюционных или нэповских времен, бульжная мостовая выщерблена, набережная обвалилась, ограда бульвара растащена. Театр, споривший во время революции, так и не был восстановлен, а запроектированный перед революцией трамвай не был построен. В городе было два кино; за городом — большой и хороший «Дом культуры», на новом авиомоторном заводе. Порожане редко посещали этот «Дом культуры», так как сообщение с заводом поддерживалось только одним автобусом.

При мне на авиомоторный завод приезжала группа немецких военных и инженеров, для осмотра завода и переговоров о поставке моторов Германии. Накануне рабочим объявили, что они должны явиться на работу прилично одетыми; кто не захотел или не мог подчиниться этому распоряжению, на другой день не был допущен к работе. Часов в девять к вокзалу подошел поезд из нескольких мягких вагонов, на собранных чуть не со всей области «зисах» гостей повезли на завод. Они обошли цеха, совещались с директором и с представителями из Москвы. Один из немцев на плакате, висевшем в цеху, заметил грамматическую ошибку и,

к конфузу сопровождавших русских, обратил на нее их внимание. Рабочие ворчали и смеялись, что заставляют для немцев наряжаться.

В Рыбинске Волгострой НКВД строил мост через Волгу; километра в десяти выше, около деревушки Переборы, плотину. Вторая плотина, с гидростанцией, строилась в устье Шексны — за обеими начиналось огромное, почти до Череповца и Весьегонска, водохранилище — «Рыбинское море», образовавшееся на территории между притоками Волги Шексной и Мологой. Рыбинское море затопило много сел и деревень — лес от разборки домов этих селений и вырубленный на затопленных местах и заготовлял наш участок.

Заведующим участком был некто Кравец, одессит, еврей лет пятидесяти. До революции у него было собственное лесное дело; окончив институт и став инженером-строителем, Кравец продолжал работать с лесом, а не по строительству. Он производил отталкивающее впечатление: выпуклые, наглые глаза, упрямый подбородок и рот придавали ему грубый, вызывающий вид. Вероятно, предупрежденный о моем приезде, Кравец встретил меня с преувеличенной приветливостью; достав бутылку коньяку, икру, он всячески старался расположить к себе.

На другой день я познакомился с его бухгалтером, Самуилом Марковичем, тщедушным, незаметным человеком. Этот встретил растерянно: он явно боялся проверки. До 1953 года Самуил Маркович жил в Ленинграде, почему уехал оттуда, он не говорил, но я догадывался, что, очевидно, он был выслан из Ленинграда после убийства Кирова, в числе тысяч других высланных ленинградцев. При ближайшем знакомстве оказалось, что Самуил Маркович отличный человек, с мягкой и даже нежной душой, но он до того был подавлен страхом, что всего боялся. Кравец его терроризировал: он нагло пользовался доверчивостью и мягкостью Самуила Марковича и сумел запугать и запутать его так, что Самуил Маркович едва не дрожал при виде Кравца и беспрекословно выполнял каждый его приказ. А так как за этими приказами скрывались преступления, работа у Кравца превратилась для Самуила Марковича в муку: он смертельно боялся, что ему тоже придется отвечать за плутни его деспота.

Плутни эти я раскрыл не скоро. При первом же просмотре документов было видно, что дело не благополучно: странные выплаты за работы, как будто бы не производившиеся или произведенные неизвестно зачем, ужасающая путаница, созданная словно умышленно — концы найти было трудно. Неблагополучие могло объясняться и плохим учетом — недели две я старался распутать хаос из цифр и привести их в какую-то систему, но ничего не выходило. Самуил Маркович не мог дать объяснений: он ссылался на Кравеца, который его в свои дела не посвящал, а Кравец валил всё на Самуила Марковича, называя его путаником и безмозглым дураком.

Скоро подозрительных сумм набралось около миллиона рублей, а я не проверил еще и трети документов. Было очевидно, что я столкнулся с чем-то, необычным по масштабу даже в наших условиях. Некоторые нити уходили в Москву — я несколько раз ездил туда и постепенно, месяца через два, картина начала проясняться.

Управляющий конторой в течение десяти лет был довольно большим дипломатическим работником. В начале 30-х годов его заподозрили в каком-то уклоне и отозвали из заграницы. С помощью друзей в ЦК и НКВД ему удалось избежать ареста, но из Наркоминдела ему пришлось уйти. Он перешел на хозяйственную работу. После заграницы жизнь в Москве ему не понравилась: твердая ставка, квартира из трех комнат управляющего не устраивали. Надо было что-то придумать, чтобы можно было вести более широкий образ жизни. С Кравецом управляющий был знаком еще по Одессе — вдвоем они решили открыть лесозаготовительный участок, который, в сущности, стал их частным предприятием.

Года за три работы Кравец, под видом оплаты непроездившихся работ, выкачал с участка более трех миллионов рублей. Сколько-то из этой суммы ушло десятникам, с которыми Кравец составлял акты на непроезденные работы и которые расписывались в ведомостях в получении денег несуществующими рабочими, львиная же доля попала управляющему и Кравцу. Оба они отделали себе в Москве хорошие квартиры; под Москвой выстроили дачи, вчерне сделанные тоже на участке. Рабочие, отделявшие квартиры

и строившие дачи, также были наняты в Рыбинске и оплачены за счет участка.

По мере того, как все это раскрывалось, мной овладевали негодование и злость. Это были не простые советские комбинаторы или обыкновенные воры, а типичные современные господа положения, наши хозяева, у которых за душой не оставалось ничего святого и для которых правило «урвать побольше» стало единственным законом. Управляющий получал две тысячи в месяц, в его распоряжении был автомобиль, он пользовался многими привилегиями и жил в сотни раз лучше любого рабочего или служащего, многие из которых были выше его даже по деловым качествам. Но своего положения управляющему было мало, он, как и другие представители его круга, еще и воровал, — и вместе с тем он, политработник и хозяйственник, считался нашим «руководителем» и даже — «воспитателем»! Какое он, хищник, имел на это право? Только право принадлежности к партии, право силы и хитрости?

Кравец тоже получал около двух тысяч рублей в месяц и тоже мог жить в десятки раз лучше миллионов людей. Но Кравец и не был человеком: это было животное, открыто издевавшееся, как над Самуилом Марковичем, над всеми, кто был слабее его. Кравец даже не маскировался в тогу «борца за счастье человечества» — и этим резче разоблачал сущность нашего строя, главным содержанием которого были грубая сила и наглое хищничество.

Распалившись против двух подлецов, я готовил такой акт проверки, чтобы они никак не могли увернуться от ответственности. Но на Кравца проверка пока не подействовала: он пытался и при мне продолжать свои проделки. Осыпая прячущегося за меня Самуила Марковича отборной бранью, он опять требовал денег на выплату по подозрительным документам. Я добился приказа из Москвы о том, что на время проверки расходование средств участок может производить только по согласованию со мной. Это взбесило Кравца, но самоуверенности его не уменьшило.

Через несколько дней ко мне пришел старший десятник Медведев, правая рука Кравца. Статный богатырь, с красивым лицом северянина, он производил хорошее впечатление. Он принес распоряжение Кравца о выплате бригаде рабочих тридцати тысяч рублей за сплотку и сплав леса.

На это были составлены акты, рабочие сведения, ведомости, сделанные по всем правилам и вполне основательно. Но по таким же основательным документам Кравец похитил три миллиона рублей, — веры этим документам у меня не было.

Я отказал в выдаче денег и сказал, чтобы рабочие сами пришли за ними. Медведев заявил, что рабочие заняты и не могут придти. В таком случае я поеду и уплачу им деньги там, где они работают, ответил я. Медведев не нашелся, что сказать, и ушел.

Через полчаса прибежал Кравец с криком о том, что я срываю ему работу. Он снимает с себя ответственность и не будет снабжать нас лесом, так как я создаю ему невозможные условия для работы. Я заявил, что ничего ему не срываю и готов сейчас же выплатить деньги рабочим; мне нужно только знать, где они находятся? Я поеду и выдам им деньги. Кравца это не устраивало, он требовал выдать деньги Медведеву, говоря, что не может работать, если ему не доверяют.

Два дня между нами шла перебранка. За это время я послал счетовода в деревню, где якобы жили рабочие, — оказалось, что таких людей в этой деревне вообще нет. Чтобы окончательно поймать наглецов, в воскресенье я взял лошадь, заехал к Медведеву домой и предложил поехать со мной и показать, где находится их лес. Медведев растерялся, долго отнекивался, потом что-то сообразил и согласился.

Мы долго искали плот по берегу Волги, как будто он был щепкой и мог запропасться. Я был уверен, что плота не существует вообще. Но после долгих поисков Медведев указал мне на плот, стоявший на причале у берега.

На плоту сидели двое рабочих, я крикнул им, спрашивая, чей это плот. Плот принадлежал Волгострою.

— Что же вы мне голову морочите? — спросил я Медведева. — Или думаете, что только вы с Кравцом умники, а остальные без головы? — Медведев смутился и опустил голову. Мы прекратили поиски: плота не существовало в природе.

Вечером Медведев пришел ко мне на дом, с покаянной. Он рассказал об этой и многих других проделках и просил «не погубить». У него жена и трое детей. Он недавно вернулся из концлагеря: отсидел пять лет «за агитацию». Оказалось, что одно время мы были с ним вместе в одном конц-

лагере. Медведев говорил, что его «грех попутал» и что он никогда не занялся бы воровством, если бы не Кравец, втянувший его в плутни.

За участие в преступлении Кравеца Медведеву снова прозил концлагерь. Этого я не мог ему желать. Если Кравец был безусловным хищником, то о Медведеве этого никак нельзя было сказать. Условия нашей жизни, пример, даваемый с самых вершин власти, житейская нестойкость Медведева и настойчивость Кравеца были причиной его поступка. Без Кравеца он не сделал бы этого. Но я не мог помочь ему: я уже дал сведения о проверке в Москву. У него голова на плечах, пусть сумеет увернуться от концлагеря, а связанная с этим трудность пусть будет ему наказанием за участие в плутнях. Он может уехать куда-нибудь в Сибирь, на Дальний Восток: за хозяйственные преступления ищут не так рьяно.

В середине июня я закончил проверку и вернулся в Москву. 21 июня, в субботу, доложил новому управляющему конторой, бывшему прежде заместителем, о проверке и об участке.

Управляющий покачал головой:

— Даже в ум не возьмешь, как это они могли так? — сказал он. Я не удивлялся его непонятливости: простой и симпатичный человек, он тоже не подходил к нашему времени. Этим и объяснялось, почему он, член партии с двадцатипятилетним стажем, долгие годы был на скромном месте заместителя.

— Мерзавцев, конечно, возьмем за шиворот. Надо передать дело прокурору, пусть разберет, кто и как виноват. А участок ликвидируем: хватит липы вместо леса заготовлять.

Это меня уже не касалось: я свое дело выполнил и был рад, что освободился от Рыбинска.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

БЕГСТВО ИЗ МОСКВЫ

Свершилось . . .

На другой день, в воскресенье, я встал поздно и только часам к двум вышел из дома, собираясь поехать к Колышеву. Первое, что услышал на улице — война!

Как всегда то, чего мучительно ждешь, приходит неожиданно. Казалось, война неизбежна; будучи в Рыбинске, я ловил каждый слух, говоривший о войне, а теперь весть о ней подействовала ошеломляюще. Что будет, что ждет нас? На улицах у громкоговорителей, повторявших сообщение Молотова, толпились кучки людей, озабоченные группки растекались по тротуарам: на лицах были написаны тревога, подавленность, озабоченность. Буря грянула,душный вихрь коснулся нас, обещая закрутить, смять, испепелить — что несет нам завтра? . .

Подумав, что поезда сейчас переполнены, я поехал к Лапшину, но его не застал. Нельзя было оставаться одному — поехал к Гинзбургам и нашел их в смятении. Мать плакала, Яков Абрамович, нахмуренный, ходил по «склепу». На минуту забежал сын-политрук и тотчас же ушел: московский гарнизон уже был на военном положении. Замужняя дочь пришла в слезах: её муж подлежал мобилизации в первую очередь. Яков Абрамович объявил, что надо уезжать в Новосибирск.

— Вы с ума сошли! — рассердился я. — Война только началась, а вы уже панику разводите!

— Хорошенькая паника! — саркастически смеясь, возразил Гинзбург. — Поверьте мне, что через две недели Гитлер будет в Москве! Я вам голову наотрез даю! Что, вы ду-

маете, мой сын, мой зять будут защищать этих мерзавцев? — подразумеваемая власть, порячился Гинзбург. — Вы её тоже не будете защищать, её никто не будет защищать!

— И хорошо, что никто не будет защищать, но при чем тут Новосибирск?

— А, вы не понимаете! Вы не знаете, что Гитлер анти-семит? Вы и того не знаете, что у нас найдутся молодчики, которые только и ждут, что бы сказать: во всем виноваты жидаы!

— Ну, вы преувеличиваете, — возразил я. Гинзбург всплеснул руками:

— Я преувеличиваю?! Поверьте старому еврею: такой ужас будет, что Лубянка еще детской ипрушкой покажется. Нет, кто как хочет, а я еду в Новосибирск, подальше... — В конце июня Гинзбург с женой уехал в Сибирь.

В понедельник в Главке — тоже смятение. Многие мужчины получили повестки о мобилизации и теперь получали расчет и прощались с нами. Растерянность и подавленность были общими. Даже злорадства по поводу растерянности власти не было заметно: было не до того. Что ждет нас? Многие надеялись на войну, как на средство освобождения, а когда война пришла, она принесла не радость, а тревогу: что будет?

Только на пятый или на шестой день войны мне удалось застать Лапшина. Незадолго перед войной произведенный в полковники, Лапшин с начала войны круглые сутки проводил в Генеральном штабе, часто и спал там. Он осунулся, похудел, глаза его были воспалены от ночей без сна. И он был подавлен и встревожен:

— Всё летит к чёрту, — торопливо говорил Лапшин: ему опять надо было в штаб. — Армия распадается, немцы уже взяли в плен сотни тысяч. Взяли, нет, мы даже не знаем: просто, целые дивизии, корпуса испарились, как в воздух. Мы потеряли массу танков, самолетов, прямо на земле, на аэродромах; артиллерии нет. У нас считаются с возможностью оставления Москвы: будем отступать за Волгу, на Урал.

— А может, не надо будет отступать? — напомнил я о том, на что мы надеялись. Лапшин крепко потер лоб:

— Понимаешь, получается что-то не то... Что-то другое, а что, еще и не поймешь. Но не так... Вот, между про-

чим, взгляни, — он достал из портфеля папку, порылся в бумагах и протянул мне желтый листок в четвертушку.

Это была немецкая листовка. На ней изображены какие-то страшные отвратительные рожи — совершенно непонятно, кого они должны изображать. А под ними еще более нелепая надпись, дикими стихами, вроде тех, которые получили широкую известность впоследствии:

«Бей жида и политрука,
Рожка просит кирпича»

— Какое-то умопомрачительное идиотство, — сказал я, возвращая листовку. — Может быть, случайность?

— Не знаю, может быть. А если нет? Если это идиотство — немецкая политика в войне? Представь, что они думают, что мы тоже идиоты и что этакая листовка как раз годится для нас? От одного этого можно на стенку полезть. Нет, чем-то другим пахнет, а чем, пока не разберешь. Подождем, посмотрим, чем дальше потянет. — Попрощавшись, он помчался на работу...

Меня опять ждал Рыбинск: я получил распоряжение провести ликвидацию участка, который проверял. Других людей не было: из всего аппарата Главка только пятнадцать-двадцати работникам дали бронь, остальные были мобилизованы. В Главке оставались старики и женщины. А я был белобилетником: после концлагеря меня освободили от военной службы, по состоянию здоровья, со снятием с учета. В конце 1940 года был приказ о том, что все белобилетники должны пройти переосвидетельствование, но меня на него еще не вызывали и я продолжал быть невоеннообязанным.

С трудом достав билет, 30 июня я выехал из Москвы. В нашем отделении переполненного вагона ехали три молодые женщины, в растрепанной и изорванной одежде. У одной на руках ребенок, завернутый в клочок пярзного одеяла; на матери только легкая кофточка и изорванная юбка, открывавшая голые колени. Ко второй женщине прижималась девочка с испуганными глазами, в грязном измятом платьице. Это были первые беженки: жены офицеров пограничников, вырвавшиеся из пекла первых часов войны.

Одной из них повезло: как только раздалась на границе выстрелы, дежурный по заставе собрал всех женщин, посадил на автомашины и отправил в тыл. Километров за

сто от границы они сели в поезд и поехали дальше. Ни одна из женщин своего мужа больше не увидела.

У второй, с трудным ребенком, получилось хуже: они тоже выскочили, в чем были, при первых выстрелах, но машин на заставе не было и женщины пошли пешком, с одним красноармейцем-шофером. В ближайшем литовском селе шофер силой взял автобус и они поехали на автобусе, но не зная дороги, заплутались. Местные жители одной из деревень указали путь — по этому пути они снова приехали к границе и чуть не попались немцам, обстрелявшим их. Одну женщину ранило в плечо, другую поцарапало осколком оконного стекла. Шофер сумел повернуть и вынестся из-под обстрела. На обратном пути шофер заметил людей, которые указали ему дорогу, изругал их — жители разбежались. Но только автобус выехал из села, вслед ему посыпались пули. Позже мне приходилось слышать, что в Прибалтике многих местных жителей перед началом войны немцы вооружили — они часто стреляли красноармейцам в спину. На этот раз убили одну женщину и еще одну ранили.

К вечеру, блуждая по дорогам, встретили офицера, потерявшего свою часть. Он вывел их на шоссе и поехал с ними до ближайшей войсковой части. Рано утром они заметили самолет, от него отделился парашютист и через несколько минут опустился впереди, почти у самой дороги. Прочему-то они решили, что это свой парашютист — офицер и две-три женщины побежали к нему. Тот, освобождаясь от строп, встал на ноги, выстрелом из револьвера уложил офицера, вторым ближайшую женщину — подоспевший шофер застрелил парашютиста. Он оказался женщиной, сброшенной, вероятно, с целью шпионажа.

— И скажите, граждане, — недоумевающая и возмущаясь, говорила беженка, голосом, в котором звучал ужас, — какие они настырные, остервенелые! Видит, что попалась — нет, чтобы сдаться, она пальбу открыла. Офицер — он военный, а зачем бабу убивать? Что они за люди? Это сатана сама, а не женщина! . . .

У третьей, с девочкой, было не лучше. Они жили в селе почти у самой границы и в первый же час немцы, уничтожив пограничников, прокатились через село. Семьи командиров притаились, утром рассказывавшая задрами пробралась к подруге и вместо подруги нашла труп. Перепуганная

хозяйка рассказала, что к ним ворвался какой-то пьяный немец, увидел на комодке фотографию мужа подруги, в командирской форме, на ломаном русском языке заявил, что это коммунист и тут же застрелил его жену. — Всех жидов и коммунистов вырежем! — пообещал он на прощанье. Отчаянье придало сил ехавшей с нами женщине: она бросилась из села и лесами выбралась к своим. На вокзале в Москве они трое встретились и теперь ехали к родителям, одна в Кострому, две под Ярославль.

Молча, с упрямыми лицами слушали пассажиры эти рассказы. Словно каждый думал: что ж это за сила, что идет к нам — или на нас? И как при рассказах о финской войне, как при недавнем разговоре с Лапшиным, охватывало тревожное беспокойство: с кем и с чем сталкивает нас судьба?

Что ждет нас?

Рыбинск преобразился: вокзал и другие белые здания выкрасили, с целью маскировки, в темно-серый, почти чёрный цвет. От этого город насупился и помрачнел. В нем тоже чувствовалось смятение и тоже, как в Москве, не было ни намека на подъем и воодушевление. Подъезжая, на запасных путях я видел на платформах 155-миллиметровые орудия: отправлялся на фронт стоявший в Рыбинске артиллерийский полк. Он не доехал до фронта и не сделал ни одного выстрела: его разбомбили немцы с воздуха по дороге.

Дело Кравеца, ликвидация участка в новой обстановке стали совсем ничтожными. Кравец куда-то исчез, уехал и Медведев. За последнего я был рад: теперь, с войной, ему не придется отвечать.

Ликвидацией всё-таки надо было заниматься. На отправку леса и имущества нашим предприятиям нечего было рассчитывать: вагоны давали только под воинские грузы. Я распродал, по дешевой цене, инвентарь, постройки, другое имущество городским организациям, но оставалось еще тысяч двадцать кубометров леса, разбросанного в плотах по берегам Рыбинского водохранилища. Кто его возьмет, кто теперь будет возиться с ним, если рабочих не стало совсем, так как большинство мужчин мобилизовано в армию?

Покупатели всё же нашлись. Я поехал в Ярославль, на большой военный завод — меня встретили с распростерты-

ми объятиями. В связи с войной им надо было расширять производство, для этого нужно вести строительство, а леса не было ни палки и рассчитывать на получение его от Наркомлеса теперь никак не приходилось. Наш лес сваливался к ним, как манна с неба. Воспользовавшись этим, я назначил цену чуть не вдвое выше нашей себестоимости — это помогло провести ликвидацию почти без убытка для нас.

Распродажа имущества, сдача леса и расчеты за него заняли больше трех месяцев. За это время немцы подкатились к Харькову, к Калининскому, к Ленинграду. Через Рыбинск прошли эшелоны беженцев из Латвии; из Риги эвакуировали оборудование, муку, даже зачем-то водку. Из Ленинграда по мариинской системе проходили баржи с товарами. Неожиданно во всех рыбинских магазинах появилось много картошки, которых не было год: одна из барж стала тонуть, в ней было несколько миллионов пар картошки — их срочно выгрузили и пустили в продажу.

С первых же месяцев с десятков рыбинских школ заняли под лазареты: война давала ужасающее количество раненых. Им не разрешали общаться с жителями, но за всеми не уследишь и около лазаретов часто толпились гражданские. Слухи о происходящем на фронтах расползались по городу, но в них не было ничего ни ясного, ни определенно-го. Сводки Информбюро сообщали о событиях слишком глухо, часто были неправдоподобными и запаздывали. Что происходило на фронтах, об этом можно было только догадываться.

В городе уже у многих семей погибли или пропали без вести близкие. Безрадостные вести дошли до меня: погиб Непоседов. Незадолго до войны он поссорился-таки крупно с райкомом, райком настоял на том, чтобы его сняли с работы и он сдал завод. В суматохе первых дней войны местный Военкомат мобилизовал Непоседова, лейтенанта запаса, хотя ему, как находящемуся на учете в Наркомате, должны были дать бронь. Непоседов тоже не доехал до фронта, их эшелон разбомбили около Витебска и Непоседов погиб при бомбежке.

Пропал без вести Кольшев: он командовал инженерным батальоном и попал в окружение где-то за Смоленском. С ним тоже вышла путаница: он тоже должен был получить бронь, но Военкомат по ошибке призвал его и отправил в

часть. Главк пытался его выручить, но опоздал: ни батальона Кольшева, ни самого Кольшева уже не оказалось.

Война вырывала моих близких друзей, а на то, на что мы с ними надеялись, еще не было и намека. Немцы оставались неразгаданными и ни одного сигнала к тому, чтобы наши предвоенные надежды могли оправдаться, так и не было. Значит, немцы — враги? Но и власть враг нам. Её никто не хочет защищать, потому немцы и подходят к Калинин и Ростову. Где же наша сторона, за кем нам идти? Зачем гибнут люди, так и не зная, кого и что они должны защищать?

Немцы не были такими могущественными, как, по-обыкновению, можно было думать, следя за их успехами. Рыбинск был значительным узловым пунктом, неподалеку от него мост через Волгу, второй у Ярославля — оба они связывали важные артерии страны с севера и востока в центр и на запад. Эти артерии снабжали фронт. В городе ходили тревожные слухи о том, что мосты и Рыбинск, с его большим авиамоторным заводом, будут бомбить. Боялись, что могут разрушить плотину через Волгу и Шексну — тогда вода Рыбинского моря смочет город. Страхи были напрасными: только три-четыре раза, на огромной высоте, пролетали немецкие разведчики; один из них сбросил три малых бомбы, — они упали далеко на запасных станционных путях, никого не ранив и ничего не повредив.

По приказу власти, в каждом дворе вырыли бомбоубежища. Во дворе дома, где я жил, мы тоже выкопали убежище-канавку в рост человека — её сразу залило подпочвенной водой. Укрепить канавку было нечем и она скоро обвалилась. Такие же смехотворные «убежища» были у соседей: приказ был выполнен.

По ночам мы дежурили на улицах, подстерегая шпионов и диверсантов. Глупо было думать, что диверсант так вот открыто пойдет по улице, но по всему городу, в каждом квартале, с вечера до утра, сменяясь через два-три часа, бродили по своим участкам жители, больше женщины, присматриваясь к редким прохожим: не диверсант ли случайно? На прохожих ничего не было написано, они могли быть и действительно диверсантами и спокойно идти по своим диверсантским делам: мы всё равно не могли их разгадать.

Но приказ опять-таки был выполнен: важна ведь только форма.

Всё это было не серьёзной игрой. Серьезное, страшное и еще непонятное происходило далеко от нас, на огромном пространстве от Ледовитого океана до Черного моря. К нему были прикованы взгляды, мысли, внимание. Но его тоже еще нельзя было разгадать...

Я торопился с ликвидацией: хотелось поскорее попасть в Москву, быть в центре происходившего. В начале октября закончил дела, рассчитал оставшихся служащих; Самуил Маркович заканчивал отчет. Он, верно, был путаником: в самые последние дни, когда я уже закрыл счета в банке и перевел все оставшиеся у нас деньги в Москву, Самуил Маркович вдруг заявил, что у него в кассе осталось еще около двадцати тысяч рублей. Чтобы сдать их в банк, надо снова открывать счет, по почте такую сумму перевести нельзя, — это грозило задержкой еще на несколько дней. А неизвестно откуда бравшиеся слухи глухо говорили о том, что немцы чуть ли не под Можайском. Я не хотел задерживаться ни на один день и решил взять двадцать тысяч с собой.

Новое дело: где-то между Ярославлем и Москвой дорогу разбомбили и поезда на Москву не идут. Чувствовалось, что под нами горит земля. Я зашел в райисполком, попрощаться с председателем, который помог мне при ликвидации. Председатель, прощаясь, как-то странно взглянул на меня и многозначительно сказал:

— Доберетесь до Москвы? — Расспрашивать не пришлось: в кабинете много народа, чем-то взволнованного.

Еще шли пароходы по Волге и каналу Москва-Волга, до Химок — решил добираться пароходом. Расписания не было; у начальника пристани узнал, что завтра в полдень пойдет большой теплоход «Иосиф Сталин».

Вечером уложил в чемодан папки с отчетами, упаковал свои вещи в рюкзак и портфель, сходил попрощаться с Самуилом Марковичем. Старик смотрел обреченно. Я посоветовал ему, в случае, если немцы придут и сюда, эвакуироваться — старик покачал головой: «Я прожил свое. Куда мне ехать? Всё равно не вынесу»...

Утром 14 октября простился с хозяйкой, взял вещи и вышел в коридор. Завылла сирена. Поставив вещи у стенки, надел рукавицы, полез на чердак: я единственный мужчина

в доме и по расписанию во время тревоги должен дежурить на чердаке, чтобы при случае тушить зажигательные бомбы. Я всегда смеялся, взбираясь на чердак: я был твердо уверен в том, что никаких бомб не будет и что для меня их час еще не пришел.

С чердака, в слуховое окно, далеко видна притаившаяся по тревоге главная улица. Ни одного человека, ни шороха, ни движения. А где-то высоко, невидимый глазу, уныло, как комар, звенел немецкий разведчик, что-то шаря и выискивая на многострадальной земле. Кое-где из подъездов изредка выглядывают головы, напряженно всматриваясь в небо. Не так ли мы все сейчас, по всей необъятной России, притаились и чего-то ждем и разглядываем, в бередящей тело и душу тревоге? Чем разрешится она? ..

На запад и на восток

В каюте первого класса комфортабельного, но уже порядком замызганного теплохода с канала Москва-Волга, спутником оказался высокий мужчина в кожаном пальто, с замкнутым, мрачным лицом. Попробовал заговорить с ним — не вышло: что-то проворчал и отвернулся, явно показывая, что разговаривать не желает. Очевидно, важная птица: крупный работник НКВД или партработник «всесоюзного значения».

На палубе, в салонах, в ресторане пусто, пассажиров почти нет: мы едем на запад. Радио не работает и, отвалив от пристани, мы оказываемся в отрезанном мирке, плывущем по осенне-неприветливой реке, в сетке из дождя и снега. Как привидение, выплывает навстречу пароход с запада, идущий с большим креном на левый борт, словно терпящий бедствие. На балконе и на верхней палубе ящики, узлы, чемоданы, на них сидят укрывшиеся одеялами женщины, дети. Вероятно, эвакуированные из Калининна. Пароход медленно проплыл и растаял в мути непогоды.

Изредка встречаем буксиры с баржами: на палубах машины, станки, между ними и на них густо стоят и сидят люди и неподвижно моknут под дождем. Холодно плещет черная вода, по реке плывет сало: скоро пойдет лед.

Берега за сеткой дождя унылые, осклизлые. В редких деревнях и селах ни людей, ни движения: будто брошенные,

обреченные места. Напрасно останавливаемся у пристаней: пассажиров нет. Жизнь словно оборвалась, или притаилась и чего-то ждет.

Ползем медленно, за Угличем долго стоим: не ладятся дизеля. Пожилой матрос на нижней палубе ругается: «Каждую неделю маемся, чтоб им пусто было». Дизеля новенькие, построенные специально для теплохода, но никудашные. Вспомнились старые волжские теплоходы, с такими же, коломенского завода, дизелями: работают безотказно по сорок лет.

Только к вечеру на другой день дотащились до сапожного города Кимр и опять встали. Часа через два, уже ночью, капитан объявил, что теплоход дальше не пойдет: дизеля отказали совсем.

Высаживаемся в крошечную тьму, на хлюпающую под ногами землю и сразу разбредаемся: остаюсь один. Где-то впереди, километрах в трех, станция Савелово, от нее можно добраться до Москвы поездом. Но где дорога на станцию? Темь чернильная, не видно пальцев вытянутой руки. Чертыхаясь, мешу грязь, иду по наитию. Какие-то дома, заборья обхожу их, попадаю в поле, иду, увязая по щиколотку в липкой глине. Нудно шелестит дождь, холодные капли противно ползут за воротник. Останавливаюсь, слушаю: ни звука, кроме шелеста дождя. Тьма, как черная вата, ни проблеска, ни шороха; становится жутко: выберусь я из ночи или она поглотит меня?

Натыкаюсь на мягкое, вглядываюсь: женщина сидит на чемодане и плачет. Рядом на мешке девочка, прижалась к матери и тоже плачет. Напуганные рассказами Информбюро о немецких зверствах, бегут от немцев, сами не знают, куда. Куда-нибудь на восток. Идут тоже от Кимр, с дороги сбились, будут сидеть, пока не рассветет. Взваливаю мешок на плечи, чемодан несем вдвоем с женщиной, девочка держится за юбку матери. Теперь не до жути, надо выбираться. Вдруг попадем на дорогу — сразу легче. Слышно чмоканье грязи: впереди, позади идут такие же, как мы...

На станции, в красноватом сумраке от затемненных лампочек, неподвижная мешанина нахохленных теней. Лица хмурые, застывшие, апатичные: всё равно. Как и везде с начала войны, ни тени патриотического чувства, ни ожесточения. Прикажут — пойдут, но души в дело не вложат.

В очереди у кассы передо мной неожиданно появляется спутник в кожаном пальто. Он показывает в окошечко книжку; успеваю разглядеть тисненые буквы «НКВД». Удовлетворенно отмечаю, что не ошибся в своем предположении: глаз наметан.

В нашем отделении вагона сбились люди в заляпанной грязью обтрепанной одежде, на полки примостили промоздкие треноги, землемерные кольца, линейки. В зыбком расвете вижу усталые лица, пугливо озирающиеся глаза. Что за народ? Топографы, сбежавшие с оборонительных работ? Прислушиваюсь к осторожному шопоту, спрашиваю: бегут с работ из-под Калинина. Калинин взят немцами, они едва вырвались, лесами и оврагами пробрались уже из немецкого тыла. На минуту становится смешно, но и тепло на душе: чудачки, даже спасаясь бегством они не бросили промоздких треног и линеек!

Топографы говорят, что у Калинина наших войск почти нет, сегодня, завтра немцы могут быть в Клину и Кимрах. Отсюда до Москвы — подать рукой. Что будет завтра? ..

Крушение устоев

Приезжаем рано утром. В Главк рано, зашел в закусочную позавтракать. Внешне тревоги не заметно: обычное оживление, люди спешат на работу. На улицах звенят трамваи, идут троллейбусы. Впрочем, не видно автобусов, такси. Говорят, что сегодня почему-то не работает метро. После трехмесячного отсутствия жадно вглядываюсь в дома, улицы, словно они могут мне рассказать, что происходило тут, пока меня не было. Улицы выглядят строже, сильнее обнажилась бедность — в облезлости домов, в соре на тротуарах, в изношенной одежде людей. Кажется, все одеты в грязно-серый траур.

Чем ближе к центру, тем сильнее нервность, спешка, будто не обычные, чем-то другие. Тороплюсь к себе в учреждение — взобравшись на третий этаж, попадаю в странную суматоху.

Двери и окна настежь, ветер перелистывает разбросанные на столах и на полу бумаги. Наши сотрудницы торопливо вытаскивают из громадных шкафов сшивки бумаг и бросают в окна. Нагруженный папками поверх головы, на меня

налетает снабженец Васюков — худощавый, прихрамывающий инвалид, с белым лицом в легкомысленных конопатинах. Летчик времен гражданской войны, Васюков несусветный пьяница, за пьянство его два раза исключали из партии, но ЦКК оба раза восстанавливала его, учитывая прошлые заслуги и пролетарское происхождение Васюкова. Он безыскусственный человек, рубаха парень — мы с ним приятели.

Рассыпав папки, Васюков со вкусом ругается; увидев меня, кричит:

— А, ликвидатор! Ты, брат, во время: мы тоже ликвидируемся!

— Что за ликвидация?

— Делопутство уничтожаем, как класс! Смотри, — он тащит меня к окну и азартно, с явным удовольствием, вышвыривает папки, доселе хранившиеся с великим тщанием. Всего можно было ожидать, но сейчас впору протереть глаза: не сплю я? Выбрасывают драгоценные «оправдательные документы», спасительную «отчетность», на которой зиждется весь наш хозяйственный строй! Выглядываю в окно: в узкой клетке двора мелькают белые листы, из окон напротив, выше, ниже и рядом с нами тоже вылетают пухлые папки. Внизу два истопника лопатами сребрают бумаги в кочегарку.

Секретарши, чертежницы, счетоводы, машинистки охотно предаются делу уничтожения. Похоже, их охватила радость разрушения. Или попросту им осточертело выщелкивать на машинках путаные бумаги, подсчитывать непонятные и скучные цифры?

Ухватываю Васюкова за руку, сажусь с ним в углу:

— В чем дело?

— Хаха, брат. Приказно все дела уничтожить. Говорят, немцы в сорока километрах от Москвы.

— Неужели так скверно?

— Сквернее не может быть. наших войск почти нет, немцы завтра могут быть в Москве.

— Где главбух? Мне надо сдать деньги.

Васюков скалит зубы:

— Смотри, не сдури. Кто теперь сдает деньги? Держи при себе: нам с тобой на выпивку хватит.

— Ты в своем уме? Где Горюнов?

— Чёрт его знает, где. А главбух в банке, пошёл деньги для драпа получать: мы эвакуируемся, приказано выдать всем по месячному окладу. Не журишь, куме, на выпивку хватит!

— Тебя, верно, немцы пьяного повесят, когда придут. Забыть надо о выпивке: немцы под Москвой!

— Это особь статья, об этом после поговорим. А пока — лопни, а держи фасон! . .

Немцы могут завтра быть в Москве! Казалось бы, ничего удивительного: давно заняты Минск, Киев, Смоленск, десятки других городов; по всему ходу дел можно было предполагать, что немцы будут под Москвой, в Москве и даже за Москвой. К этому шло. И не я ли сам думал, что так и должно быть и что так даже лучше? Иначе не справишься с нашей властью. Но теперь, когда это подошло вплотную, мысль о том, что немцы завтра могут занять Москву, кажется чудовищной. Не городит Васюков вздор?

В кабинет пробегает новый управляющий конторой Горюнов. Прежнего, который посылал меня в Рыбинск, уже нет: его ЦК направил на какую-то другую, военного значения работу. Горюнов заведывал прежде в Главке одним из отделов; он партиец со стажем и со вкусом к «руководящей деятельности». Толстый, как бочка, он порядком похудел, обвис. Иду за ним.

Здороваясь, говорю, что работу свою закончил, деньги перевел, остаток привез с собой, кому сдать отчет, деньги? Горюнов смотрит растерянно, глаза его бегают, он нервно роется в ящиках стола.

— Закончили? Это хорошо . . . Да, отлично . . . Отчет? Что ж отчет, отчет сдавать некому, всех взяли, кого в армию, кого в ополчение, — бормочет он, продолжая поиски. — Да, документы приказано уничтожить, так вы, того, выбросьте ваш отчет к дьяволу . . . Да, да, выбросьте, вот именно, к чёрту! — ни с того ни с сего свирепеет Горюнов, но тотчас же остывает. — Нам приказано эвакуироваться, учитите, вы тоже поедете . . . А деньги . . . знаете, вот что: ехать нам далеко, что там будет, неизвестно, так вы деньги, того, у себя оставьте. Да, да не сдавайте, может еще вам пригодятся . . . А, вот она! — обрадовался управляющий, отыскав какую-то бумагу, схватил кепку, портфель и стремительно убежал, оставив меня в полном недоумении.

Только теперь стала понятна степень угрозы Москве и начавшейся паники. Выбросить отчеты — еще куда ни шло, но само начальство предлагает не сдавать, то-есть попросту присвоить казенные деньги! Ясно, трещат по швам, рушатся наши устои. Кого и о чем еще спрашивать? Больше не нужно никаких слов...

Деньги мои пригодились. Придя из банка, главбух с отчаянием объявил, что денег на выезд не получить. В банке собрались сотни бухгалтеров и кассиров, а выдавать деньги никому: банковские работники тоже мобилизованы. Боясь разгрома, управляющий банком звонил в НКВД, просил прислать охрану, но НКВД теперь не до банков, охрану не прислали. Толпа в банке бушует, — опасаясь, как бы не попасть в неприятную историю, наш старичок-главбух вернулся без денег. Моим двадцати тысячам он обрадовался, как избавлению: если он не выдаст деньги, то на этот раз будет виноват не только в невыполнении приказа — ему придется претерпеть от сослуживцев, жаждущих денег, случайно перепавших им по необычному распоряжению начальства.

Сдав деньги и на всякий случай спрятав в портфель наиболее важные документы, я выпряхнул содержимое моего чемодана в окно. Сотни таблиц и ведомостей освобожденно закружились в воздухе. Я вспомнил Самуила Марковича, других своих рыббинских сотрудников, дни и ночи ревностно составлявших эти бумаги, говорившие о нашей добросовестной, не за страх, работе. Покувыркавшись в воздухе, бумаги упали под ноги истопникам. Крикнув: «Берегись!» — я отправил вслед за отчетом и ставший больше ненужным чемодан.

В конторе продолжалась суматоха бумажного уничтожения. Она вызывала неприятное чувство: уничтожались пусть мертвые, но всё же свидетельства человеческого труда. Оставшись не у дел, я вышел побродить по Москве.

В разные стороны

За полтора - два часа, проведенных в Главке, улицы изменились. Спешка на них уже не нервная, а паническая. Напротив, на Новой площади и дальше, на Лубянке, трамваи идут, обвешенные прозданиями людей. Пронесаются машины,

нагруженные чемоданами; люди в машинах прячут лица в поднятые воротники: бегут.

На Малой Лубянке, на Кузнецком мосту в воздухе носятся бумажки, пепел: учреждения жгут архивы. Говорят, что жжет архивы даже НКВД. Откуда-то появились любопытствующие, никуда не спешащие и ничем не занятые люди: стоят на перекрестках, в подъездах и как будто бесцельно смотрят на суету. У некоторых на лицах тревога, недоумение, у других — не искры ли удовольствия и даже злорадства блестят в глазах?

На Кузнецком мосту из книжных магазинов прямо на тротуары выбрались книги, тетради, писчая бумага, конверты, которых вчера нельзя было достать ни за какие деньги. Останавливаюсь, смотрю: беллетристика, научные и технические книги, много старых изданий, в роскошных переплетах.

— Приказано продать, что можно, остальное уничтожить, — говорит закутанная в шаль продавщица. — Толстой, двадцать томов, за пятьдесят рублей, не возьмете?

Жадность книжника подмывает взять. Случай редкий, другого не будет: за тысячу рублей можно составить хорошую библиотечку! Руки тянутся к книгам, но я останавливаю себя: не время. Куда я возьму их? Оставлю в Москве — немцам? Если уедем — повезу с собой такую тяжесть куда-нибудь в Сибирь? До нее дай Бог добраться самому. Сокрушенно отворачиваюсь, бреду дальше.

Вышел на Тверскую, оттуда на Моховую, поехал на Арбат, с Арбата на Садовую, потом на Пресню, к Белорусскому вокзалу, к ЦДКА, на Самотеку, на Цветной бульвар и на Трубную, к Чистым прудам — колесил по Москве беспутно, без маршрута, куда глаза глядят, и смотрел также сокрушенно, как на Кузнецком на книги. Невозможно было вообразить, что завтра, послезавтра или через неделю по этим улицам хозяевами будут ходить немцы. По ним когда-то ходили французы, но это было давно и у нас осталось об этом только книжное представление — теперь нужно представить немцев в Москве на яву. Это не укладывалось в голове.

Смятенно я еще и еще вбирал в себя смесь современных домов и покосившихся домиков, дворцов и фабрик, кривых переулков и широких улиц, площадей и бульваров — до

боли знакомую, незамысловатую и без роскоши, но пленившую наши души неповторимую прелесть Москвы. Она была охвачена суетой. Попадались люди с чемоданами, с узлами; на лицах было написано: бегут. Из ворот фабрик и заводов выкатывались тяжело груженные автомашины — мысль тотчас подсказывала, что грузовики торопятся на восток. Москва расползлась, мы покидали её, как крысы, почуявшие гибель корабля. Но корабль шел ко дну закономерно, неминуемая гибель была уготована ему всем течением нашей жизни, теми, кто захватил руководство нами и кораблем. Устранить преступное руководство может только гибель корабля. Значит, гибель надо приветствовать? Но корабль не может погибнуть, должно уйти только его руководство... Но немцы в Москве — разве не есть это кусочек уже нашей гибели?..

Зашел к Лапшину — лифтерша сказала, что Лапшин семью свою отправил на восток еще месяц назад, а сам только раз-другой в неделю бывает дома, застать его почти нельзя. Позвонил другим товарищам — никого нет в Москве: кто в армии, кто выехал с заводами; все разъехались, кто куда...

Только к вечеру, усталый от предыдущей ночи без сна, от блуждания по Москве, от путаницы мыслей и чувств, добрался домой. В квартире глухая неоткликающаяся тишина; дом словно вымер. Паровое отопление не работает, в моей пустовавшей комнате холодно и сыро, как в погребе. В голове сумбур, ноги подкашиваются; разбираю сырую постель, хочу забраться под одеяло, под пальто, подо всё, что есть у меня теплое. Но вваливается Васюков и, конечно, с литром водки.

— Не журишь, куме, — балаганит он, — пропустим по лампадке! А и холод у тебя, волков морозить! Ну, сейчас согремся! — он ловко выбивает ладонью пробку. Делать нечего, достаю стаканы, оставшуюся от дороги колбасу, Васюков извлекает из карманов полушубка французские булочки.

— Главное — не теряться. Выпьем — повеселеет на душе. А думать — пусть лошади думают, у них головы большие.

— Чёртушка, думать поздно, делать надо, — перебиваю его.

— А что ты сделаешь? Ну, что, скажи? Выше головы прыгнешь? — опрызается Васюков и смотрит вдруг позеленевшими колочими глазами. Махнув рукой, он наливает водку в стакан, пьет, отчаянно морщится, нюхает булку и говорит:

— Ты меня знаешь, я давно с этого дела сошел. А и не сошел бы, один чёрт. Раньше надо было думать нашим прохвостам. — «Прохвосты» на языке Васюкова — Политбюро, ЦК, Совнарком, вообще власть. — А теперь поворачивать поздно. Сейчас, сам знаешь, наше дело телячье: приказали эвакуироваться, поедем, прикажут оставаться, останемся. Хоть круть-верть, хоть верть-круть, — в одном мешке!.. Ну, я, положим, инвалид, мое дело сторона и заботушки у меня — только вот, — щелкая по бутылке ногтем, опять начинает балаганить Васюков.

— Постой, тут Новиков должен быть, — спохватывается он. — Сегодня с фронта в командировку приехал, надо с ним потолковать...

Через несколько минут он возвращается с соседом по квартире, техником нашего планового бюро, мобилизованным в первый день войны. Похудевший, со впалыми щеками, Новиков сильно постарел; у рта резко залегли горестные складки. На плечи у него наброшена пярзная шинель с защитного цвета петлицами, на них химическим карандашом нарисовано по шпале — капитан.

— Что у вас, пир во время чумы? — простуженно говорит он, неодобрительно косясь на стол.

— Вот-вот, в самую точку! — подхватывает Васюков. — Но ты, капиташа, без рассуждений: хлопни стакашник, а потом давай, выкладывай, как воюешь? Доложи трудящимся, — словно издевается Васюков.

Выпив залпом стакан, Новиков садится, закусьивает и хмуро смотрит на нас.

— Пьянствуете, черти серые, прохлаждаетесь, — бормочет он. — На фронт вас, к немцу...

— Капиташа, без демагогии, — отмахивается Васюков. — Валяй, рассказывай, как там?

— А вот так же, как здесь: одни дерутся, другие пьянствуют, — зло говорит Новиков, наливает еще стакан и торопливо пьет. Лицо его краснеет и становится жалким. — Одного не пойму: чем мы держимся? Немцы просто дубы,

идиоты, что еще Москву не взяли! — Он с силой бьет по столу кулаком, бутылка вздрагивает, стаканы тоненько звенят.

— Я иду от Смоленска и вот вам картина. Одна часть дерется — здорово, до смерти, до иступления, с бутылками и гранатами немецкие танки гонит! Другая — со всем комсоставом в плен идет, третья, чуть к фронту — в рассыпную, а четвертая, как немца унюхает, так такого драпа дает, что её на машине не догонишь. В чем дело, почему? Фронта нет: немцы то впереди, то сбоку, то сзади и никак не поймаешь, в мешке мы, в окружении или еще где? Связи нет: кто у нас на правом фланге, кто на левом, ни один чёрт не знает. Разве это война? Это дом сумасшедший, а не война!

— Может, это современная война? — вставляет Васюков.

— А мы к чему готовились, к петровским войнам? Десять лет вопили о нашей авиации, о танках, о ворошиловских залпах — где они? Ведь мы с бутылками воюем, с винтовками. Артиллерию побросали, я по неделям ни одного орудийного выстрела с нашей стороны не слышу. Танков нет — куда они делись? О самолетах не спрашивай: немцы как хотят издеваются над нами, мы только немецкие самолеты над собой видим. Иногда возьмут, бочку нам пустую бросят, рельсу: они летят с таким воєм, что, думаешь, ну, конец, сейчас в дым разнесут! Упала — рельса! Мы от бешенства задыхаемся, видя такие немецкие штучки. А что ты сделаешь, если у нас одни кукурузники *) украдкой, по земле, по штабным делам летают? Вот тебе и вся наша «авиация»! — презрительно плюет Новиков.

— А командиры! — через минуту восклицает он. — Я из запаса, ладно, а кадровые? Смех один: как потерянные, как маленькие, их за ручку надо водить. То людей на верную смерть гонят, а когда нужно, не шевельнутся: приказа ждут! Без приказа ни шагу, бегут только без приказа. Ни плана, ни толкового командования, одни приказы, и обязательно — с расстрелами! Одного за невыполнение боевого задания, а его, наверно, и выполнить было нельзя, другого за дезертирство, — а что ему делать, если вся часть ушла? Третьего чёрт его знает, за что, но обязательно, — расстрел!

*) Учебные самолеты «У - 2».

Немцы нас бьют, и мы себя бьем. Кому охота воевать, если как ни сделай, всё равно могут расстрелять? Вот и выходит: отступаем к Можайску, иду я леском и вижу в кустах сидят, пришипились — майор, еще три-четыре офицера, — остаются в плен! Это не рядовые, те тысячами сдаются, а офицеры. Когда было видано, чтобы офицеры сдавались в плен? Как тут навоюешь?

— Отступаем, всё уничтожаем: склады богатейшие, посеы, а население только смотрит. Просят: дайте нам, не жгите, с голоду подохнем! Нельзя, надо по приказу: раз — и на воздух! А люди — пусть злее будут. Что ж, они бесчувственные, не понимают? Красноармейцев бывает тоже голодом мори́м, а уходим, продукты жжем. Верно, иногда деремся, жестоко, до последнего, да ведь это не по плану и не по желанию, а от отчаяния, от злости: всё равно пропадать! Так разве одной злостью войны выигрываются?

Замолчав, Новиков уныло жует булку. Его провалившиеся глаза мутны, еще резче обозначились складки у рта. Васюков задумчиво теревит клеенку стола. В тишину комнаты неожиданно врывается тянущий за душу рев сирены.

Выключив свет, откидываю бумажную штору затемнения. Непроглядная ночь, ни проблеска. Как будто сразу за окном чёрная, рыхлая стена — из её рыхлости надрывно ревет сирена.

Рев обрывается, где-то далеко таявкают зенитки. Слышно приглушенное, вкрадчивое гудение: жжу-жжу-жжу. — говорят, так жужжат немецкие самолеты. Невидимый, самолет кружит в чёрной ночи над нами, над встревоженной Москвой, заставляя в сотый раз задавать вопрос, ответа на который не получить: что будет с нами? Что будет с Москвой?

В небо поднимаются белые столбы прожекторных лучей, в черноте между ними вспыхивают звездочки зенитных разрывов . . .

Чего хотят немцы?!

Утром, по дороге на работу, захожу во все табачные магазины, киоски и не могу купить папирос: они исчезли. У людей вид еще более спешащий и растерянный, но больше попадаетесь и незанятых, словно случайно присутствующих,

пристально всматривающихся и чего-то ждущих лиц. Странно: Москва прифронтный город, а военных на улицах мало. Куда-то запропастились милиционеры: не видно ни одного. Встречаю группу, по виду рабочих, с мешками, корзинами; из корзин выглядывают связки колбас, мясо. Откуда столько мяса?

В подъезде встречаю Васюкова. В сбитой на затылок кепчонке, с распахнутыми лапами полушубка, снабженец куда-то спешит.

— Стой! — останавливаю его. — Снабжай папиросами, нигде курева нет.

— Тю, папиросами! Махорки хочешь? На нашем складе достал, — отвечает Васюков, протягивая пачку махорки. — О папиросах забудь: фабрику Дукат разгромили. Верно говорю: все склады в миг опорожнили, ящиками папиросы несли. На Таганке ларек разобрали, Гастроном, — выкладывает новости Васюков. — А сейчас Мясокомбинат громят. Товарищи рабочие узнали, что под него мины заложили, для взрыва, и решили: чего добру пропадать? Окорока, колбасы мешками волокут, скот разбирают. Весело, как в революцию! — кричит, убегая, Васюков.

— Начинается, — отозвалось внутри. Но и не верилось: может ли действительно «начаться»? И нужно ли этому радоваться — или над) огорчаться?

В канцеляриях пусто. Две-три сотрудницы всё ещё носят из шкафов и вытрасывают в окна папки с «делами». Завкадрами, женщина с лицом мужчины, сама выстукивает на машинке справки: «Выдана в том, что сотрудник житель Москвы, эвакуируется в».

— Куда? — спрашиваю её.

— Неизвестно. На восток, а куда, ещё не сказали, — не глядя отвечает завкадрами.

Кому и что известно сейчас в Москве? Жизнь клокочет, но она и остановилась, как перед прыжком в будущее. В какое, кто знает?

В коридоре останавливает пожилой инженер Блинов, из соседнего с нами учреждения. Ухватив за пуговицу пальто, он всполошенно говорит:

— Как выехать? У нас в бюро осталось всего три человека, мы никуда не можем приписаться к эвакуации. Положение трагическое: мы можем остаться!

— Но ведь вам ничего не грозит: вы не еврей, не член партии. Вам немцы ничего не сделают.

Блинов отшатывается, всплескивает руками и снова хватается за мою пуговицу:

— Как вы можете так говорить! Да я ни минуты не останусь с немцами! Я возьму жену, дочь и уйду пешком!

Во всполощенной фигуре инженера, в его искаженном лице есть что-то трогательное и, пожалуй, действительно трагическое. А может, и комическое? Советую ему пойти к нашей завкадрами: их бюро нам родня, может быть, устроится с нами.

Спустя пять минут Блинов выбегает из отдела кадров немного успокоенный:

— Кажется, улажено: приписался. Я, понимаете, был на Ярославском, на Казанском — куда там! Битком: эвакуируются наркоматы, военные учреждения, не протолкаться. Поехал на Нижегородское шоссе, а там машины по четыре в ряд — все на восток! Люди, станки, ящики — не уцепишься. Говорят, на шоссе стоят заставы: НКВД ловит эвакуирующихся без разрешения. А завмагов всяких, бегущих с ворованными товарами, тут же расстреливают. Поделом! Однако, бегу собираться, спасибо за совет! . .

Захожу в пустую комнату, сажусь в чье-то кресло. Настроение путаное и беспокойное. Как будто что-то надо сделать, а делать нечего. Закрываю глаза, вспоминаю Горьковское шоссе — по нему машины, в четыре ряда, движутся на восток. Крики, брань, треск моторов, машины сталкиваются, наезжают одна на другую и у людей чувство, что это — начало конца. Какоего?

Из-за тонкой фанерной стенки слышу возмущенный женский голос:

— Привезли нас за Ржев, в лес — ни барачков, ни домов, располагайся под елками! Начальство себе палатку поставило, а мы под небом. Стали шалаши делать, а как их делать, если мы шалаши только в кино видали? Поставили, а они разваливаются, через ветки дождь льет, на нас всё мокрое — кошмар! Дали нам лопаты, привели в поле — копайте! А мы в туфельках, в тоненьких чулочках: где я рабочую обувь возьму, если у меня на всё-про всё пара выходных туфель, пара расхожих? И какой из меня землекоп, если я умею только обед сварить, да на машинке

стучать? Ну, и копали. С первых дней у кого ангина, у кого грипп, а потом дизентерия пошла — ужас один! Кормежка отчаянная, бурда, хлебом питались. Представляете: две тысячи московских баб, под дождем, оборвались, переболели, перемучились, на себя самих не похожи стали — зверинец, и только! Из двух тысяч через две недели половина осталась: кто умер, кого в больницу отправили, кто убежал. Выкопали противотанковый ров, начали окопы копать и слышим: немцы уже под Ржевом, позади нас! Побросали мы лопаты и лесами домой. Шестьдесят километров пешком проперли, как уцелели, сама не знаю. Нам еще повезло: дорогой мы других женщин встречали, их бомбили немцы, из пулеметов расстреливали, а много бабьих отрядов у немцев осталось. Спрашивается, какого лешего нас три недели мучили? Мучились, ну, ладно бы, да ведь попусту, напрасно мучились, вот что обидно! Что, наши верхи, совсем ополумели? Нет, это не война: бабами не воюют! А у нас равноправие: мужиков напропалую тробят и нас туда же! — женщина в сердцах шлепает по столу чем-то твердым — звук стукнул, как револьверный выстрел. Никто не отвечает, за перегородкой вязкая тишина...

Из Рыбинска тоже отправляли женщин на работы. Эшелон первой партии немцы разбомбили к западу от Бологого — в живых осталась половина женщин. Вторую партию немцы частью перебили, частью отрезали. В городе остались осиротевшие дети... Через земляные укрепления, возведенные наспех, бестолково, без плана, немцы идут, ни на минуту не задерживаясь. Но от Ленинграда до Черного моря сотни тысяч женщин продолжают гнать под немецкие бомбы, пули, снаряды. Погибли уже десятки тысяч женщин... Опять бессмыслица, неразбериха, кровь, безрассудная трата человеческих жизней. Но что в этом, если человек — ноль? А для нашей власти часто он и того меньше: отрицательная величина.

От таких мыслей тянет на люди. Спускаюсь вниз, выхожу — в дверях нагоняю нашего ревизора Зуева. Член партии с первых лет революции, Зуев мало похож на партийца, он в партии остается как бы по инерции. Чистки он прошел, вероятно, потому, что держался на незаметных местах и карьеры себе не сделал. Мы с ним подружились за

несколько совместных командировок и друг с другом давно откровенны.

На его вопрос отвечаю, что иду бродить по улицам.

— И я с вами, если не возражаете. Мне тоже делать нечего. Вы эвакуируетесь? — спрашивает Зуев.

— Да, если успеем.

— Успеете. По-моему, паника напрасна: вряд ли немцы так быстро возьмут Москву. Насколько знаю, у них только одна танковая дивизия прорвалась и войск под Москвой у них больше нет.

— А у нас много войск?

— В разброде, в панике, но наберется достаточно. Вчера по метро свежие войска подбрасывали, сразу с вокзала. Если командование сумеет навести порядок, то неделю, две еще продержатся. Отстоять Москву вряд ли отстоят, очень уж панически сами верхи настроены.

Через Новую площадь идем к Политехническому музею. Вдали насупился дом НКВД. Что-то делается во Внутренней тюрьме? Может быть, торопливо расстреливают подследственных, переходя из камеры в камеру? Не будут же их эвакуировать в этой суматохе. А расстаться с ними, выпустить, власть не пожелает: не для того она их арестовывала.

— На фронте кабак, армии сдаются в плен, растекаются по лесам и по домам, — неторопливо поворачивает Зуев. — Если с умом, сейчас всю Россию можно занять без особого труда: защитников нашего строя нет. И, как ни странно, его не хотят защищать в первую голову сами коммунисты. Вчера у нас в райкоме кто-то сказал, что немцы уже на Воробьевых горах — посмотрели бы вы, что стало с нашими партийцами! Они готовы были сейчас же, из райкома, бежать на восток. Не лучше и в Кремле: Молотов, другие наркомы вместо помощи обороне руководят эвакуацией. Молотов лично на Казанском вокзале торопит с отправкой эшелонов. Они заняты не обороной, а бегством, тем, чтобы спасти, что можно, как-нибудь выкрутиться и авось уцелеть. Большого банкротства не придумать. Но ложь продолжается: нам, например, объявили, что мы, члены партии, должны оставаться и защищать Москву «до последней капли крови». Конечно, не ответработники, — те уедут, а рядовые. Хотел

бы я знать, кто будет защищать? Впрочем, мне придется смотреть: я тоже должен оставаться, я тоже «защитник».

Чувствую, что Зуеву хочется выговориться: ему, наверно, давно не приходилось говорить «по душам». Лицо его спокойно, а глаза блестят лихорадочным огоньком.

— Я признаться, вообще не хочу уезжать из Москвы. Сейчас важен только один вопрос: чего хотят немцы? Если они хотят только устранить нашу власть и установить свой «новый порядок», одно дело: с их порядком мы как-нибудь справимся, важнее разделаться с нашим режимом. Но если это старый «дранг нах остен»? Или бредни из «Мейн Кампф»? Не ясно, но очень похоже на это. Тогда нам крышка: от Сталина мы не избавимся. А ведь это неповторимый случай! Вы слышали, что делается на заводах? Всем выдали зарплату за месяц вперед, чтобы люди продержались в дороге, и почти все сейчас же побросали работу. Эвакуируются партийцы, стахановцы, активисты, администрация — рабочие увиваются и уезжать не хотят. ЗИС вывозят в Горький на машинах — никто не хочет работать на демонтаже и погрузке станков. Объявили, что платят за работу по сто рублей в день — и то желающих нашлось не много. Представляете, каково настроение? Все чувствуют, что власть шатается, что ей вот-вот конец — и все с нетерпением ждут этого конца!

— С её концом придут немцы. Думаете, что и их ждут с таким же нетерпением?

— В этом вся загвоздка. Мы опять между молотом и наковальней. Конечно, многие ждут немцев: хоть немцы, но не коммунисты! А большинство на распутьи: и большевиков не хотят, и немцев боятся. Как ни говорите: немец, чужой, враг. Отталкиваются от тех и от других, а где третье? Его нет. Вот тут мы и можем оказаться пришитыми к Сталину, как пуговица к пальто. И отрезать нельзя будет. Если бы немцы не оказались идиотами! — не выдержав, воскликнул Зуев чуть не во весь голос.

Разговаривая, выходим в один из переулков к Маросейке. Переулок пуст, ни души, только у тротуара стоит легковая машина; шофер, подняв крышку мотора, возится в нем. Машина обвешена чемоданами, пакетами; за стеклами в глубине видим пухлое мужское лицо, прячущееся в углу, рядом молодую женщину с панически глядящими гла-

зами. На коленях у них свертки, кульки. На переднем сиденьи пожилая женщина прижимает к груди большой узел. Понимающе переглядываемся с Зуевым: бежит ответработник.

Отошли шагов двадцать — навстречу из-за угла вывернулась группа мужчин, в засаленных полупальто, спецовках, человек пять. Когда они миновали нас, Зуев увлек меня в подъезд дома рядом и прошептал:

— Посмотрим.

Рабочие поровнялись с машиной, остановились.

— Драпаешь, гад? — громко крикнул один и они захохотали — злобно, невесело.

— Нажрался, сволочь, теперь драпать?

— Отечество защищает, паразит! — Крики звучали все раскаленнее. Похоже, что у рабочих сжимаются кулаки, и что сейчас раздастся какое-то слово и от машины, кульков, чемоданов и от ответработника полетят в стороны клочья... Слово осталось не произнесенным: шофер захлопнул крышку, что-то сказал рабочим, сел в машину, дал газ. Машина тронулась и скрылась за углом; рабочие, громко разговаривая, пошли дальше.

— Видели? — взволнованно говорит Зуев. — Ведь это с 17-го года не было! Руки развязаны: власти больше нет! Сейчас пойдти на заводы — люди поднимутся в одну минуту и по камешку разнесут Кремль! Это — бунт, революция!

— Кто пойдти?

— Да, идти некому, — соглашается Зуев. — Но дело не в этом: сейчас довольно одного слова, чтобы поднялась стихия. А там и организаторы найдутся. Другое дело: зачем? Чтобы облегчить немцам взять Москву? Правительство всё равно в Куйбышеве, Сталин может улететь из Кремля на самолете в любую минуту. Какой смысл в московской революции, если не известно, чего хотят немцы? Если они идти против России и не допустят создания нового правительства, тогда и революция не только не нужна, а даже и вредна. Если бы немцы поняли!..

Поздно вечером выхожу из ресторана. Не видно ни зги, идти приходится оцупью. Поминутно сталкиваюсь с другими людьми. Чтобы освоиться с темнотой, останавливаюсь у ограды сквера на Театральной площади.

Осторожно проползают затемненные трамваи, их едва светящиеся окнами юстовы плывут сквозь тьму, как промывающие привидения. Тревоги не было, но высоко над нами опять монотонно жужжит самолет. Выстрелов заниток не слышно, но в черноте наверху вспыхивают красные искорки разрывов. На юге, очень далеко, в небе шарят бледные шупальцы прожекторов.

Шаркают шаги невидимых прохожих, иногда прошуршит автомобиль: видно только тусклые затемненные фонари, чёрный корпус сливается с чернотой ночи. Фантастической московской ночи, полной невидимых шорохов, тревожного самолетного гула, призрачных лучей, ощупывающих небо. Что скрывается за этой фантастикой?

Где-то к западу, к югу, к северу Новиковы с ожесточением отчаяния отбивают танковые атаки, зубами держатся за свою землю. Ими движет злоба, нерассуждающая ненависть к врагу, слепая любовь к родине. Другие Новиковы крадутся в темноте ночи, чтобы сдать в плен: ими движет тоже ненависть, но к врагу, двадцать четыре года насилующему нас. Совсем близко Зуевы ломают голову над вопросом: что несут с собой немцы? Миллионы не спят в столице: придет ли завтра освобождение или новая кабала и необходимость защищать тех, кого нельзя защищать? В Кремле пытаются удержать ускользающую власть и организуют бегство, стараясь захватить с собой побольше людей и машин, главного богатства страны. Глухими переулками и проселками скользят машины к востоку, минуя шоссе и заставы: это бежит неверная опора Кремля, тоже захватывая с собой казну. В фантастической ночи трещит, расплзается в стороны непрочная постройка — что удержит её? Что укрепит, сплавит всеедино? . .

На своих постах

Переселяемся на Казанский вокзал. В огромных высоченных залах сдержанный гул многотысячной толпы, прорезаемый пронзительным детским плачем. Мужчины, женщины, молодые, старые, многие в непривычной глазу одежде, будто они собрались на северный полюс: в валенках, ватниках, в полушубках, обмотанных полотенцами; кое у кого на головах трехэтажные малахаи, Бог весть откуда вытасчен-

ные для дороги. Всё это перемешано с узлами, тюками, чемоданами, ящиками, сундуками, детскими ванночками. Что, если сюда попадет бомба? Страшно подумать, — над нами только стеклянная крыша. . . Перебираясь через торы поклажки, пыхтя и отдуваясь приближается Горюнов, похожий на исследователя Арктики: на нем огромная меховая шапка и лохматая доха.

— Товарищи, не расходиться! Эшелон могут подать каждую минуту. В город не ходить, сидеть на месте. . .

Сидеть на вокзальном бивуаке нудно. И надо запасти на дорогу продуктов. Когда будет поезд, никому неизвестно: в эти дни неизвестно ничего. Но в скорый отъезд не верится: рядом с нами люди сидят уже двое суток. С Васюковым выбираемся на воздух.

По простору Комсомольской площади (не будет ли она скоро называться опять Каланчевской?) мечется пронизывающий ветер, несет редкие сухие снежинки. Холодно, морозы в этом году начались рано. Хорошо это или плохо? Промерзнет земля — немцы пройдут, как по паркету. А может быть, померзнут непривычные немцы? Спускаемся в метро, едем в Охотный ряд. Смятение и тревога на лицах и в движениях людей примелькались, стали привычными, на них больше не обращаешь внимания. Да они и уменьшились. Очевидно, можно привыкнуть ко всему. И не разрядится ли всё это, как разрядилось многое раньше — в пустую?

Заходим в парикмахерскую. Длинный ряд кресел сиротливо пуст, скучают два мастера. Закутывая меня в грязноватую простынь, старик-парикмахер пожимает плечами на мой вопрос: где его коллеги?

— Разъехались. Растаяли, как в воздухе. Двоих мобилизовали, а остальные, надо полагать, сами смылись. Времечко, одним словом. . . Не слышали, что на фронте?

— Особенно ничего не слышал. А что говорит Информбюро? — киваю в угол на репродуктор.

— А что ему положено, то и говорит. По должности. «Красноармеец Тимохин убил трех немцев, сержант Никудыкин взорвал вражеский танк, подразделение капитана Переплюйкина вдребезги разгромило немецкую группировку», — передразнивает брадобрей диктора Информбюро. — А немцы под Москвой. Это понимать надо, гражданин: наша

берет, а физиономия у нас битая... По должности талдычит...

Парикмахеры всегда болтливы, но такого слышать раньше от них не приходилось.

— Не слышали, Пронин по радио выступал? Как же, призывал к спокойствию, к исполнению служебных обязанностей. Постановление Моссовета есть: чтобы все бани, парикмахерские, водопровод и прочая канализация городского хозяйства работали исправно! Видите, теперь уж мы немцев обязательно побьем! В баньке их пропарим, бритвочкой исполосуем... Спыхватились, и то не в дело. Начальство разбежалось, небось, сам Моссовет драпа дал, а туда же, трезвон: спокойствие! Работайте честно на своих постах! Сам, понятно, убежит, когда немцы придут, а мы? Мы куда денемся?

С опаской смотрю на волнующегося брадобрея: бритва черезчур быстро мелькает в его руках.

— Это не фасон, агитировать, — бормочет он, уже сам с собой. — Ты мне примером покажи: встань со мной рядом, и умри, если потребуется. Вот это герой, это я понимаю. А то — вы работайте на своих местах, а у меня самолетик приготовлен. Вы к немцу в пасть, а я — чик! — только меня видели!.. Одеколончиком прикажете? — неожиданно заканчивает брадобрей.

Покинув обиженного парикмахера (сколько сейчас обиженных в Москве?), идем по магазинам. В них, кроме продавцов, ничего нет, не можем достать даже курева. Но Васюков не напрасно знает Москву, как свой полущубок: на Неглинной он затаскивает меня на четвертый этаж незнакомого здания. Поплутав по коридорам, попадаем в буфет неведомого учреждения. За стойкой копошится милостивая женщина средних лет.

— Грунюшка, золотко, выручай, уши опухли без курева, — обращается к ней Васюков. — Давай папирос.

— Вон когда вспомнил, заячья душа, — смеется женщина. — Я тебя год не видела. Теперь понадобилась?

Кажется, я присутствую при семейной сцене. Удивляться нечему: у Васюкова в Москве много таких «семейных отношений».

— Нашла время выговаривать! — отшучивается Васюков. — Ты, как сознательная гражданка, должна сочувствовать,

— Надо бы тебе посочувствовать, оглоблей в бок. На твое счастье на добрую бабу попал. Получай, — женщина достает из-под прилавка пачку папирос: «Ракета», 35 копеек. Васюков морщится:

— За кого ты меня принимаешь? Чтобы я эту дрянь курил?

— Покуришь, других нет. И эти по знакомству достала.

— Неужели нет? Ну, тогда давай пачек двадцать, на дорогу.

— Драпаешь?

— А как же, Груня? Немцам оставаться?

— Ты известный бегун, как и все твои. От баб к бабам, от немцев к другим немцам. Смотри, беготня не доведет до добра, — смеется Груня.

Васюков предлагает ей ехать с нами, он устроит её в наш эшелон, как родственницу. Груня отказывается:

— Нет, голубчик, спасибо. Я наездила, с меня хватит. Глядишь, немцы не хуже твоих будут. Не в первый раз, как-нибудь перебыю, а из Москвы никуда не тронусь.

Пока они разговаривали, я приглядывался к Груне. В её немного полноватой фигуре с упругими линиями, в овал лица с будто чуть затушеванными чертами, в улыбающихся глазах — тепло, мягкость, нежность, но и что-то знающее себе цену, твердо-уверенное, не поступающее собой. Где встречал я её раньше? Или — видел эти черты во многих других наших женщинах?

Выходя, Васюков изливает душу:

— Эх, брат, хороша баба! Балда я, что от нее ушел: какого еще рожна мне нужно? Она землячка моя, из нашего села, у них большое хозяйство было. Потом их раскулачили и заслали куда-то за Архангельск. Её старики и братья умерли там, а она выжила. Два года в лесу прожила, а потом убежала и я её случайно в Москве встретил: только приехала, ни денег у нее, ни документов. Хотела дальше ехать, да я её задержал, устроил, с тех пор в Москве живет. И смотри: ничто её не сломило, такая же царь-баба! Не скажешь даже, что деревенская: с умом, обтерлась. Вот и переделай такую. А ведь у нас таких баб — миллионы!..

Курева раздобыли, но с продуктами хуже: в магазинах ничего не достать. Есть хлеб, консервы-крабы, — говорят, заграницей они считаются деликатесом, но нам нужно что-нибудь по-основательнее. После долгой беготни в «Союзрыбе» нашли икру: зернистая, по сто рублей кило, кетовая по сорок. Задумываемся, — роскошь, не ко времени, — но есть в дороге надо, а с деньгами сейчас считаться не приходится, — взяли по четыре кило на брата. Нагружаемся хлебом, Васюков запасается водкой и спешим на вокзал.

Пробравшись к нашему месту останавливаемся, озадаченные: сослуживцев нет. Их место занято незнакомыми людьми. Исчезли и наши вещи. Соседи тоже новые, ничего не знают.

— Неужели уехали? — беспокоится Васюков. — Сиди здесь, я побегу узнавать, может они еще на платформе.

Примащиваюсь на чужом чемодане, дремлю. В голове каша. Может хорошо, что наши уехали? Унизительная суетня паники и эвакуации надоели, в них перестаешь чувствовать себя человеком. Не остаться ли в Москве? Я менее других защитник власти, я могу не защищать её и по формальным основаниям: от службы в армии освобожден. А вопрос, что будет с приходом немцев, представляет огромный интерес. Вдруг — оправдаются наши надежды? Надеется Зуев, остаются тысячи москвичей, — мне найдется место среди них. Не лучше ли поехать домой, подождать, как ждут другие, и этим разом покончить с канителью эвакуации? Но оправдаются ли надежды? Да и сдадут ли Москву? Почему задержались немцы? Это ведь тоже не просто. Тогда — зачем оставаться? Сибирь или Средняя Азия — не меньше, если не больше, интересно посмотреть, как отражается война там, в глубоком тылу, чем живут там люди. А дело при случае везде найдется. Нет, пожалуй, надо двигаться на восток. Да и у меня безотчетное чувство, что происходящее — далеко не конец и впереди еще много времени...

— А, вот он! — гудит надо мной бас, перебивая мои мысли. — Вы куда пропали?

Поднимаю голову: мужеподобная завкадрами подозрительно смотрит на меня. Неверное, подумала, что хочу сбежать от эвакуации.

— Куда мне пропадать? А вы не уехали?

— Нет, мы на другое место перешли, через площадь. Пойдемте, покажу.

Возвращается Васюков, идем к Октябрьскому вокзалу. Оказывается, наши приспособились: заняли подвал под таможенной. Честь и хвала Горюнову: он проявил неслыханную энергию и отвоевал для нас вполне безопасное и сносное помещение. Впрочем, он, кажется, хлопотал не из-за нас, а из-за жены, полнопродой, совсем не пролетарского вида женщины, капризно и требовательно распоряжающейся нашим высоким начальством. Здесь всё на виду.

Под тяжелыми сводами обширного подвала расплачутся по-семейному, группами. Обнаруживается, что багажа больше, чем людей: около каждой группы груды мешков, тюков, чемоданов. Перецеголял всех начальник: Горюнов совсем скрылся за горой багажа, для перевозки которого нужно по крайней мере полутоннажную автомашину.

Только у нас с Васюковым, холостяков, по рюкзаку и по портфелю. Словно предчувствуя, что отныне придется вести кочевую жизнь, я оставил свои вещи частью еще в Рыбинске, частью тут, в своей комнате: в дороге и иголка груз. Васюков придерживается того же взгляда. В углу расстилаю пальто, Васюков полушубок, ложимся и наблюдаем организующуюся жизнь. Люди устраивают ложа из чемоданов и мешков, гремят кастрюльками и чайниками, располагаются ужинать. Васюков вздыхает:

— И ты хочешь, чтобы они защищали Москву, Россию? Они бебежи свои спасают, вон, смотри, ванночки, ночные горшки в Сибирь везут. Э, да что там говорить. Давай-ка лучше выпьем под икорку и дело с концом, — и он достает из портфеля водку.

Прощанье с Москвой

Два дня прожили в подвале, в удручающей атмосфере шкурного бегства. Только единицы, как инженер Блинов, бежали, понуждаемые стихийным патриотическим чувством, потому, что не могли видеть немцев в сердце своей родины; другие единицы, из того же патриотического чувства, считали, что их долг — помочь родине защищаться, не смотря ни на что. Еще немногие ехали по понуждению и по

прямому принуждению. Остальные, большинство, члены партии и беспартийные, почему-либо боявшиеся, что с приходом немцев им не поздоровится, бежали только из страха за свою шкуру. Никто из этого большинства не думал о деле, о том, чтобы помочь обороне страны, никто не готовился работать для этого на новом месте, — думали только об одном: как бы поскорее уехать из Москвы, спастись самим и — спасти побольше своего имущества. Горюнов и другие ездили домой, привозли еще и еще чемоданы — подвал превратился в склад барахла. Дома, на случай возвращения, они оформляли «бронь» на квартиры — этим все их заботы ограничились, это было им дороже и Москвы, и России. В эти дни еще раз с вопиющей очевидностью обнаружилось не только животное, лишенное всего высокого, человеческого, но и мелко-обывательское, подленькое существо главной опоры большевизма.

Мы коротали время с Васюковым. Он не притворялся и был самим собой. Наши вылазки из подвала в город превратились уже в «поездки в Москву»: казалось, что мы уже покинули её и ходим по её улицам, как посторонние зрители.

Паника в городе прекратилась, растерянность заметно уменьшилась. Исчезли с улиц отдельные люди и группы, словно со стороны присматривавшиеся к суматохе и, казалось, только ждавшие случая, чтобы схватить оглоблю или лом и крушить, что подвернется под руку. Заводы, фабрики еще не работали, только некоторые кое-как принимались за дело и рабочие также не хотели ехать из Москвы, но днем на улицах их уже не было видно. Прекратились разгромы магазинов и складов, беспорядочное бегство директоров. Кульминационный пункт паники был пройден. Чувствовалось, что не порвалась какая-то последняя нить: народная стихия, взволновавшись, не выхлестнула из берегов и теперь постепенно успокаивалась. Власть воспользовалась этим, ее присутствие начинало ощущаться уже явно: на улицах появились запропастившиеся было милиционеры, хотя военных попрежнему встречалось мало. На Казанский вокзал опять приезжал Молотов и лично «ликвидировал пробки», нервная бестолочь эвакуации продолжалась, но волна панического драпа схлынула и бегство принимало более организованный характер.

Угроза продолжала висеть над Москвой. Слухи распространялись одни нелепее другого: немцы заняли Подольск, немцы в Филях, но и без слухов было понятно, что положение остается катастрофическим. Прибывали новые, свежие, не бывшие в боях части, их немедленно отправляли на фронт, но еще никто не мог поручиться, что они не рассеются также, как и кадровые части до них. Москва стояла строгая, нахмуренная, молчаливая...

Вечером выходим на чуть освещенный перрон Казанского вокзала. Эшелон из пассажирских вагонов дальнего следования. Впереди вагон какой-то академии, дальше вагоны Наркомата речного транспорта, позади нас не то театральное общество, не то тимирязевцы, — Ноев ковчег, столпотворение, ералаш. В купе по восемь человек, но багажа столько, что невозможно ни пройти, ни сесть. В тамбурах нагромождены ящики, ванночки, какие-то ведерные кастрюли, представляющие, очевидно, ценность, с которой расстаться выше сил, — проходя мимо Васюков со злостью бьет по кастрюлям здоровой ногой.

Примазываемся с ним на боковых местах — нам просторно. Но нас сверху, сбоков, снизу баррикадируют узлами, чемоданами — не продохнешь. Васюков отборно кроет соседей, тоже кроющих друг друга почему зря.

— Погоди, тронемся, выпью, я им все эти постройки разнесу, — обещает Васюков. — Буржуи красные...

Трогаемся ночью. Промелькнули затененные огоньки стрелок, въезжаем в темь, снова чернильно-непроглядную. Пытаясь что-нибудь разглядеть в ней, думаю, что вот такой сплошной чернотой будут у меня когда-нибудь окрашены воспоминания о последних днях в Москве. С того часа, как сошел я с парохода и пошел в Савелово, держа путь на Москву, все ночи были непроглядно-черны, а дни темны тревогой и безнадежностью.

Поезд идет медленно, будто пробираясь в темноте с трудом. Проплывают мимо еще огоньки стрелок, на Товарной или Окружной, и опять крошечная тьма. Вдруг останавливаемся и долго стоим, прислушиваемся. Кажется, прислушивается весь поезд, даже вагоны, и паровоз, наверное, тревожно слушает, вытянув к небу тонкое ухо трубы. Слышно дыхание притихших рядом соседей, а его покрыва-

ет тоскливое жужжание выходящего где-то в черноте самолета: жжу-жжу-жжу.

Жужжание умолкает, ползем дальше. Впереди колыхаются красные огоньки. Подъезжаем ближе — неподалеку в поле горят десятки крошечных костров. Ярко-красное пламя хвостом мотается по ветру, вытягивается кверху, стелется по земле. Откуда тут костры? Немецкий самолет только-что сбросил по ошибке в пустое поле зажигательные бомбы? Поезд проходит мимо, а я тянусь, смотрю в окно: танцующие в черной тьме огоньки кажутся таинственными жертвенниками, зажженными неведомо кем и неведомо кому. Не оставленной ли нами Москве, ожидающей неизвестной участи?

— Не журишь, куме, — негромко говорит Васюков. В его голосе нет обычного балаганного тона. — Слезами, как говорится, не поможешь. Эх, Москва, да, что ж, Москва... Выпьем-ка за её здоровье, дело будет лучше...

В осторожно попрыкивающем поезде, везущем нас сквозь тьму от покинутой Москвы на восток, по притаившейся, чего-то ждущей и на что-то надеющейся истрадавшейся стране, мы пьем с Васюковым жгучую московскую водку, заливая несмягчаемую горечь в груди, и закусываем драгоценной икрой, черпая её ложкой, как кашу...

РАССКАЗЫ

ПОД ЗНОЙНЫМ НЕБОМ

Солнце слепило и жгло. Оно висело почти над головой. И Волга сверху, с обрыва, с опрокинутым в нее выгоревшим белопепельным небом, показалась Николаю бесцветной и неподвижной. Здесь, вблизи, она была мутной и теплой, не освежавшей. Только выйдешь из тяжелой воды — перегретый воздух мгновенно сущит тело и оно покрывается капельками пота. . . Он покосился на левый берег: из-за желтой косы и песчаных обрывов, из-за жидких кустарников над ними казахские степи дышали иссушающим суховеем. Над пляжем сизый воздух лихорадочно дрожал струями раскаленного зноя.

— Середина июня — что будет в июле? — пробормотал Николай. Обмотав голову мокрым полотенцем, он лег ближе к воде, на влажный песок.

На пляже пусто. Немного по течению ниже вяло копошится в песке стайка ребятишек — даже их разморила жара. Выше, метрах в полтора — продолговатое красное пятно купального костюма. Оно тут давно, раньше Николая, иногда входит в воду, немного поплавает — и назад. Кто, не разглядишь, а подойти лень, слишком жарко.

Ниже, за островком, в полукилометре, длинной лентой вползает из воды на кручу лесотаска. Около нее — фигурки рабочих. Река приносит протяжный стон басистого баритона:

— Эх-ы! Эх-ва!

Слушая, даже не видя видишь: пять-шесть вросших в землю людей, в расстегнутых, без пояса, рубахах и в широких холщевых штанах, — широких для того, чтобы поддувало снизу, — воткнув в бревно багры, согласованным дви-

жением наклоняются — эх! — разом напрягаются — ы! — и многопудовое бревно скользит, потеряв свою тяжесть. Опять: эх! — наклон — ва! — рывок вперед — похоже, что и сквозь рубашки видно, как перекатываются на руках желваки мускулов и сильно дышит литая из бронзы потная грудь.

Это, наверно, вечно. Лет двадцать назад Николай, тогда мальчишка, на таком же заводе, любил слушать, как самый голосистый из рабочих выводит, заливаясь: Эх-ы! Эх-ва! В этом простейшем и будто бы бессмысленном сочетании звуков ему чудилась покоряющая и облагороженная сила. . . На севере проще, а потому и без загадки: «Раз-два, взяли! . . .» Индустриализация, механизация, прошла война, погибли в Сталинграде отец, мать, а это осталось. И может быть хорошо, что осталось? . . .

Ребятишками ловили они рыбу у левого берега, а вечером разводили костер и варили уху. Он и сейчас помнил, как сидели они на остывающем песке, перед ними — черная река, над ними — крыша из звезд, и пели, заражаясь волнением дали, которую открывали им слова песни:

Песнь, песнь моя,
Пионерская,
Будем комсомольцы,
Поедем за моря . . .

Нет, за моря не поехали. Но кое-где побывали. От Дона до Вислы и дальше — Варшава, Берлин, Дрезден, Лейпциг. Сквозь дым пожарищ, развалины, развороченные дороги в памяти проглядывали островерхие крыши немецких деревень, нетронутых войной городишек. Странная, непривычная глазу и сознанию чистота, порядок, довольство, — солдаты недоуменно спрашивали: а где живут рабочие, крестьяне?

Он усмехнулся: хороша Маша, да не наша. . . Да, а зачем это было? Чтобы лежать вот так на песке, под решившим всё испепелить солнцем, и слушать стон: эх-ы! Эх-ва! Так или не так? . . .

Красное пятно поднялось и неторопливо вошло в воду. Взмахивая руками по-мужски, женщина поплыла, стараясь перебороть течение. Справа, снизу, расплываясь в кольяхании сизого марева, полз буксирный пароход, волоча цепочку нефтянок. . .

Всё это, в общем, было хорошо и действовало успокаивающе. Но рассеять до конца тревогу, бередившую с ночи, не могло. Вчера вечером, по случаю субботы, сильно выпили, втроем: главбух Сизов, завхоз Набойщиков и он, Николай. Напились у Сизова, а в полночь вышли покуралесить: чего-то не хватало, хотелось сделать что-то еще. Пошли по спящей улице, на углу много лет стоял большой валун, до половины ушедший в землю, — понатужившись, выворотили его и выкатили на середину, загородив дорогу. Сегодня, идя купаться, Николай остановился и с удивлением посмотрел: как они справились с такой машиной? Трезвых для этого надо было бы десяток человек.

Своротив валун, вломились к рамщику Арсеньеву. Открыла жена — в нижней рубашке, она куталась в платок. Арсеньев, плечистый красавец-богатырь, со спутанными картинно-белокурыми кудрями, встал с постели и в одних подштаниках сел к столу.

— Маша, дай там, из шкапчика, поллитровку. И огурчиков, что ли. Видала, вся бюрократия напрянула. Что вас, шеллапутов, по ночам носит? — добродушно выговаривал он. Опять пили, проливая водку на стол, хрустели огурцами; Набойщиков, школьный друг Арсеньева, лез к нему с поцелуями, обнимал и слюнявил:

— Витя, друг! Ты один у меня разьединственный друг! Хочешь, я их всех к ногтю? Пускай на одну руку выходят! Ну, давай! Что, ослабило? Знаешь, что мне отец говорил? Пей, Митька, а разума не теряй! Не покоряйся, ни-ни, никому не покоряйся! И я не покорюсь! Мой отец бочар был, я почетный пролетарий! Ну, выходи на одну руку, поборемся!

— Заткнись, я тоже до ручки пролетел, последние штаны донашиваю, — засмеялся Арсеньев. Взяв Набойщикова подмышки, он легко приподнял его и снова посадил на табурет.

— Мне отец не так говорил, — старался перекричать Сизов. — Сенька, говорил отец, мелкой посудой не покупай, на мелкой прокупишься! Жарь четвертными! . .

Вышли часа в два ночи. Сизов повернул домой, а Набойщикова совсем развезло и его надо было тащить чуть не на себе. Он заплетался ногами, падал, — Николай, сам

пьяный, выбился с ним из сил. На улице не оставишь: могут обобратить, раздеть.

— Иди, пьяная образина, — вразумлял он собутыльщика. Набойщик встал крепче, глядя в лицо Николаю и не узнавая, забормотал:

— А ты кто такой? Ты что ко мне привязался? А? Тащит и тащит. Я тебя просил? Да ты кто, ответь? Ты фашист, факт фашист. А ты знаешь, кто я?

Николаю на минуту стало не по себе: глухая ночь — и этот вдруг потерявший рассудок человек. Не сошел он с ума?

— Ты дубина стоеросовая!

— Я гвардии старший лейтенант Набойщик, ордена Красной звезды и трех медалей кавалер, за родину пострадавший человек, вот я кто! А ты ко мне привязался. Отойди, спишь, провались! Видеть тебя не хочу! Ты фашист, эсэсовец, факт! А ну, дай, я твой номер погляжу, скинь рубашку...

— Ах ты, скотина несчастная! — вскипел Николай. Он бросился на Набойщика, двинул в грудь кулаком, чтобы не сопротивлялся, и принялся тереть ему уши.

Набойщик немного протрезвел. Он поплелся дальше, но потом опять остановился и уже укориженно посмотрел на Николая:

— А ты полегче. Знаешь, что о тебе в парторганизации говорили? За тобой следить надо, ты подозрительный. А ты меня тащишь. Куда ты меня тащишь? — и снова понес несуразицу.

Теперь протрезвел Николай. Что на уме у этого сумасшедшего? Что он знает о нем, Николае? Хотелось выведать, но ничего нельзя было добиться: Набойщик бормотал чушь. Николай довел его до дома, постучал в ставень, чтобы разбудить жену Набойщика, сунул пьяного в калитку и тоже поплелся домой. Торопиться было некуда: завтра воскресенье. В голове ералаш, но и сквозь него бредила тревога: что говорили о нем? Когда? Может быть, уже принято решение? Какое? . . .

Солнце пропекло спину — он перевернулся, прижался спиной к влажному песку. Пляж выдавался далеко к середине, к стрежню. С обрыва Волга могла казаться неподвижной — здесь вода неслась мимо, разбиваясь на десятки стремительных струй; кем-то пущенные на волю, они торопи-

лись наперегонки, сталкивались, сливались, снова растекались и обгоняли друг друга, расщепляемые невидимыми и непонятными препятствиями. Человек видит только то, что ухватывает сверху, — что он может понять в странной жизни этого мчащегося мимо него тела?

Привычно представилось: в затянутом черным илом глубоким ложе неостановимо льется, переливается стекляннозеленая масса. Войди — Волга податливо расступится, словно желая вобрать в себя; нырнешь и откроешь в воде глаза — дрожит бутылочная муть, её едва прощупывают солнечные руки; ниже — совсем тьма, не пускающая ближе тайна. Можешь напиться — ничего не убавится; набери в пригоршни — вода медузой прольется, выскользнет, оставит в дураках.

В детстве он думал, что Волга — живая. Зимой засыпает, как в берлоге медведь, покрывается толстой шкурой, но под ней живет. А с весны — вот она: течет и течет, льет свое нескончаемое, громадное, неповоротливое и гибкое тело, манит и смеется. Иногда ему казалось, что он видит необидно-насмешливое широкое, лоснящееся от силы, неги, довольства лицо Волги и на нем глаза с хитринкой: «Видишь, какая я? Что ты со мной сделаешь? Теку и теку...» И теперь, улыбаясь, Николай не хотел разрушать этого навороженого в детстве рекой чувства. Ну, да, живая: откуда-то от Осташкова через Ржев, Углич, Ярославль, Горький, Самару, Саратов влечет и влечет безостановочно свое мощное зачаровывающее тело, непонятно, почему и зачем, — непременно должен быть тайный, не дающийся людям смысл, — и так тысячи лет. И нет ей никакого дела до тех, что копошатся по её берегам, ездят по ней, в ней купаются: она всё перевидит, снесет и останется сама по себе. Её перегородили плотинами, вот тут, недалеко, строят еще одну и там сейчас нудная кутерьма стройки, — а она течет и течет, волочит и сквозь плотины и после них — всё такая же.

Те, что жили по её берегам тысячу, две тысячи лет назад, обязательно должны были почитать Волгу своим божеством. Нельзя представить иначе: она, живая, влияла на людей, проникала в них. Иногда Волга могла казаться доброй, в другое время — злой. Но то, что она, как это стало понятно ему, когда он вырос, вполне равнодушна к людям, ко всем их чувствам, к их вере, в том числе и к нему, столько

взявшему от неё и любившему её, оказывается, неразделенной любовью, было обидно и временами вызывало колючее чувство словно бы ревности. Смешно, конечно, но пусть остается так...

— Это ты, Петрович? Здорово, — Николай не заметил, как подошел Сизов. Неохотно приподнял голову: утопая тапочками в песке, приближались волосатые коричневые ноги; над ними выгоревшие синие трусики оттопыривались вздутым животом.

— Палит, спасу нет, — говорил Сизов, проходя. — Я сначала скупнусь. — Сбросив тапочки, он шлепнул по воде шаг, другой, и с размаху бросился в пучину, нырнул, — Николай смотрел с безотчетным любопытством, втайне ожидая, что он нырнул, а Волга не выпустит его. Но Сизов вышел из воды и ладонями смахивал с себя искры брызг.

— Несусветное дело, другую неделю жарит, — сказал он, садясь рядом. — Погорит всё к дьяволу. Я с утра третий раз купаюсь, а толку, как от козла молока. На гору влезешь — потом изойдешь. Дай-ка папироску, свои дома оставил. — У Сизова большая семья и он всегда папиросы «оставлял дома». Николай протянул портсигар и спички.

— Подходяще дернули вчера. Довел Набойщикова?

— Довел. Измучился с ним.

— Он заводной, — засмеялся Сизов. — Как выпьет, шуарной, а трезвый — овца. Закрутит — спасу нет, не удержишь! В прошлом году надрались с ним, на первое мая, идем мимо клуба, а там во дворе ребятки на кольцах, на трапециях балуются. Митька к ним: дай мировой номер покажу! Подтянулся, продел ноги в кольца, руки отпустил — и повис вниз головой. Ребятки смеются, а я хоть и пьяный, а соображаю: дело табак, зальет ему голову, кондрашка хватит! А сделать ничего не могу, сам на ногах не держусь. Спасибо ребятам шли, сняли. Показал мировой номер.

— Не мылят ему шею, за пьянку, по партийной линии?

— А она сама не пьет, линия? — ухмыльнулся Сизов. — Почтище нашего хлещет. Тут нельзя не пить, от тоски подохнешь. Дела настоящего нет, поэтому и пьют. И потом, слышишь? — он махнул в сторону лесотаски, — Как по-эхаешь с неделю, в субботу поллитровка сама в руки запросится.

Николай промолчал: углублять эту тему не хотелось. По виду открытый и добродушный, Сизов, похоже, был скольз-

ким человеком. У него, думалось Николаю, один закон, продиктованный житейской мудростью: приспособляйся. Сумеешь — проживешь.

— Почему они работают, в воскресенье?

— Ремонт спешный. На другой неделе обещали плиты поставить...

С берега резнул крик. Они обернулись. Пляж-остров отделялся мелким проливчиком, за ним, по берегу, в сторону лесотаски шли три девки и голосили. В платках, шалашиком надвинутых до бровей, чтобы не загорало лицо, девки веселыми и отчаянными голосами не пели, а кричали, длинно растягивая слога:

Я страдала, страдать буду,
А тебя я не забуду...

Приплясывая, задорно выкрикнули припев:

Я страдала, страданула,
С моста в речку сиганула!
Их-а, их-ха-ха,
Чем я девочка плоха!..

— Наши шалавы, — с удовлетворением заметил Сизов. — С завода. И скажи ты, в такую жару горло дерут! — Он привстал на колени, приложил ладони рупором ко рту, истошно крикнул: — Девки! Айда купаться!

Девки повернули головы — издалека лица не были видны, но угадывалось, что они смеялись. Шедшая ближе к воде приподняла юбку, обнажив чуть выше колен белые ноги, и крикнула в ответ непристойность, наверно намеренно неразборчиво, — раскаленный воздух растопил слова и вытянул их в одно мягкое — а-а-а! Взвизгнув, хватаясь друг за дружку, словно прячась одна за другую, девки, хохоча, побежали дальше.

— Ко-бы-лы! — захохотал и Сизов. — Им жеребцов надо, для остепенения. — Опускаясь на песок, с ноткой недоумения он продолжал: — Скажи на милость, откуда берется? Ты смотри, им сейчас от силы по двадцать лет. В войну они вот такими пацанками бегали, на картошке с мякиной сидели, лебеду жрали. И после войны хватили горячего до слез. Им бы дохлыми быть, — а их палкой не убьешь! На заводе глянешь — навалит на плечо стопку досок, и пошла, как ни в чем. Я, мужик, согнулся бы в три погибели, а им хоть бы хны. Со смены идут, еще песни горланят.

Подвернись под руку по пьяному делу — костей не соберешь. Под язык попади — тоже не легче: обреют за первый сорт! А ведь огребают-то всего по 300-400 целковых в месяц, на воде с хлебом сидят, а силища какая, а? Как подумаешь, сколько такой силушки у нас — ведь дел сколько можно бы наворотить! Ты как кумекаешь на этот счет?

— И наворачиваем: Волго-Дон построили, Волгу перегородаживают, скоро гидростанция будет. Чего тебе еще? — полутшутливо отозвался Николай.

— Строим, да, — протянул Сизов и замолчал. Николай глянул ему в лицо — только-что оживленное, оно поскучнело и словно хотело сказать: «а толку, как от козла молока», — одно из любимых присловий Сизова. «Потемки», — подумал Николай. — «Приспособленец, а поди ты, не весь в приспособление ушел».

— Что за человек Варварина, не знаешь случаев? — спросил он, меняя разговор.

Сизов понимающе засмеялся, взглянул опять плутовски:

— Ага, зацепило! Кого хочешь зацепит, царь баба! — покрутил он головой. — Леший её знает, её не поймешь, кто она такая. Но бедовая, и здешним не чета: столичная! Она с год, как приехала, и сразу весь район закрутила: и райком, и райисполком, и само МГБ под ней ходит! Голову начальству начисто заморочила: Мессалина районная! И до чего ловкая, или хитрая: из-за другой мужжики разодрались бы и её слопали — она выворачивается. Тут ничего не утаишь, — а она как глаза отводит! Смотри, берегись!

— Да нет, — смущенно откликнулся Николай. — Я просто посмотрел, что на здешних не похожа, когда на завод приезжала...

— Оно всегда просто, — прищурился Сизов. — А глядишь, уже на цугундере, влип. Да мое дело предупредить, как друга, а там как знаешь... Ну, хватит, — решил он. — Скупнись еще разок, и домой. Баба шею перепрызла: хлевушок надо борову починить, полломал, паскуда. — Он вскочил, бросился в воду, побарахтался, потом захватил тапочки и вприпрыжку побежал по жгучему песку к проливчику...

Николай не случайно спросил о Варваринной. Он уже не раз собирался спросить — и не решался. Сизов, пожалуй, прав: если не зацепило, то и мимо не прошло. А может, и зацепило...

Дней десять назад директор вызвал его — в кабинете сидел незнакомый мужчина с начальственным лицом и молодая женщина, с любопытством взглянувшая на Николая. Уже этот прямой и чуть насмешливый взгляд из-под умело подрисованных бровей, — у здешних женщин так не выходило, — хорошо запомнился. Надо было принести данные о выполнении плана и работе смен — женщина встала и сказала, что пойдет с Николаем, чтобы записать детально. Незнакомый человек недовольно покосился на неё.

Зайдя в комнатку, в которой работал Николай, она сказала низким горячим голосом:

— Сначала познакомимся: Варварина, — и посмотрела таким глубоким взглядом, словно хотела войти в душу. Защищаясь, Николай отвел глаза и осторожно пожал её небольшую мягкую руку с наманикюренными ногтями.

По тому, как она спрашивала и записывала, он сразу увидел, что план, выработка, процент выполнения норм и другие такого же порядка понятия для неё совсем не абракадабра — и удивился: очень уж не похожа была она на примелькавшихся женщин из районных учреждений, которых сводки, цифры, планы превращали в безликую принадлежность канцелярий. Говорила она без жеманства и приевшегося кокетства — тоже редкость для хорошенькой женщины в районе, — но за её деловым тоном чувствовалась словно насмешка. «Да, конечно, всё это важно и нужно, но в конце концов всё это суцая ерунда», — не говорила, но будто хотела сказать она. И это увеличивало её привлекательность, придавало ей что-то особое.

Особое показалось ему и в упорных живых глазах, в круглом свежем лице — румяное, полнокровное, оно вместе с тем не было слишком плотским, — даже пестрая кофточка и с бессознательно-расчитанной небрежностью накинутый на плечи шелковый платок были не такими, как у всех. Со смутно зарождавшимся волнением Николай отметил, что давно не встречал такую интересную женщину. А когда она вынула из лакированной сумочки небольшой портсигар, крохотную зажигалку и закурила, он чуть не присвистнул от изумления: все эти атрибуты, в соединении с легким изяществом движений, в последний раз он видел разве только в Берлине или в Москве.

Поблагодарив, она попрощалась — в зашарпанной комнате остался запах духов и пудры. Николай несколько минут сидел, еще видя её напротив, — и иногда видел до сих пор.

В тот же день он узнал: на заводе был секретарь райкома, Варварина — его близкая сотрудница. Она также — корреспондент ТАСС и помогает вести районную газету. Журналистка — тогда опытность понятна, но как она попала сюда?

— Мессалина, — вспомнил он Сизова, любившего при случае вернуть где-нибудь вычитанное словцо. Оно было неприятным. Но скорее верно: авантюристка, иначе чего бы её занесло в такую дыру? — досадливо думал Николай, упрямо разрушая то, что помимо воли вошло в душу. Это разрушение и было неприятным.

— Какая бы ни была, а хороша. . . Память подставила недавно прошедших по берегу девок, сравнила, — Николай усмехнулся. . . А впрочем, тоже часть общего, струйка одного потока, такого же огромного, мощного и непонятного, как вот эта вода, Волга. . . И неожиданно то неопределенное понятие, которое принято обозначать словом народ и которое ему не легко было вообразить в виде чего-то явного, осязаемого, вдруг представилось ему чуть ли не осязаемой громадной массой, сплетенной из тысяч тел, лиц, воль, желаний, непрерывно движущейся, куда-то текущей — в сущности также, так течет неостановимо Волга. В ней и недавно проходившие по берегу девки, и Варварина, и Сизов, и Набойщиков, и рабочие у лесотаски, и еще тысячи и тысячи людей, которых он встречал и не встречал, — все они слиты в неразделимое тело и живут одной, непонятной и неизвестно, зачем, жизнью, спаянные её беспокойным, сжигающим и возрождающим и до конца никогда непостижимым огнем. Можно ли разгадать это вечное течение? Да и надо ли? Все схемы, планы, программы, придумываемые людьми, которых называют политическими ли, общественными деятелями или учеными — в лучшем случае условное, беспомощное приближение, — нужны ли они? Огромное тело всё равно обтечет, минует любые программы, — зачем же вмешиваться в его течение?

— Опять волжское навождение, — улыбнулся Николай. Он закурил, перевернулся на живот, посмотрел на берег.

За проливчиком пологая равнинка берега щетинилась заборчиками и загородками из палок, жердей, ржавой проволоки и обрывков железа — рабочие и служащие завода разбивали тут свои огороды каждую весну. За огородами вставал высокий желтый обрыв, по нему вились спирали дорожек наверх, откуда глядели деревянные хатенки. Ближе всех новенький домик Сизова блестел еще не успевший потускнеть белизной строганных досок. Слева из-за обрыва закопченным столбом торчала заводская труба; направо уходила мешанина таких же хатенок, что и рядом с сизовским домом. Вдалеке от пристани широкой лентой поднимался взвоз; стояли два приземистых каменных склада. И в этом приплюснутом к земле городишке, в уныло пригнувшихся хатенках жило два десятка тысяч человек, которые не могли даже думать о том, как они живут и почему живут именно так: мысли были заняты тем, чтобы как-нибудь прожить. Но не надо было даже спрашивать, как они живут: убогий вид городка говорил сам за себя.

— Рассуждай, не рассуждай, а надо, — заключил Николай. — И дело не в рассуждениях, а в другом: хотим мы, или нет? Желание неостановимо, как и Волга. Чего же рассуждать? ..

В этот городок Николай приехал недавно. До него, после демобилизации из армии, жил в разных местах: был на Урале, в Донбассе, под Москвой, надолго нигде не задерживаясь. Знакомился с людьми, сходилась ближе, старался найти таких, на кого мог бы положиться, чтобы они также осторожно, незаметно продолжали его дело. Для того, чтобы — не переменить течение, а разгородить, освободить его от нелепых, по губительным программам нагородженных загородок. Когда это будет? Он не знал, да и никто не знал: когда ручейки сольются в поток. Их еще можно уничтожить, загораживать им путь, но они всё равно прорвутся: поток не остановишь. И этим кому-то надо заниматься: он, другой, это не меняет дела, важно, чтобы место не было пустым. Он считал, что одно из таких мест может заполнить он.

Дело требует много внимания, собранности: постоянно надо быть начеку. Кому можно доверять, кому нельзя? Люди, как ребусы, каждого надо разгадывать. И постоянно чувствуешь себя словно раздвоенным и отдаленным от

других — никак не можешь полностью слиться с другими, стать одним из всех. А это тяжело, всегда быть одному...

Сюда он приехал почти только для того, чтобы отдохнуть. И скорее лишь по привычке и здесь приглядывался к людям, осторожно говорил... Неужели проговорился, сказал лишнее? Проболтался пьяным с Сизовым, с Набойщиковым, с которыми часто приходилось пить: отказываться нельзя, сочтут чужим, задирющим нос. Не выдумал же Набойщиков? А вдруг — за ним тянется след? Он чувствовал себя так, как будто опять попал под чей-то пристальный взгляд, внимательно разглядывающий его, взгляд, от которого не скроешься и который липнет к нему, Николаю, куда бы он ни пошёл и чтобы ни делал. Это ощущение вызывало двойное чувство: оно было так явственно и отвратительно, что хотелось поежиться под невидимым липким взглядом, — а иногда было желание выпрямиться, встать во весь рост и, хотя взгляд и оставался невидимым, встретить его тоже дерзким взглядом, будто предлагая померяться силой...

— А, отшельник! — вдруг услышал он за спиной голос, заставивший его вздрогнуть и мгновенно повернуться. Первое, что он увидел — кроваво-красное пятно купального костюма, потемневшего от воды; крупные капли стекали по золотым от загара стройным ногам. Варварина насмешливо смотрела на Николая; волосы у нее были забраны под резиновый шлем — от этого она была похожа на девочку и казалась еще привлекательнее.

— Есть у вас спички? У меня кончились, растеря, не взяла целую коробку, — говорила она, садясь рядом. Николай смущенно отодвинулся, внезапно застыдившись своего тела: рядом с ней, мелькнула мысль, оно могло быть только безобразным. Доставая папиросы и спички, он даже слегка прикрыл брюками ноги.

— Почему же отшельник? — не сдаваясь, тоже насмешливо спросил он.

— А как же? Появился в городе новый человек, и никуда не показывается. Ни в кино его не видно, ни в саду. Сидит, как сыч, по вечерам на обрыве, Волгу караулит и звезды считает. Или с мужиками пьянствует. Что хочешь можно подумать.

— Осведомление у вас не плохо поставлено.

— Да уж, об этом не беспокойтесь. Мне без промедления докладывают. Приходят и плачутся в кофточку: очень вами недовольны. Женский пол недоволен.

— Может, и вы в том числе?

— Я не в счет: мне если что надо, я со дна достану и сама возьму. Меня просто интересует: что за нелюдим на горизонте появился? С чаем его пьют, или так едят?

Она говорила словно с вызовом, даже грубо, но грубость казалась нарочитой. И глаза, серые, прозрачные, за насмешкой будто скрывали что-то еще, что вызывало желание не препираться с ней, а говорить, как с другом, может быть, как с сестрой. Но она и волновала: сдерживаясь, Николай почти с трепетом смотрел на её плечи, чуть видный пушок на тонкой коже рук.

— Ни с чаем, ни так, — мягко улыбаясь, возразил он. — И я сюда не за девушками ухаживать приехал. Малость переработал, наверно, и решил в знакомых местах опять сил набраться. Я тут, недалеко, родился и вырос. Волга, можно сказать, кормилица моя. Я и прикатил, на Волгу по-смотреть, старое вспомнить.

— От скверны отмыться? — еще насмешливее спросила Варварина, прищурив глаза.

— Не знаю, от скверны, или от чего еще. Только, по слабости человеческой, потянуло, как к детству... А у вас такого не бывает? Или вы так уверены в себе?

— В чем я уверена, в чем нет, вам не к чему знать, — засмеялась она. Отвернувшись, Варварина смотрела на пароход, тяжело тащивший среди реки нефтянки.

— Может, это и нехорошо, да не претендую на непогрешимость, — продолжал Николай. — Но иногда нужно в одиночество забраться, чтобы, например, мысли в порядок привести, по полочкам их разложить. Да и бывает, что замотаешься, или когда надоест всё до чёртиков, хорошо вот так на солнышке пожариться, на песке поваляться, в Волге поплескаться. Этаким Адамом себя ощутить, до прехопадения: чтобы ни добра, ни зла не знать. В Волге как раз и нет ни добра, ни зла. Как по-вашему? — говорил он, чувствуя, что, может быть, с ней и надо так говорить, в ответ на её резкий, но наверно не настоящий тон.

Она оторвала взгляд от парохода, пристально посмотрела на Николая.

— Вон вы какой . . . философ. Ну, это ничего, случается . . . Слушайте, а это хорошо, что я вас встретила, — словно загораясь, заговорила она совсем другим тоном. — Я на днях думала о вас . . . Можете не воображать, ничего такого, о чем вы подумали. Ладно, ладно, молчите! — шутливо и настойчиво остановила она его, видя, что он хочет перебить. — Я не к тому: у меня есть к вам серьезное дело. Верно, без шуток . . . Можете сегодня вечером придти ко мне? Очень важное дело . . . Я пойду сейчас на свое место, не нужно, чтобы нас видели вместе. А вы вечером приходите, обязательно. Придете?

Николай удивился: что за дело? В её голосе и глазах была озабоченность, почти тревога. Он согласился.

— И очень хорошо. Знаете, где я живу? Лесная, двенадцать. Только вы лучше с другой стороны приходите, через сад, там можно, пролаз есть. Найдете. Как стемнеет, так и приходите, я встречу, или хозяйка. Жду, обязательно! — еще раз повторила она, поднимаясь, потом сверкнула глазами, засмеялась: — Вот и назначила свидание отшельнику! — и быстро, не оборачиваясь, пошла по песку у самой воды.

Николай лег и провожал её недоуменным взглядом. Тыфу ты, что за баба? В самом деле, что ли, Мессалина районная? Последние слова и взгляд прозили всё испортить. Капризная истеричка, избалованная легкими победами? Но откуда эта озабоченность, эта искренность и задушевность в голосе, когда она приглашала к себе? Они не могут лгать. Что она за человек?

Идти или не идти? — думал Николай. — Пообещал, неудобно не идти. Какая-нибудь ловушка? Но что за ловушка, если его во всякое время и в любом месте можно взять голыми руками? Выведать что-нибудь хочет? Чепуха, и это не то . . .

— Чудеса, — сказал он вслух, но сказал машинально. Чувствуя всё увеличивающееся волнение, он уже знал, не умом, а чем-то большим, что тут не чудо, а что-то другое, что непременно, обязательно заставит его пойти. Нет, вечером он обязательно пойдет . . .

Остаток дня прошел сумбурно. Придя с пляжа, Николай пообедал, не замечая, что ест, потом ходил по комнате из угла в угол, валялся на кровати, курил и не мог сосредото-

читаться на чем-нибудь. Он даже не думал о том, зачем позвала его Варварина. Перед глазами неотступно вставали смеющееся лицо, глаза, губы, округлые плечи, ноги, заставлявшие его стыдиться своих сухопарых не ног, а жердей, как сердясь, называл он свои ноги теперь. Видения эти вызвали сверлящую боль.

— А ведь я втюрился. И здорово же втюрился... Вот не было печали. Что же это будет? Не во время, совсем не во время... Да ведь как втюрился, — вздыхая, время от времени повторял он, думая о себе, как со стороны, сокрушаясь и урезонивая втюрившегося. Но делал это будто только для порядка, чтобы, может быть, лишь оправдать или объяснить свой конфуз. Не было смысла в урезонивании: он сознавал, что встреча на пляже, перевернувшая в нем всё, была только точкой, как бы поставленной в конце фразы, начатой еще в его комнатке в заводоуправлении. Встреча только взворошила то, что пряталось в глубине души, непонятное ему самому, — теперь тайное стало явным.

Думал он и о том, что ничего особенного нет: о его волнении можно прочесть в тысяче романов. Шаблон, повторяющийся вечно. Но и эта мысль не успокаивала и не давала облегчения; наоборот, она скорее возмущала. Николай подумал, что нельзя не урезонивать себя, не протестовать против своего чувства: если его просто принять, подчиниться ему без борьбы — тогда получится по-скотски. Отбросить, заглушить чувство, на что, может быть, и хватило бы силы, тоже казалось противоестественным. В этом бореении с самим собой и заключался тот смысл, которого, будто бы, не было в урезонивании, — думал Николай. Но и это препарирование своего чувства не принесло облегчения. И оставалось одно: мучиться и подгонять время, словно застрявшее в часах, которые невыносимо медленно отсчитывали минуты и часы.

Он вышел из дома, как только начало смеркаться. Стараюсь идти тише, пришёл на обрыв, откуда открывался вид на Волгу и далекое Заволжье. Об этом обрыве сегодня упоминала Варварина. «Заметили, здесь не укроешься», — подумал Николай, закуривая папиросу и садясь на камень, на котором привык сидеть. Но долго не усидел: бросил папиросу и опять пошёл бродить по улицам.

Засветло прошёл и по Лесной, чтобы увидеть нужный номер. Им оказался небольшой старенький дом с мезонином, почти заслоненный густой зеленью сирени и акаций, росших в ветхой ограде палисадника. Мельком взглянув и запомнив, Николай прошёл мимо.

Вернулся он на Лесную, когда уже совсем стемнело. В доме с мезонином ни в одном окне не было и проблеска света. Сердце у него сжалось. «Не посмеялась она? Никого же нет, никто не ждет». Эта мысль была настолько непереносима, что он чуть не бегом бросился в боковую улицу, чтобы пройти на зады.

Направо, он знал, начиналось запущенное кладбище, с разрушенными памятниками, без крестов: кресты давно растащили на дрова. Город тут кончался, стояли только отдельные домики, сейчас спрятанные в темноте. И тут же, левее, тянулись плетни дворов, воротами выходявших на Лесную.

Он легко нашел полуразгороженный кусок плетня-пролаз, с бьющимся сердцем перебрался в темь сада. Неровными черными куполами поднимались деревья — ниже ничего не было видно и он не знал, куда идти, куда поставить ногу. И тихо было до того, что скрип сверчка где-то в глубине сада казался оглушительным.

— Еще любовных приключений мне не хватало, — прошептал Николай, опять стараясь успокоить себя. — Будто мне восемнадцать лет, по чужим садам шастаю...

Он сделал несколько шагов наугад — впереди что-то зашуршало, из темноты вышла низенькая старушка и едва слышно прошепестела:

— Вы к Верочке? Пойдемте, проведу, — взяла за рукав и повела.

В душных сенях порела тусклая лампочка — после темноты её свет был ослепительным. Направо уходила наверх узкая лесенка — старушка подняла голову:

— Верочка, к тебе.

— Пусть сюда идет! Спасибо, тетечка, — послышался голос Варваринной.

Ступеньки скрипели; хватаясь за перила, Николай взобрался наверх. Откинув занавеску открытой двери, Варварина ждала его.

— Нашли? Вот и чудно! Входите, сюда, — попрежнему насмешливо приглашала она. — Вы просто миляга: та-

кой послушный, исполнительный. А меня извиняйте: я совсем по-домашнему. Жара, не вынести. Присаживайтесь.

Николай искоса взглянул — она была в тонком не то халате, не то капоте, желтом с красным, свободно висевшем почти до пола. В глазах её почудился такой блеск, что впору было зажмуриться и не глядеть. Чтобы не растеряться совсем, он поскорее сел на диван, закурил и принялся разглядывать комнату.

— Вот так, посидите пайнкой, а я пойду пойла принесу, — усмехнулась Вера и вышла.

Николай плохо запомнил комнату. Широкий старый диван, на котором он сидел; у изголовья маленький столик. Напротив — застланная белым кровать, за ней, кажется, чемоданы. У занавешенного окна на улицу стол с трудной книг; за дверью длинная занавеска, за ней, наверно, вешалка с одеждой. Чисто, пахнет духами, пудрой и той духотой, которая бывает только в деревянных домах, под самой крышей, — не помогало и открытое окно в сад, за тюлевой занавеской. На столике у дивана — лампа под матерчатым абажуром; под низким потолком другая, тоже с самодельным абажурчиком. Николай хотел погасить верхний свет, чтобы не так было видно, но не решился.

Это сделала Вера. Она скоро вернулась, с большим глиняным кувшином и стаканами в руках. Поставив их на столик, выключила верхнюю лампочку:

— Не возражаете? Так уютнее. Видите, как живу? — Вера села рядом, налила стаканы. — Не до жиру, мала комната, да ничего. Очень уж я не люблю в коммунальных квартирах жить: надоело. Раз в глуши, так чтобы совсем по-деревенски было, со сверчками, с котом, и чтобы я одна была. Одно плохо: как на чердаке, летом не продохнешь. Я уж пивом спасаюсь: пью, как верблюды. Холодненькое, со льда, пейте... Хотя, может, чего покрепче дать? Найдется.

Николай отказался.

— Ну, была бы честь предложена. А пивом по-русски чокаться не полагается. Без чоканья: ваше здоровье! Ничего пивцо; я в Германии была, мне уши продудели: немецкое пиво! Это да, это класс! И ничего подобного: бурда кислая. Это куда лучше...

Они выпили по стакану, по второму — Вера продолжала болтать о каких-то пустяках. Николай слушал, не вникая

в то, что она говорит. Он с тревогой прислушивался к себе: почему он, собственно, здесь? Только потому, что Вера ему нравится — до того, что он способен забыть об всем; только потому, что он вторгнулся до потери самообладания? Он пил, курил, и чувствовал себя так, словно сидит у какого-то провала: каждый миг он может оборваться в него, как в зияющую пустоту. И вместе с тем помнил: она же хотела сказать о чем-то важном, — почему она об этом важном не говорит? Не может же быть, чтобы она солгала; еще может открыться что-то другое, такое, перед чем всё его волнение, этот дурманящий любовный бред окажется глупой, ничего не стоящей и стыдной чепухой, от которой потом придется мучительно краснеть перед самим собой.

— Вы что же молчите, милый мой? — насмешливо спросила Вера. — Это не фэсон: пришел и молчит. Я стараюсь, развлекаю, а он — ноль внимания! И не смотрит даже! А ну, поднимите голову, удойте взглядом! Посмотрите же на меня! — смеясь, но тоном почти приказа настаивала Вера.

Она протянула к нему руку — от резкого движения халат открылся и обнажил круглое колено. Николай скользнул по нему взглядом — колено обожгло. Несколько секунд они смотрели в глаза друг другу, не отрываясь, — глаза Веры были еще лучистее, в них сверкал вызов, перед которым нельзя было устоять...

И всё то волнение и тревога, которыми жил Николай до полудня, до встречи с Верой, и особенно после этой встречи, исчезли вдруг, так что объяснить этого было нельзя. Николай лежал, откинув голову на валик дивана, курил, и смутно удивлялся откуда-то пришедшему чувству прозрачной ясности, легкости и покоя, овладевшему им. Вера лежала рядом, привалившись; халат у нее был распахнут, но это несколько не смущало и не казалось странным и неестественным. Она лишь вдруг стала ему так дорога, что, подумал Николай, если бы это лежащее на его руке тело укололи булавкой, ему было бы больнее, чем ей самой.

Главное было, однако, не в этом, а в том, что она была теперь им самим и поэтому между ним и ею не оказывалось абсолютно ничего, что заставляло бы настораживаться, чувствовать свое отдаление, не доверять. Некому было не доверять, потому что рядом лежал тоже он. И вероятно по-

этому он ощущал себя теперь в этой комнатке другим человеком, к которому неожиданно пришло то, чего так не хватало ему в последние годы: ощущение высшей простоты, очищения от всего наносного, что мешает жить. Он подумал, что сейчас он в самом деле, как Адам до грехопадения, чист и телом и душой, хотя грехопадение и совершилось. Но оно ничему не мешало, не могло замутить чувства драгоценной чистоты и ясности — о грехопадении можно было не думать. И вообще не надо было думать: нужно было только лежать, бережно храня владевшее им сейчас до того драгоценное чувство, что его страшно было расплескать...

Они долго лежали молча, с полузакрытыми глазами. Потом Вера приподнялась, посмотрела на него довольным, полным любовной благодарности взглядом, улыбнулась:

— Вот и соблазнила я отшельника. — Теперь в её насмешке не было вызова: Вера словно шутила и над ним, и над собой.

— Может, мы друг друга соблазнили? Оба виноваты? — улыбнулся и Николай.

— Нет, моя вина больше. А знаешь, зачем я это сделала?

— Ну, об этом можешь не говорить...

— Нет, я все-таки скажу. Ты не бойся, тебе не обидно. Я, знаешь, давно приглядываюсь к тебе, издали: что за гусь? Человек, как человек, а иногда увидишь издали, почему-то думаешь: нет, тут что-то не то. Что, не знаю, и почему это, тоже не знаю, а не то! Видишь, какая ты таинственная личность? И заметь, об этом не я одна подумала... Да об этом потом, после! — отмахнулась она. — Наверно, таинственностью этой ты меня и взял. Приворожил, — засмеялась Вера и потерлась лицом о его прудь.

— А ты как в этот город попала? — спросил Николай.

— Долго рассказывать. Да и скучно. Ты погоди, я может и об этом расскажу. Я сама не знаю, о чем мне говорить хочется, а мне много много, ай, как много тебе сказать нужно! Я, знаешь, давным-давно так не говорила, как мне сейчас, с тобой, говорить хочется. Может, с той самой поры, когда я еще девчонкой, с подружками, в школу бегала. Тогда всё, что думаешь, на языке было — потом научилась. Я и сейчас не очень-то кроюсь, не люблю сдерживаться, да ведь нет таких людей, с которыми я хотела бы по-другому,

как сама с собой говорить! А с тобой — могу. Не знаю, почему, а могу. Но только, если бы у нас до самого последнего не дошло — не смогла бы. Сидели бы мы с тобой, как сычи, дули пиво, и всё-таки были бы разными, отдельными. А сейчас — я с тобой всё могу, обо всем тебе могу сказать. Видишь, какая я корыстница? Я же из корысти так сделала! Только ты не обижайся: с тобой ведь? Ты цени, — тихо смеялась она и теребила его волосы.

Николай слушал, чувствуя, что в ней словно открывается какой-то другой человек, которого он совсем не знал. Он не раз думал, что каждое раскрытие перед тобой человека, наверно, — самое важное, значительное в жизни, — а может быть, и самое жуткое. Но этого никогда не надо бояться. И он слушал Веру, будто готовый ко всему, к любой неожиданности. А то, что в её словах и в новом тоне голоса ему слышалась скрытая боль, и то, что Вера хотела эту боль доверить, передать ему, наполняло его тоже радостной болью, за нее, Веру, дорожке которой сейчас у него не было ничего и никого.

— Я ведь не совсем нормальная, — улыбаясь, неторопливо, словно размышляя, говорила Вера. — Надо бы жить, как все, много не думая, а у меня не выходит. Хотя, как сказать: устраиваться я очень умею, и посмотри на меня со стороны: о чем это я раздумываю? Да ни о чем. Живу, пользуюсь жизнью, и всё тут. Плыву по течению, да еще и выбираю, где полегче плыть. А это наверно только сверху так. Иногда приду домой, или отвлекусь на минутку — и как очнусь: что же это мы делаем?

Она села, запахнула халат, обхватила поднятые к подбородку колени, закурила и говорила, словно смотря в себя.

— Ты на пляже о детстве говорил. Я как вспомню себя девчонкой, на стенку готова лезть. Ах, какая же я дуреха была! Вспомнить смешно. Поискать такую, а — хорошая дуреха. До того хорошая, что я до слез умилиться могу, когда вспомню. Да и все-то мы такими же дурными были. Ты же тоже, наверно, помнишь: время, вперед! Жизнь начинается завтра! Так ведь и казалось: еще чуть, еще немного — и такое откроется, что дух захватит! Разум кружится и мы ведь сломая голову готовы были мчаться: не переводя дыхания! Мелочи там — да кто на них внимание обращал! Тут — небо в алмазах, и не оглянешь его... Глупо, а ведь как хо-

рошо! Как верилось! А потом... потом дуреха с неба прямиком в грязную, вонючую лужу плюхнулась... бр-р!..

Она помолчала, ткнула окурок в пепельницу, отхлебнула пива.

— Когда война началась, мне восемнадцать не было. Только в институт собралась, в медицинский. Тоже по глупости: какой из меня врач? Да тогда не думалось, взбрело в голову: лечить, помогать людям, чтобы все здоровыми, счастливыми были! Захлестнуло — в медицинский поскокала. А война началась — я всякое соображение потеряла. В первый день помчалась, в комсомол, в райвоенкомат: хочу на войну! Фашистов бить; кем хотите — сестрой, разведчиком, хоть солдатом, лишь бы драться, врага бить! Но сразу не взяли: в какие дырки ни совалась, подожди, поворят, успеешь, сначала подучись. Я на курсы медсестер, в институте организовали, за немецкий язык взялась, гоню во все силы, а сама как в огне: на войну! Матери у меня нет, давно умерла, а отец большая фигура в ЦК, — как узнал, чуть на цепь не посадил: сбесилась? Да меня не очень посадишь: а сами о чем кричите? Бунт подняла, он так и эвакуировался из Москвы без меня: сбежала в последний день...

— В армию всё-таки только в сорок втором попала. Кончили курс медсестер, нас отправили в Калинин. А там на фронт. Попала я в полевой госпиталь. И как вошла первый раз в палатку — так обо всем забыла. Я и сейчас этого без дрожи вспомнить не могу. Определили меня в операционную — увидела в ведре первую отрезанную ногу, за мной сзади будто занавес опустился. Или во мне что оборвалось, только вижу, как люди мучаются — и больше для меня ничего не было, всё в этих палатках. Когда училась, я представляла себе, как это будет, да разве может быть сравнение, когда живого человека с распоротым животом бинтуешь? Смотришь ему в глаза, видишь, как они мутнеют, закатываются, — да я бы свои ему отдала, только бы он не умирал! А они один за другим мрут. И ничего нельзя сделать, не поможешь, вот в чем отчаяние! Я чуть с ума не сошла. Страшно это, когда столько умирает, и не своей ведь смертью, а ты почти ничего не можешь...

— Четыре месяца в госпитале пробыла — и всё это время меня будто не было. Я бы даже не могла сказать, что я еще делала, спала когда, отдыхала: будто я из палаток и

не выходила. Весь свет на них сошелся и ничего больше не было... А тут выяснили, что я немецкий знаю, как раз у них какой-то набор был, переводчиков не хватало — в штаб меня. Я сначала даже не поняла: куда, зачем? Какой штаб, раз я медсестра и тут столько людей мучается? А меня сажают в особый отдел, при опросе пленных переводчицей, и еще письма, документы захваченные переводить, — я как сообразила, скандал подняла: с ума сошли, тут письма, а там люди? К чёрту ваши письма, назад хочу, на фронт! Да с ними не очень повоюешь: приказ. Так на меня первый намордник надели. А потом — недели не прошло, как меня мой начальник-прохвост, майор, подпоил и — изнасиловал...

— С этого мое настоящее ученье пошло. Тоже на всю жизнь не забуду: очнулась — как с того света свалилась. Ничего не пойму: что же это? Для чего я на войну пошла? И до того гадко было, что хоть на первом крюке вешайся... А майор, на другой день, опять ко мне, и как ни в чем ни бывало: «Будь моей фронтовой подружкой!» Я схватила пистолет: еще шаг — стреляю! А он, идиот, не понимает, думает, шучу, подходит — я как бабахну! Хорошо, что волновалась, только руку ему оцарапала. Он побледнел, затрясся — в добавок трусом оказался. На выстрел бежались, — нечаянно, говорю, товарищ майор мне показывал, как пистолет заряжать, а я выпалила. Поверили — не поверили, а сошло.

— Майор этот от нас скоро перевелся. Сам попросился: дошло, наверно, что не шучу. А может быть, стыдно стало. И хорошо сделал: я его больше видеть не могла. Я после этого во все глаза глядела: будто опять в первый раз на жизнь пляжу. День работаю, а ночью не сплю, думаю, о том, что вижу, замечаю — и чуть не заболела. Только теперь наш штаб разглядела: пьянство, хамство, трусость; каждый норовит в тылу остаться, на фронт ехать — сто отговорок найдет. Подхалимство, доносы, подсиживание — вот так война! Там герои, защитники родины жизни свои отдают, кровь, смерть на передовой, а у нас? Ордена хватают, за то, что другие мрут? Полон штаб девок: медсестры, связистки, машинистки; мужичье за ними, как кобели бегают. Ну, могу понять: война, может, завтра убьют, а каждому жить хочется, да ведь нашим-то не умирать? Они за

сто километров от фронта спасаются. А чуть не у каждого — фронтовая жена, подруга: не штаб, бордель развели! Посмотрю на девчат, плакать хочется: сколько из них, по моему, как бабочки на огонь на войну полетели? Мы же не о себе думали, а тут — постельная принадлежность! Вспоминать тошно...

Вера отхлебнула пива, закурила новую папиросу. Николай слушал, следя за её меняющимся лицом и то вспыхивающими, то гаснущими глазами. По ним он видел всё, что она рассказывала — и волновался вместе с ней.

— Мое положение совсем аховое было. Молодая, смазливая — за мной очередью ходили. Вижу, не спасись, а бежать некуда. Ну, хорошо, одного, другого отошью, а там ведь и силы не хватит. Что делать? Мутит меня, свет не мил, а не отобьешься: меня как в угол прижали. Еще день, еще неделя, а потом? На манер первого раза? И с отчаяния я решила: ах, так? Самы свиньи и хотите, чтобы и я свиньей была? Ладно, буду, только — держитесь! Посмотрим, чья возьмет. И пустилась я во все тяжкие. Пить научилась, в первые дни чуть не каждую ночь у меня хахаль новый, — да и закружила же их так, что одна останусь, вместо плача от злости смеюсь: они чуть не перестрелялись, мои уха-жоры, друг на друга бесятся. До того дошло, что меня полковник вызвал и нотацию прочел: не мутит мне ребят. А сам, вижу, не лучше их на меня смотрит. — Я, что ли, виновата? — говорю ему. Они сами лезут, их и осаживайте...

— И опять у меня кризис. Нет, думаю, это я глупо делаю. Ведь я совсем испакоцусь, на мне места чистого не останется. И кому я угрожу? Сама же в накладе. Да к тому времени я уже многому научилась, разобралась, что к чему: ученье первоклассное. И рассудила я, как умненькая девочка: от всех всё равно не отобьюсь. Да и сохнуть незачем. Надо хитро поступать, с умом. Надо с таким жить, какой поглавнее, тогда те, кто поменьше, сами отстанут. Можно и по-другому комбинировать: делай вид, что с одним живешь, а сама и его обманывай. И так делала: со всеми кокетничала, а так, что никто не поймет, с кем я всерьез живу? Ходят, облизываются, а схватить побаиваются: поди, разбери, вдруг себе дорожке выйдет?

— Так я высшую школу прошла. Такому искусству обхождения выучилась, какому редкая наверно выучивается. У меня на войне как две войны было: одна общая, а другая своя. Я на две жизни жила: одна в работе, во всем ужасе, в мученьях людских, а другая — во мне самой. Сначала думала, что не вынесу, а потом ничего, привыкла. Работы много, я еще корреспонденткой сделалась: в Берлине, в Вене, в Париже побывала, много повидала. И хотя ни разу раненой не была, а из войны так и вернулась, как на две половинки разрезанная. Одна — трезвая, ловкая, рассудительная, себе на уме — пройдоха, одним словом. А другая — другую я сама не пойму...

Вера замолчала. Выждав, Николай осторожно спросил:

— Но неужели ты за всю войну ни одного хорошего человека не встретила? Не может же этого быть?

— Были, — помолчав, ответила Вера. — Если бы не было, может, и не выдержала бы, удавилась. Да это всё равно: что из того, что есть хорошие, есть плохие? Плохого всё равно больше. Не знаю, как сказать, а только я тогда так настроилась, что никакой хороший повернуть меня не мог... Я вот иногда думаю: ну, что во всем этом особенно-го? Да ничего. Была тупая восторженная девчонка, потом ткнулась носом в настоящую жизнь, наставила себе синяков, вои и всё. Подумаешь, трагедия! Выучилась, от глупости избавилась, стала трезво смотреть, приспособилась — чего еще? И живи, и никаких трагедий нет.

— А зачем тогда думаешь об этом? — возразил Николай.

— А я знаю? — улыбнулась Вера. — Я вернулась после войны в Москву, прожила три года, и так и не решила: чего мне не хватает? Такое у меня чувство, будто я, да и все мы, потеряли что-то, а что? Никак себя не найду. И смеюсь над собой, злюсь: чего тебе еще нужно, дура ты этакая? А не помогает: грызет, шилит внутри... Если бы по-старому могла я не присматриваться, может быть, ничего бы и не замечала и довольна была бы, а то я работаю, даже увлекаюсь, а вторая половина моя смотрит и шилит: ты что делаешь? Не видишь разве? Не видишь, что ты не человек, а манекен? Везде тебе дан приказ, инструкция, расписание и ты — десятая спица в колеснице. А крупом убожество, хамство, грубость, начальство над тобой: попробуй, шагни чуть по-своему,

сейчас же тебя пришибают, в физиономию наплюют, будто ты тварь последняя. И выходит, что не живешь ты, а только ловчишь. И противно становится. Пожила я в Москве — не могу! Решила: к чёрту всё, поеду в самую глушь! Догадывалась, что и тут не слаще, да хоть место сменить. Махнула сюда, — а что выгадала? И тут то же. только еще больше наружку выпирает и сильнее разит. Теперь дальше бежать?

— Что мы, зайцы, чтобы бегать? — усмехнулся Николай.

— Зайцы, не зайцы, а не выдержишь, — вздохнула Вера. — Нос кверху дерешь, а на душе кошки скребут. И ведь ты смотри: по-трезвому всё можно рассудить: ну, да, нет трагедии, потому что жизнь так уж устроена и мы от самих себя всё равно никуда не денемся. Да, думаешь, устраивает меня такое объяснение? Легче мне от него? Ты вот скажи: можно человека переделать, чтобы он лучше стал?

Николай улыбнулся:

— По-моему, нельзя. Тогда человека убьешь, или искалечишь. Или получится не человек, а какая-нибудь усовершенствованная скотина. Он сам должен переделываться.

— Ну, вот, видишь, и ты так же думаешь. Раз так, то и думать не о чем. Нельзя, значит, и ничего нельзя...

— Поймай, Вера, — перебил Николай. — Почему нельзя? Другое можно: можно так стараться делать, чтобы наша вторая половина не брала верх над первой, лучшей. В этом и секрет. У нас что получилось: на словах мы о хорошем расписываем, а на деле только низменные инстинкты развязываем. И этим всё лучшее уничтожаем. У нас наверху подлость, насилие, ненависть, а всё лучшее вниз загнано. Переместить наоборт — всё на свои места встанет.

Вера покачала головой:

— Не знаю... Ты смотри: у меня в райкоме секретари, инструктора каждый день перед глазами, я их насквозь вижу. Да и все районное начальство у меня на виду. Народ аховый: без сантиментов, трезвость одна. Жалости от них не жди, если что лично их касается. Приказ получают — до капли выжмут из людей, без пощады: иначе самим головы не сносить. А при случае разговорится по-человечески, о семье, да хоть о погоде — и у тебя сердце перевернется: ведь не плохой же человек перед тобой, как и все, и совсем не изверг! Что его извергом заставляет быть? Власть? Он сам власть,

хоть бы и маленькая. Зачем он этой властью сделался, кто его заставлял? Наверх карабкался? А что в этом плохого? Каждый ищет для себя лучше, и он искал. Можешь ему запретить?

— Зачем? Тогда каждому сильному надо крылья подрезать. Пусть себе лезет навверх, только — без подлости, в этом и вся суть вопроса. Каждый может развивать свои способности, добиваться для себя лучшего, только не за счет подлости, в этом и дело.

— А если навверх людей эгоизм, основа подлости, гонит, тогда что? — упрямо возразила Вера. Николай решительно возразил:

— Это не верно. Рост, развитие, не из одного эгоизма берутся: это закон жизни. И подчиняться ему можно либо по-человечески, либо по-звериному, затаптывая в грязь других — в этом разница. И учти, что не все к власти стремятся: для большинства развитие совсем не в этом и им власть, как мы её себе представляем, совсем не нужна.

— И этого не знаю, не уверена, — не согласилась Вера. — Я всегда хочу, чтобы мне хорошо было, так же и любой другой. А всем не может быть хорошо. Значит, кому-то будет хорошо — за счет других.

— Ты хочешь, чтобы тебе хорошо было, а когда видишь, что другим плохо, и сама себя плохо чувствуешь. Тогда и тебе хорошо не будет, как бы ты хорошо ни жила. Что на это скажешь?

Вера засмеялась:

— Поймал меня? — Дурачась, она взъерошила ему волосы. — И ничего не поймал: я же говорю, что я как оборотень, из двух половинок, и одна половинка другой иной раз по физиономии надавала бы! Вот, смотри, я же грязная, развратная: ты у меня в первый раз, а я с тобой не могла без этого поговорить! А разве правда, что я развратная? Ну, скажи, правда, если я сама себя совсем другой чувствую?

Николай, шутя, закрыл ей рот рукой:

— Ну, теперь самобичевание началось! И самооправдание... Ты лучше помолчи на этот счет. Ты сама себе первый судья.

— Нет, не шутя, серьезно? — настаивала Вера.

— Это и есть серьезно. Я, Вера, так на вещи смотрю: надо к ним реально подходить. Верно, много в нас плохого.

И пусть: может быть, когда-нибудь и исправимся. Это долгий процесс. Если же скорее захочешь и насильно будешь исправлять — только покалечишь нас. Но есть в людях и хорошего не мало — и оно может всё плохое перекрыть. Как у тебя, например. Я не шучу: раз сама себя чистой чувствуешь и то, что плохим считаешь, не со зла делаешь и не во зло другим — тогда и нет ничего плохого. И ты тогда сама себе первый судья: совесть твоя.

— Какой ты добрый, — шутливо протянула Вера. Николай улыбнулся:

— Добрый, не добрый, это еще вопрос. А вот что сейчас нужно ко всему проще, снисходительнее, что ли, подходить, в этом я убежден. Когда всё так перепуталось, как теперь, что и не поймешь, где добро, где зло, лучше уж всё добром считать, кроме одного: прямого насилия над людьми...

— А остальное всё хорошо? — насмешливо и радостно воскликнула Вера. — Я же и говорю, что ты добрый!..

Они лежали, тесно прижавшись друг к другу. Николай гладил её рассыпавшиеся волосы, думая о том, что образ, который носил он в себе до этого вечера, — образ возбуждавшей воображение вызывающей, наверно капризной и чем-то такой особой красавицы, — давно и бесследно исчез, как будто его никогда и не было. Рядом была тоже красивая, часть его самого, женщина, мучающаяся той же болью, что и миллионы и миллионы других людей, непрестанно и неутомимо тянущихся к неизменному ускользающему счастью и никогда не достигающих его. Ему казалось, что он не только умом, но и всей кожей, всем телом, до кончиков пальцев, чувствует его. Но это чувство не вызывало боли, раздражения или возмущения, наоборот, странным образом оно будто бы даже успокаивало и давало какое-то утешение. И ему хотелось только лежать, растворившись в ощущении покоя, ни о чем не думая, сберегая редкое ощущение небытия в бытии — страшно было подумать даже о том, чтобы посмотреть на часы. Ему казалось, что и у Веры такое же чувство: притихнув, она лежала, не шевелясь, положив голову ему на плечо...

Где-то совсем близко, будто сразу за стеной, спросонья хлопотал крыльями петух и заливисто выкрикнул первый в эту ночь клич. Тотчас же ему отозвались петушиные го-

лоса, один, второй, третий — несколько минут перекликались они, вдруг взворошив тишину и словно разрушив стены, отделявшие мир Веры и Николая и сливая его со всем, что было за ним.

— Проклятый кочет! — не открывая глаз, пробормотал Николай. — В суп его, чтобы не тревожил... Останови время, Вера...

Вера приподнялась, положила ему руку на грудь.

— Не остановишь, милый... Как его остановишь? Да и не нужно...

Она говорила опять каким-то другим, упавшим голосом. Он открыл глаза, тревожно посмотрел на неё.

— Я лежала сейчас, и думала: всё это слова, теория, а на деле совсем всё по-другому. Вот, хорошо с тобой, а ведь не надо было этого делать. Только хуже будет, тяжелей, и тебе, и мне, — вздохнула Вера.

— Ты о чем?

— Да о том, что встретились мы с тобой, а не надо было так встречаться. Ведь это наша последняя встреча с тобой. Видишь, я так говорю, будто тебя век знаю, а встреча наша всего первая. И последняя...

— В чем дело, Вера?

— Постой, скажу сейчас. Я, видишь, не знала тебя, не понимала. Неоткуда понимать было. А теперь вижу, догадываюсь, что ты делаешь. И потому тебе уезжать надо отсюда. Как можно скорей...

Николай тоже поднялся, взял её за руку.

— Помнишь, я тебе днем сказала, что мне надо с тобой серьезно поговорить? Ну, вот, слушай. Позавчера к нам, из вашей парторганизации, донос на тебя принесли. Будто ты агитацию против власти ведешь. Что за это будет — сам знаешь. Секретарь уехал, я задержала. Еще дня два-три задержу. Увидела тебя сегодня на пляже, решила — скажу... Сумеешь завтра-послезавтра уехать?

Она говорила, как через силу, и пока выдавливала слова, Николай слушая и еще не понимая, не желая понимать, с каждым словом всё сильнее знал: всё рушилось и кончилось. Это было ясно до того, и до того было ненужно и нелепо, что он чуть не поднял руку и не сказал: не надо, замолчи! Вместо этого он машинально кивнул головой и ответил:

— Сумею . . .

— Ну, и хорошо, и отлично . . . А ты как думаешь, тебя ведь не отпустят за два дня . . . Как с документами сделаешь?

— А? Что ты говоришь? — очнулся Николай.

— Как с документами у тебя? Как поедешь?

Николай сел, потер рукой лоб, взял папиросу, закурил. То, что спрашивала Вера, тоже было не нужно. Это не имело теперь ни малейшего значения. Шевельнулась даже тень досады: она еще может спрашивать о документах! Тотчас же мелькнула мысль: она хочет отвлечь от главного, чтобы было легче, — опять волна горячий благодарности прилила к сердцу.

— Ты что же молчишь? — с горечью спросила Вера. — Как ты уволишься? Как поедешь?

— Это чепуха, Вера. Трудовая книжка у меня. Печать у делопроизводителя в столе валяется, взять ничего не стоит. Приложу, а потом напишу, что по собственному желанию ушел. Это чепуха. Со снятием с учета в военкомате ничего не выйдет, потом как-нибудь устрою. Не в первый раз. Завтра к вечеру, или послезавтра, всё будет в порядке, уеду . . . Как же это так, Вера? . . .

Сознание, где-то поверху, работало отчетливо и могло всё понимать. А глубже неслись обрывки мыслей, чувств и всё было в смятении. Он мог бы крикнуть: почему? Где же справедливость? . . . Только полчаса назад сам говорил, что всё и плохое хорошо — это плохое казалось невозможным перенести. Он не хочет уезжать, расставаться сейчас с Верой — выше его сил. И зачем? Не сознанием, а всей душой и всем телом он был против этого. И не понимал, почему это нужно. А рассудком знал, что необходимо, что иначе нельзя. . . Где-то были еще долг, обязательства перед самим собой и перед другой, большой, всеобъемлющей верой — они отодвинулись куда-то далеко на задний план, но всё равно они были. И хотя казалось, что дело не в них, он знал: оставаться нельзя и это непреодолимо, ему придется уезжать, как бы он ни протестовал, как бы ни было это против его воли. Воля тут не при чем: надо. И это надо не перешагнешь. Может быть именно сознание этого жгло его, чуть не заставляло кричать. Он лежал, закрыв глаза и стиснув зубы.

Пришла банальная мысль: ну, да, всегда так: не имеешь, не теряешь. Найдешь — потеряешь. И обязательно сейчас надо было случиться этому! Значит, всё-таки проговорился, — в сознании промелькнул Набойщиков, ночной разговор с ним. . . А, да что теперь об этом думать! Надо, значит, надо. И всё тут . . .

Он открыл глаза — Вера лежала тоже с закрытыми глазами; лицо у нее было горестным.

— Ты о чем думаешь, Вера?

Вера открыла глаза:

— Я думаю, вот так, придет хорошее — и сразу уйдет. И опять его нет. Я так не хочу, чтобы ты уезжал! Я даже забыла, что тебе ехать надо; прогнала на время. . . Как это. . . несправедливо. . .

— Мы об одном с тобой думаем, Вера. — Николай поцеловал её. — А ничего не сделаешь. . .

— Что мы с тобой можем, милый? Ничего не можем. . . Ты еще своим делом занят, а я? Буду опять корпеть. . . И хорошо, что у тебя хоть дело есть: я тебе верю, милый, больше, чем себе верю. Знаю, что ничего плохого ты не хочешь. И рада за тебя, горжусь тобой. . .

— Спасибо, Вера. За все спасибо, что ты сделала для меня. И за то, что так веришь мне. . .

— Не нужно об этом, милый. Ты мне больше дал, а я — какая у меня радость? Наболтала только три короба, весь вздор выложила. . .

— Не вздор, Вера. Ты сама — радость. И больше такой радости никогда не будет у меня. . .

Ночь задержалась на том переломе к утру, когда еще совсем темно и деревья оставались черными; черным было и небо, но в нем будто что-то уже произошло и оно должно было начать светлеть. Казалось, что где-то, неуловимо, оно уже чуть посветлело и наверно от этого чернота сада не была такой непроходимой, как вчера вечером и уже можно было разобрать, где идти. А может быть, это казалось потому, что Николай теперь знал, как пройти к пролазу.

Тишина стояла тоже переломная: еще полчаса — по верхушкам яблонь пройдет чуть слышный шелест и они проснутся. Наверно от сознания, что этот момент еще не наступил, но скоро должен наступить, тишина была такой сто-

рожкой, что если бы сейчас раздался какой-нибудь звук, он показался бы искусственным, незаконно вторгнувшимся в глухой и зыбкий предутренний сон.

Николай вышел, уже примиренный с неотвратимым надо. Он медленно пробирался мимо кустов и деревьев, стараясь не задеть листву, чтобы не нарушить тишину: любой звук был бы болезненным. Так же болезненно было бы, если бы какая-то новая мысль, воспоминание, осколок острого чувства вдруг потревожили бы его с трудом созданную уверенность — шаткую уверенность в том, что, может быть, так всё и должно быть и иначе быть не может. Теперь хаос в нем был где-то поверху, он почти улетучился — глубже было спокойное смятение, которое укладывалось, уминалось смутным подобием мысли: ничего нельзя сделать, нельзя избежать, надо подчиниться долгу, своему делу, потому что это дело и Веры и множества — всех — людей и другого всё равно нет. И хотя временами еще хотелось крикнуть, стиснуть зубы, сцепить руки до хруста костей, уверенность уже становилась спокойной, хотя и хрупкой, как ночная тишина.

Перешагнув полуразрушенный плетень, Николай остановился. Где-то впереди, в темноте, в полукиллометре был обрыв, за ним текла Волга. Над обрывом — старое кладбище; налево — еще невидимые домики. В них, как и в домах за плетнем, спали люди, только двумя-тремя часами отгороженные от сутолоки, называемой жизнью, слишком редко разбавляемой настоящей, не фальшивой радостью. Но, может быть, это и не плохо — и сутолока, и то, что в ней мало радости: иначе не надо было бы желать её. И не есть ли всё это, вместе взятое, тоже радость, большая радость?

Николай оперся на плетень, поднял голову. За мерцанием бисера звезд чёрный бархат неба казался еще выше, чем вечером. Он словно поднялся, отодвинулся и стал еще необъятнее и недостижимее. Небо и сейчас не казалось холодным — утром в нем опять повиснет солнце и снова будет палить землю и людей нещадным зноем, и сжигая, и сплавляя живое таинственной связью в одно, будоража его, куда-то зовя, помимо ума и воли толкая на всё новые свершения, конца которым нет и не будет. И даже считая это знойное небо вполне равнодушным к нему, Николаю, к оставшейся за плетнем Вере, ко всем, живущим на земле, нельзя было не взволноваться сознанием его скромности, бесконечности и

связанности со всем живым. Это сознание не столько подавляло — оно заставляло ощущать себя неизмеримо малой частицей живущего, неотделимо включенной в него, так, что его судьба была и твоей судьбой. И поэтому нельзя было не думать о людях, об их судьбе, нельзя было не хотеть помогать им, помогая этим и себе.

Он стоял, тверже опираясь на плетень, — постепенно к нему возвращалась вера в себя и в свою веру; он опять ощущал себя сильным, словно каким-то внутренним взглядом пронизывающим жизнь, охватывающим её целиком, так, что она, даже оставаясь непонятной сознанию, была понятна и, главное, неотрывно близка и бесконечно, до боли, дорога ему всему. Рядом в душе ворочалась другая боль, большая тоска по оставшейся Вере, ощущение неладности жизни, но это ничего не меняло. Мельком вспомнились Сизов, Набойщиков, рамщик Арсеньев, девки на берегу, старушка, которая привела его к Вере, и опять и опять Вера, — в этот миг не хотелось забыть никого, ощущая неизбежную благодарность к ним, только за то, что они, как и он, существуют на земле, — и нельзя было не иметь потребности жить для них всех. С чувством, которое было сейчас у Николая, с чувством самоотречения и самоутверждения одновременно, весь смысл существования мог состоять только в этой потребности.

Спокойно-взволнованный, Николай грустно улыбнулся, подумав, что это ощущение, наверно, и есть счастье...

ТАМАРА

В сентябре 1941 года меня командировали в Сибирь, для приема вывозимого из Европейской России оборудования. Пока я добрался до Новосибирска, немцы заняли заводы нашего наркомата, вывозить стало нечего. Обстановка полностью переменилась и само начальство мое оказалось вместо Москвы в Киргизии. В феврале 1942 года я тоже переехал туда. Меня направили на небольшой завод, на котором жила группа наших, тоже эвакуированных из Москвы, сотрудников.

Мы аккуратно высиживали положенные часы в канцелярии, от скуки перебирая уцелевшие документы занятых немцами заводов. Работы не было, впереди была неизвестность — мы чувствовали себя так, как будто были законсервированы.

Через несколько дней по приезде, сидя в канцелярии, я смотрел сквозь прязное окно на ровную степь, у горизонта сливавшуюся с блеклым небом. В голове и душе было также пусто, как и в пустой равнине степи. За спиной вдруг раздался женский смех, такой жизнерадостный, что в этой комнате он звучал почти кощунством. Я обернулся.

У стола высохшей, чем-то похожей на заезженную клячу сотрудницы-счетовода, стояла высокая стройная девушка. Стояла она в полоборота ко мне, лица её я не видел, но и не видя почувствовал, что девушка молода и хороша — уже по задорно, с юной непосредственностью, поднятой голове, светившейся пышными каштановыми волосами, беспорядочно падавшими на плечи, на полинялый, наверно когда-то яркий платок. Одеты она была в черную ватную телогрейку и защитного цвета юбку, ноги её были в толстых шерстяных

чулках и больших солдатских ботинках, но эта одежда, делавшая фигуру девушки пухлой и бесформенной, словно бы не портила впечатления свежести и завидной молодой уверенности, исходивших от девушки. Я начал было любоваться ею, но услышал её густой контральтовый голос:

— Точно! — сказала она, как будто гвоздь вбила.

Признаться, я не переношу многих слов, появившихся после революции. Почему-то я примирился с выражением «на большой палец», с трехом пополам принял и «присыпку» к нему, но такие слова, как «мирово» или категорическое «точно», произносимое кстати и некстати, приводят меня в скверное настроение. Так и сейчас возникший интерес к девушке готов был исчезнуть, но в это время она повернулась ко мне лицом.

Она не была красива. В ней ничего не было ни от так называемой женской классической, ни от припудренной и подмазанной городской красоты. Довольно широкий нос, яркие губы, выцветшие белесые брови и ресницы. Бойкие глаза; загоревшая кожа темна, словно чуть выдублена — таких лиц на свете тысячи. Лицо было даже грубое, если не вульгарное, и дело не в том, что пухлость затушевывалась детски-мягким, пухлым ртом, ямочками на щеках и открытым, с задоринкой и вместе с тем простодушным и милым взглядом. Дело в другом: почему-то казалось, что в ней столько земной, «черноземной», но и словно одухотворенной силы, что она невольно приковывала внимание. Улыбаясь, девушка глянула в мою сторону и пошла к двери, ступая быстро и уверенно.

Прежде я не замечал входивших в нашу комнату женщин. А тут почувствовал, что во мне будто что-то осталось. Я повернулся к соседу, начальнику нашего планового отдела:

— Кто эта девушка, что вышла сейчас?

Михаил Петрович, полненький розовощекий мужчина лет сорока с небольшим, с зализанной редкими волосами плешью, немного старомодный, но и «передовой», принадлежал к категории людей, которых я называю «жоржиками». В них есть что-то от парикмахерской галантности, смешанной с хамоватостью, от них и пахнет всегда какой-то парфюмерией. Категория эта обычно умеет устраиваться в жизни. Так и Михаил Петрович: обладая хорошим здоровьем и призывным возрастом, он ходил по броне, не ездил и в команди-

ровки, — кому охота болтаться, в военное-то время, в переполненных вшивых вагонах? — и мирно сидел на этом заводе уже три месяца. Поэтому он знал здесь всех. Скверно сверкнув заплывшими глазками, Михаил Петрович хохотнул:

— Товарец, что надо! Первый сорт! Хотя — серость. Но на безрыбьи, как говорится, — подмигнул он. — Это Тамара, здешняя буфетчица.

Буфетчица. Наверно, комсомолка. Выросла в глуши. Как большинство нашей молодежи, груба, невежественна, — подумал я. Пожалуй, имячко ей родители подобрали неподходящее. — Вздохнув, я снова уставился в окно.

В следующие дни Тамара опять приходила, к той же сотруднице, подсчитывать какие-то ведомости. Я привыкал к её посещениям и, похоже, даже ждал их. Что-то в девушке вызывало во мне любопытство. Кто она? Что собой представляет, чем живет? Чего в ней больше — грубости, резкости, или простодушия, мягкости? Я смотрел на нее, как на что-то неизвестное, что следовало бы открыть. Но и не спешил удовлетворять свое любопытство, может быть потому, что боялся узнать, что ничего особого в ней нет. Девушка, как девушка, мало ли таких? Все они на один лад и нет смысла разыскивать то, чего нет.

Тогда у меня и в мыслях не было поухаживать за Тамарой. Этакое дитя степей, лет на двадцать моложе меня, и я — чего тут общего? Да и время такое, не до ухаживаний. Но познакомиться с Тамарой не мешало, совсем по другой причине: я подолгу простаивал в заводском магазине за хлебом, а Тамара, я заметил, потихоньку отпускала трем-четырем сотрудникам хлеб из буфета, без всякой очереди.

Я продолжал посматривать на Тамару издали, изредка встречал её в коридоре. Показалось мне, что и Тамара не без охоты взглядывет на меня; раз-другой я будто бы подметил в её глазах смущение. Я не придавал этому значения.

Однажды она пришла, когда её приятельницы-счетовода не было. Тамара остановилась посреди комнаты, обвела всех взглядом и спросила:

— А где Прасковья Семеновна?

Я поспешил ответить раньше других:

— Она заболела, бюллетень взяла.

Тамара нерешительно посмотрела на меня, улыбнулась:

— А кто же мне ведомость подсчитает?

Я тоже улыбнулся:

— Хотите, заменю вам Прасковью Семеновну? Давайте вашу ведомость.

— Вот спасибо, — пропела она низким контральто. Подойдя, Тамара положила передо мной ведомость и оперлась на стол. Руки у нее тонкие, но красные, обветренные. — Я на счетах плохо считаю, мне часа два надо, чтобы подсчитать. Точно, — безоговорочно заключила она, хотя я и не возражал. Меня немножко покорибило, я взял ведомость и молча начал считать. Цифры были написаны крупным, ломаным почерком, не женским, а скорее детским, полуграмотным. Некоторые трудно было разобрать, я спрашивал Тамару:

— Это что?

— Это? — Она придвигалась ближе, почти касаясь волосами моего лица. — Это семь. Смотрите, единичку я так пишу, хвостик вот такой. А у семерки такой хвостик. Прасковья Семеновна хорошо мою руку знает. Кто раз, два увидит, как я пишу, тот сразу разбирает, — доверчиво сообщила она и заключила безапелляционным: — Точно!

— Далось тебе это «точно», голубушка! — досадливо подумал я, написал итог и протянул ведомость Тамаре:

— Готово, гражданочка!

— Спасибочки вам большое, — пропела Тамара, беря ведомость и рассматривая её. — Как вы красиво пишете! Вот бы мне так выучиться!

Глаза её лукаво смеялись, в голосе слышалась лисья льстивость. Я впервые видел Тамару вблизи. Полные губы открывали свежие белые зубы; глаза у нее были синие, в них блились язычки пламени. Улыбнувшись её комплименту, за которым угадал безотчетную хитрость, я предложил:

— Хотите, научу вас так писать?

— Да что вы? — притворно удивилась Тамара, и тотчас же согласилась: — Конечно, хочу!

Слуху, привыкшему к ленивому московскому «канешна», отчетливое тамарино «конечно» показалось новым и не неприятным.

— Да ведь время много нужно. Поди, за год не научишься? — с сомнением пропела она.

— Ну, что вы! Мы по-стахановски, за месяц одолеем, — возразил я, глубоко заглядывая ей в глаза. Без тени смущения, она смело смотрела на меня.

— Заключаем договор: с этого дня я буду подсчитывать ваши ведомости и учить вас каллиграфии. Согласны?

— Идет! — с жаром воскликнула она и протянула руку. Я протянул свою — она с силой шлепнула ладонью по моей и крепко сжала её. Пальцы у нее были железные.

— А кто нас будет проверять?

— Зачем? — возразил я. — Мы и без контролеров обойдемся.

— Точно! — вскричала Тамара и громко расхохоталась. Я опять поморщился и чуть было не попросил её начать отвыкать от «точно», если она хочет брать уроки у меня, но удержался, решив подождать. Посмеиваясь, я спросил:

— А что мне будет за мой труд?

— Ну уж, вы тоже! Вам сейчас же плату! — воскликнула Тамара и убежала, размахивая ведомостью.

И в этот раз я почувствовал, что разговор с Тамарой что-то оставил во мне. Но шевельнулась и досада: глупая мужская игра! Дергает нас дьявол кокетничать, когда это не нужно, не следует и совсем ни к чему...

Заводской поселок был набит битком: эвакуированные из Европейской России увеличили его население втрое. За неимением помещений, я жил в «Доме для приезжих», в большой комнате с десятком коек, половину которых занимали такие же постоянные жильцы, как и я. Инженеры, техники, тоже эвакуированные, соседи были спокойными, уживчивыми людьми, кроме одного пожилого, болезненного инженера из Харькова. Жена и дочь его были убиты во время воздушной бомбардировки и бедняга немного помешался от горя. Часто, по вечерам, он садился на табуретку около меня и подробно рассказывал о своем несчастье, всегда одно и то же, — он мог говорить час, полтора, два, то вскрикивая, то понижая голос до шепота, смотря мутными полубезумными глазами. Можно было опасаться, что его безумие окажется заразительным. Мы искренне жалели беднягу, но скоро выносить его ежедневную исповедь у нас не стало хватать сил. Я спасался от соседа, уходя гулять.

Гулять, впрочем, было негде. Одна улица в полкилометра длиной, почти не мощеная, с заводскими двухэтаж-

ными домами, была центром поселка, «улицей Горького», как называли её эвакуированные москвичи. За домами по обеим сторонам было раскидано еще по сотне мелких домиков, из камыша с глиной; между ними земля растворялась в невылазной грязи. Зима стояла не холодная, снега не было, морозов тоже — поселок заливала грязь. Кое где торчали, как палки, голые прутьики посадок, но пока в поселке не было ни одного дерева. С одной стороны «улица Горького» упиралась в длинный серый забор, сбоку него начинались заводские корпуса; с другой, примерно в километре, виднелась деревня украинских переселенцев. А на юг и на север неотглядно расстилалась пустая, тоже без единого кустика и деревца, темнобурая степь.

В библиотеке поселка было всего пять-шесть сотен книг, из них добрая половина «классиков марксизма-ленинизма», читать было нечего. Вечерами можно было только предаваться картам или пить спирт, закусывая его черной редькой — редька в Киргизии чудесная. Но партнеры для преферанса не подбирались, пить ежедневно спирт тоже не весело — я убивал два-три вечерних часа тем, что топтался по «улице Горького». Это занятие, кстати, не позволяло думать: надо было тщательно выбирать, куда поставить ногу, чтобы окончательно не утонуть в грязи.

Однажды я встретил Тамару, выходящую из домоуправления. Поровнявшись с ней, я спросил:

— Кончили работу? Домой?

Она утвердительно кивнула головой.

— А дома что будете делать?

Тамара немного подумала:

— Не знаю. Я свободная: собраний нынче нет. Спать положусь! — засмеялась она, сверкнув глазами и зубами.

— Побойтесь Бога, Тамара! Этакую рань спать. Пойдемте лучше погуляем, — неожиданно даже для самого себя предложил я.

— Гулять? — недоуменно протянула она, посмотрев на меня так, как будто я сказал новость что, но спохватилась и радостно воскликнула:

— Точно! Это вы ловко придумали! Что, в самом деле, работа да дом, околеть можно! Принимается единогласно.

Я немного удивился, увидев, как воодушевила её мысль о прогулке.

Смотря на Тамару, я не смотрел на дорогу и по щиколотку утонул в грязи. С трудом вытащив увязший сапог, я уже с сомнением спросил:

— Куда же мы пойдём, Тамара? Везде грязь.

— Точно, — засмеялась она, но тотчас же возразила: — Ничего, я найду место. Мы на стадион пойдём. Только я на минутку домой загляну, хорошо? А вы подождите. Я скоро, в один момент. Да смотрите под ноги, а не на меня! Видите, где я иду? — Она ухитрялась шагать так, что ботинки её были почти сухи.

Жила Тамара на краю поселка, в небольшом белом домике, с узенькой верандой с двух сторон. Должно быть, в жаркое лето не плохо было на этой веранде сидеть за самоваром, но сейчас домик выглядел скучно. Я прошёл немного дальше.

Тамара появилась минут через десять. Увидев её, я широко открыл глаза. Вместо телогрейки на ней было черное пальто, не без изящества перехватывавшее талию, на голове пушистый белый беретик, а на ногах даже туфли на высоких каблуках. Успела она переменить и платье и чулки и из работницы, облеченной в прозодежду, превратилась в радующую глаз провинциальную барышню. Я только присвистнул про себя: ай да Тамарочка! И вкус у бесенка есть: ишь, как ладно всё подобрала!

Подойдя, она заглянула мне в глаза немного смущенно, словно стесняясь своего превращения, но вместе с тем вид у нее был довольный, она как будто спрашивала: «Ну, как, хороша?»

— Тамара, вы утонете в этих туфельках! И вы наверно не ужинали, — сказал я, заметив, что она жует. — Идите, поужинаяйте, я подожду.

— Подумаешь, ужин! — потрянула она головой. — Я уже поела. А утонуть — это вы утонете, я нет. Я тут каждую тропку знаю. Идемте.

Она уверенно пошла вперед, выискивая неведомые мне сухие тропинки или доски и кирпичи, служившие мостиками через непроходимые грязевые лужи.

Забор, в который упиралась «улица Горького», оказался оградой стадиона. Внутри, посередине, футбольное поле, вокруг широкая утрамбованная дорожка, по сторонам ступеньками возвышались досчатые трибуны. Стадион был

так велик, что на противоположной стороне трудно было различить ряды скамей.

По скрипуче прогибающимся доскам мы прошли в угол стадиона и сели на одну из скамеек. Я осмотрелся, хотя смотреть, собственно, было нечего: всюду ряды скамеек, по середине ровное поле. Чувствовалась неловкость: первый раз я был на пустом стадионе, да еще с женщиной. Смахивало на то, что мы сидим в огромном сарае, с которого сняли крышу.

— Какой большой у вас стадион! У вас наверно не только в футбол играли, а и другие состязания устраивали?

— Здесь всё было! — взмахнула рукой Тамара. Она сидела, разглаживая ладонями платье на коленях. — Киргизы приезжали, борьбу устраивали, скачки. По легкой атлетике соревновались. К нам со всего района люди сходились.

— Значит, весело было?

— У нас на заводе много молодежи было, всегда шум-гам коромыслом. Собрания, кружки, вечера — дохнуть некогда. Время так летело, что и не утопишься.

— А откуда столько народу на завод набрали? — поинтересовался я. — Раньше здесь киргизы жили.

— Нет, я тут родилась. Тут русская деревня была. А народ из колхозов набрали, по договорам. Кто из России пришел: их там раскулачивали, а они к нам прибежали.

— И что же?

— Что, что же? — не поняла Тамара. — Живут, работают на заводе.

Сообразив, что съехал на неинтересную для нее тему, я спросил:

— Расскажите, как вы до войны жили? Чему учились, что знаете?

Она засмеялась:

— У, я всё знаю! Считайте: норму на ГТО первой степени сдала. Ворошиловского стрелка тоже первой степени имею, — загибала Тамара пальцы правой руки. — ПСО сдала. По верховой езде я первое место в районе занимаю, а в республике третье...

— Тамара! — взмолился я. — Даже по верховой езде? На лошади скачете?

— И еще как! — задорно кивнула она. — У нас на заводе никто меня не перецеголяет. Наши парни больше пришлые, а я тут выросла.

— Ну, а еще что знаете?

— Еще что? — Тамара на минуту задумалась. — Кружки разные проходила... А больше ничего не знаю! — открыто блеснула она глазами.

— А школу какую кончили?

— Семилетку. Давно уже, года четыре. Забыла всё.

— Где же вы учились? На заводе школу недавно построили.

— В районе семилетка есть. Пять километров от нас.

— Что же, вы пешком туда ходили?

— А как еще? Пешком ходила, а когда верхом ездил. У нас киргизы друзья были, они бывало зимовали здесь. Меня любили и мне всегда лошадь давали. Одна лошадь у них так и называлась, тамаркина. Я на ней и ездил.

— А сейчас где ваши киргизы? Приезжают зимовать?

— Что вы? — спокойно удивилась Тамара. — Их давно раскулачили. А других на оседлость перевели, они рис и сахарную свеклу в колхозах сеют. У нас кочевых киргизов не осталось, где-то еще там, в горах, есть.

Разговор опять заехал не туда, надо было снова менять тему.

— Вот не ожидал, что вы такая... геройская девушка, — не нашел я лучшего прилагательного. — Атлет, на лошади скачете, стреляете отлично. С вами, пожалуй, такому мирному человеку, как я, опасно сидеть рядом?

— Точно! — засмеялась Тамара, но тотчас же оборвала смех и доверчиво посмотрела мне в глаза: — Нет, вам нечего бояться... Да и что я, на людей бросаюсь, что ли? — словно смутившись, шутливо возмутилась она.

Тамарино «точно» наконец-то рассердило меня.

— Тамара, у меня к вам просьба. Помните, когда мы заключали с вами договор, я сказал, что потребую с вас плату?

Она насторожилась и как-то подобралась, словно готовясь защищаться. А в глазах у нее засверкали смешливые искорки.

— Плата не большая: если хотите, чтобы мы дружили, не говорите больше слова «точно».

Тамара недоуменно посмотрела на меня: плата оказалась определенно не той, какую она ожидала. Мне показалось, что губы её обиженно сжались. Я взял её руку, она не отняла.

— Это почему же? — сухо спросила Тамара.

— Потому, Тамара, что когда это слово употребляют в дело и не в дело, оно очень уж слух режет. У нас привыкли к таким словам, а они, понимаете, звучат не хорошо, — вывертывался я, стараясь не обидеть девушку.

— Что же, оно плохое, это слово? — всё ещё недоверчиво и с обидой в голосе спросила Тамара.

— Нет, не плохое, — глядя её руку, успокаивал я Тамару, — но каждое слово надо употреблять там, где оно нужно. А так, понимаете, не годится... Только, Тамара, пожалуйста не обижайтесь: попросту неприятно, такая хорошая девушка, и вдруг! И потом — я же ваш учитель? Значит, вы должны меня слушаться, — закончил я шуткой.

Вероятно, она не умела долго сердиться, или слова мои успокоили её, — убрав руку, она посмотрела опять доверчиво и засмеялась:

— Ну, хорошо, согласна. Только ловите меня, если я опять это слово буду говорить, а то сразу не запомнишь. Но и я вам требование поставлю, — погрозила она пальцем.

— Это какое же? Слушаю, Тамара.

— Я вот о чем хочу попросить, — чуть смущаясь, медленно сказала она. — Вы меня на «вы» не называйте, говорите мне «ты».

Я удивился, просьба показалась мне странной.

— Как же так, Тамара? Взрослой девушке, как я могу говорить «ты»?

— А чего тут такого? — в свою очередь удивилась она. — Я привыкла, меня все мои друзья на ты называют. И вы называйте. Мне ваше «вы» тоже слух режет, — засмеялась она.

— Нет, Тамара, увольте. Ваши друзья — ваши сверстники, или люди, которые вас давно знают, а я при чем? А для такой, короткой дружбы, я для вас стар. Видите, я уже седой.

— Не наговаривайте на себя! — приказала Тамара. — Подумаешь, старик. Нет, нет, не отказывайтесь, вы сами

говорите: если хотите со мной дружить. Если хотите, и говорите мне «ты».

— Отказываюсь категорически. Взрослой барышне, едва знакомой...

— Какая же я барышня? — с искренним изумлением расхохоталась Тамара. — Скажете тоже! Барышни, это такие, чисторучки, а я? — смеялась Тамара. Оборвав смех, она опять превратилась в маленькую девочку. Теперь уже она взяла мою руку и, сжимая её в ладонях, просительно заглядывала мне в лицо и настаивала:

— Ну, согласитесь, ну, чего вам стоит?

Её глаза обезоруживали, приходилось сдаваться.

— Хорошо, Тамара. Хотя язык у меня и не поворачивается говорить вам «ты», повернем его. Но с условием: при других людях я всё-таки буду говорить вам «вы». Так?

— Точ... — Тамара притворно-испуганно закрыла ладонью рот: — Не буду, не буду больше!

— И еще, Тамара: я буду говорить вам «ты», но и вы говорите мне «ты».

— А это не выйдет, — лукаво покачала она головой. — Вы не хитрите. Ты я не могу говорить вам потому, что вы мой учитель, а учителям ты не говорят. Ясно? Да нечего больше об этом говорить, всё замечано и согласовано, точка! — категорически заключила Тамара и торжественно посмотрела на меня.

— А у меня к вам еще просьба есть, — через минуту начала она снова.

— Не много, для одного вечера? — улыбнулся я.

— Нет, это не на сегодня. У меня в субботу именины. Именинница я, чувствуете? И потому вы не можете отказывать и придете ко мне на именины. Понятно, гражданин учитель? — улыбаясь, она смотрела теперь не как девочка, а как взрослая женщина, привыкшая распоряжаться.

Опять неожиданность: оказывается, в наши дни, да еще в такой глуши, молодежь помнит об именинах. Что за именины? Я заколебался.

— А что будет, Тамара? Вечеринка?

— Человек пять-шесть всего. Немного.

— Я бы с удовольствием, Тамара. Да ведь там будут ваши... твои друзья, все знающие друг друга. А я буду торчать белой вороной и вам только веселье испорчу.

— Ничего не испортите! Какой это белой вороной? Никого чужих не будет, только наш комсорт, приятель брата, и гармонист. Подруга, её мать, вот и все. А я еще Михаила Петровича приглашу, вам и будет весело.

— А твои родители, разве их не будет?

Тамара нахмурилась:

— Ну их! Ворчат только. Я у подруги вечеринку устраиваю. Придете?

Я подумал, что с родителями, очевидно, она не ладит. Нехорошо, да это теперь почти в порядке вещей.

— С удовольствием приду, Тамара.

Болтая, мы не заметили, как сумерки сменились ночью. Она тоже была сумеречной, похожей на северную летнюю ночь. Сквозь дымные тучи пробивался лунный свет и молочно растекался в воздухе. Взглянув на часы, я удивился, как быстро прошло время.

— Тамара, одиннадцать час! Весь поселок спит без задних ног! И ты бы спала, как сурок!

— Точ... — Тамара спохватилась и засмеялась: — Пусть дрыхнут. Мне было весело. А наспать я успею.

— Мать будет ворчать, — поддразнил я.

— Пусть ворчит. Я большая, сама по себе живу. Что хочу, то и делаю. Кто мне запретит?

Опираясь на мое плечо, она поднялась. В лунном свете она стояла, с высоко поднятой головой, туго обтянутая узким пальто, как смелый вызов кому-то невидимому. «Такой запретишь! — любуюсь ею, подумал я. — О таких и сказано: коня на скаку остановит, и — что там еще сделает?»

Пробираясь по грязи домой, потом ужиная, я перебирал в памяти встречу с Тамарой, стараясь составить целое впечатление о ней. Оно плохо складывалось. Слишком противоречивы были её переходы — от взрослости к детскости, от смелости и грубости к смущению, от чего-то словно вызывающего, ненатурального к простоте и доверчивости. Ответит так, что слова прозвучат резко и сейчас же будто смутится сама и взглядом старается сгладить свою резкость. Странная девушка. Но и как мило у нее получается: спросишь — подумает, словно заглянет во что-то в себе, и только потом ответит. Нет, милая девушка... Впрочем, что это я раздумался о ней? — рассердился я, укладываясь спать. Девушка, как девушка, двадцати лет, нашел загадку! И тебе,

чорту старому, не о двадцатилетних девушках думать надо. Седина в бороду, а бес в ребро, что ли? Стыд и срам тебе, старому дураку, думать об этом, — ругал я самого себя, пытаясь заснуть.

До субботы оставалось три дня. Вечерами Тамара была занята, но я заглядывал к ней в буфет днем, в комнатушку на первом этаже, заставленную пустыми ящиками. Тамара часто оставалась в буфете одна и мы успевали поговорить. Конечно, хлеб теперь я брал у нее: она сама предложила и еще выговорила, что я не обратился к ней раньше. Ученые наше, как и следовало ожидать, не клеилось; сотрудники посмеивались над нами, но добродушно и без ехидства: в нашей комнате, кроме Михаила Петровича, работали местные люди, а они любили Тамару.

Мы же тянулись друг к другу. Я продолжал корить себя, хотел видеть во влечении к Тамаре чуть не преступление: «Что, припасть хочешь, старая кляча, сил почерпнуть?» — язвил я себя, но делал это уже без горячности. Да и было обидно: какая же я кляча? Еще грех записываться в старики, хотя и давило прошлое. И настоящее было нелегко: я жил, чувствуя себя чем-то опутанным, физически и душевно; невидимые путы глушили желания и заставляли чувствовать стариком.

Время в этом захолустьи проходило вяло. Война была очень далеко от нас, хотя чувствовалась и здесь: в эвакуированных, в раненых лазарета, размещенного в большой двухэтажной школе, в том, что большинство мужчин из поселка были мобилизованы. Но война затягивалась, первые волнения и надежды, вызванные ею, в этой глуши совсем затухали и война всё более воспринималась, как не нужное и тягостное дело. Мои привычные связи с жизнью остались за тысячи километров, в центре России — уже по всему этому мое влечение к Тамаре оказывалось оправданным: оно было естественным желанием человека как-то зацепиться за жизнь. Впрочем, в такие глубины я тогда не вдавался, а просто был рад тому, что с Тамарой легче дышалось и чувствовалось.

В четверг Михаил Петрович, выразительно улыбаясь, сказал мне:

— Вас можно поздравить с успехом?

Я притворился непонимающим.

— Нечего, дорогуша, невинность изображать! Одобряю, девица на ять, что надо! Точно! — подмигнув, передразнил он Тамару. Я нахмурился.

— Ну, ну, не смотрите сентябрем! Да мне что? Я доволен: и мне от ваших успехов кое-что перепало, на именины приглашен. Надо бы сообразить, что подарить ей?

О подарке и я подумывал. Вряд ли осудили бы нас, если бы мы пришли без подарков: кто сейчас вспоминает о них! Но хотелось доставить Тамаре радость, а чем? Хорошо бы купить коробку конфет, букет цветов, флакон хороших духов. Но где там! С начала войны я не видел даже леденцов, а цветы, духи — о них нечего и вспоминать. В заводской лавочке и в кооперативе в ближайшей деревне, кроме соли, крупы, хлеба, продававшихся по карточкам, тоже ничего не было.

— Придется бутылкой водки ограничиться, — с оторчением сказал Михаил Петрович. — Водка никогда не помещает. Девчонка, она водки мало припасет, наша и пригодится.

Подумав, я тоже купил, не водки, а спирта. У старой казачки, заведующей «Домом для приезжих», нашлась сушеная вишня, я дал казачке сахару, она сварила густой вишневый сироп — из него и из спирта получилось что-то, отдаленно похожее на ликер. Выбрав лист бумаги поплотнее, я нарисовал еще карикатуру: Тамара, в ватной куцавейке, вооруженная большим ножом, орудует в буфете.

В субботу вечером мы отправились. Михаил Петрович надел новый костюм, галстук бабочкой; лицо его сияло в предвкушении удовольствия.

— Посмотрим, посмотрим, — посмеивался он. — А ля пейзаж — в этом, дорогуша, большая прелесть может быть! Чумазо, конечно, но простота, простота, вот в чем соль! Первобытность, так сказать, о-натурель!

Подруга Тамары жила в небольшой кирпичной пристройке позади одного из жилых корпусов. Мы поднялись на крылечко — дверь нам открыла пожилая женщина с морщинистым, в лучиках, лицом. И тотчас же в коридор выбежала Тамара:

— Пришли? Знакомьтесь: моя крестная, тетя Клаша.

Тетя Клаша ласковой улыбкой приглашала нас; следом за Михаилом Петровичем я прошёл в комнату.

Комната была не маленькая: у одной стены стояли две кровати, накрытые серыми одеялами, с горками подушек в чистых цветных наволочках. За ними детская кроватка; дальше занавеска, наполовину отодвинутая, отгораживала кухонный угол. У другой стены помещался старенький диван, столик со стопочкой книг; на стенах висели фотографии в рамках, а над одной кроватью гитара, с ленточками у колков. Окно закрывала белая занавеска. Ближе к окну расположился большой стол, накрытый скатертью, на ней уже красовались бутылки и закуска.

— Все в сборе! — провозгласила Тамара. — Знакомьтесь, товарищи, и можем начинать!

Всех было немного: тамарица подруга Ольга, дочь тети Клаши — молодая женщина с белым лицом и спокойными глазами; муж её был на фронте, а ребенка, как я узнал позднее, на этот вечер тетя Клаша уложила спать у родственников. Из мужчин был еще черненький худощавый паренек лет двадцати-двух, отрекомендовавшийся комсоргом Петренко, и неловкий, застенчивый баянист: как известно, баян на таких вечеринках неизбежен. Мельком я подумал, почему у Тамары мало гостей: её знал весь поселок и приятелей у неё было много.

Мы сняли пальто, Михаил Петрович извлек из кармана бутылку и галантно преподнес Тамаре:

— Позвольте поздравить вас со днем... тм... ангела и участвовать этой штуkenцией в общем веселье!

Тамара всплеснула руками:

— Зачем, Михаил Петрович? У нас много водки. Ну, спасибо, ставьте на стол.

Я постарался выгрузить свой домоделельный ликер незаметно и передал Тамаре карикатуру:

— Узнаете, именинница?

Каррикатура вызвала общий восторг. Тамара радовалась по-детски, прыгая и хлопая в ладоши. Она была хороша: темное платье обтягивало её тонкую фигуру, под материей жил и переливался каждый мускул. Тамара даже справилась с прической: светлые волосы лежали крупными волнами, свободно колыхавшимися от быстрых движений. Еще ярче изливалось пламя из её горячих возбужденных глаз.

— Здорово! Ловко! — кричала Тамара, размахивая рисунком. — Тетя Клаша, булавку! — она взобралась на стул и пришила рисунок к занавеске окна. — Пусть висит, потом возьму. Смотри, тетя Клаша, не сгуби!

На минуту появилось горькое чувство: как мало надо для того, чтобы доставить человеку радость!

Закуска была не плоха: жареная с луком свинина, пирожки с капустой и рисом, огурцы — под такую закуску выпить можно изрядно. Как всегда в незнакомой компании сначала дело не ладилось, но после трех-четырёх стопок неловкость исчезла и веселье пошло на лад. Михаил Петрович балаганил, не переставая, рассказывал анекдоты, потом баянист развернул баян — тут уже всё перемешалось. Между столом с закусками и кухонным мы кружились, сталкиваясь друг с другом и от этого веселясь еще больше.

Тамара не отпускала меня. Запыхавшись, она садилась рядом на диванчике, угощала чаем, пила со мной «ликер» и без устали тараторила. Сквозь хмель я плохо улавливал, что она говорит и отвечал первое, что попадалось на язык, понимая, что ей и не нужны ответы: надо было только улыбаться ей, любоваться ею — она была полна. Мы оба знали, что уже близки друг другу, близостью, не нуждающейся в объяснениях, обходящейся взглядами, улыбками, но не менее связывающей, чем близость физическая.

Баянист играл артистически. По тому, как он, не глядя на танцующих, склонял к баяну голову и будто не прислушивался, а присматривался к звукам, следя за своей игрой, я понял, что он настоящий музыкант. Михаил Петрович был в своей сфере: расстегнув пиджак, он носился по комнате, смешил гостей, не забывая подбежать к столу опрокинуть стопочку и закусить огурчиком, потом подхватывал тетю Клашу и снова пускался в пляс.

Петренко тоже веселился, а потом я стал замечать, что он неприязненно косится на нас с Тамарой. Уж не ревность ли? — подумал я, но рядом была Тамара и раздумывать было смешно: я грелся тамариной радостью.

Наплясавшись, устали. Сели у стола, на кроватях, шум примолк. Баянист поставил баян на пол и смотрел отсутствующим взглядом.

Не угомонился Михаил Петрович. Он снял со стены гитару, побренчал, настраивая, потом залихватски ухватил-

ся за гриф и запел такое, от чего я даже слегка протрезвел:
Очи черные, очи жгучие...

Я не знал за Михаилом Петровичем такого таланта. У него оказался не плохой голос, а гитарой он владел мастерски. Душещипательные романсы, наверно, были коньком Михаила Петровича: он пел с чувством, заставляя голос дрожать и стонать, как от страсти.

Не для меня одного выступление Михаила Петровича было неожиданностью: все притихли и слушали словно с печальным изумлением. Казалось, все удивлялись, как это такая песня могла залететь на нашу пирушку. Баянист не дыша смотрел на Михаила Петровича; взглянув на Тамару, я увидел, что она тоже неотрывно смотрит на него и даже немного побледнела. А когда Михаил Петрович вывел:

Знать не в добрый час,
Повстречал я вас,

она вцепилась в мою руку так, что я вздрогнул.

Кончив петь, Михаил Петрович обвел нас победным взглядом:

— Вот как! Вспомнила старинку!

Он вытер лысину платком, взял еще аккорд. «Откуда это у него? — подумал я. — Ведь он всего на пять-шесть лет старше меня. Вон какая страстишка у человека объявилась!»

Отойди, не гляди, скройся с глаз ты моих...

— опять застонал Михаил Петрович и снова глаза приковались к нему.

Тамара была взволнована и смотрела растерянно. Я погладил её руку — она взглянула мне в глаза и опустила голову.

Михаил Петрович приглушил ладонью последний аккорд, положил гитару на кровать. Все молчали.

— Эх, — нарушил тишину тяжелый вздох Ольги. — Мы гуляем, пьянствуем, а наши как? Как мой Ленька? Эх, жизнь!

— Оленька, мы с тобой завтра поплачем, — жалобно воскликнула Тамара. — Ну, чего ты рюмишь?

— Правильно! — закричал Петренко. — Плакать — завтра! А нынче выпьем и товарищей помянем! Выпьем, Москва! — предложил он Михаилу Петровичу. Торопясь рассеять навеянное пением Михаила Петровича настроение,

они выпили, зашумели у стола. — Бери гитару, другую давай! — кричал Петренко и затащил пьяным голосом:

Смотрите, подружки, смотрите друзья...

— И это можно! — Михаил Петрович подхватил гитару, забренчал и стал подпевать:

Смотри, дорогая подружка моя,
Врагу не уступят, в бою не отступят,
Такие ребята, как я!

— Нет, к черту петь! — оборвал Петренко. — Пошли танцевать. Тамарка, вальс! Ты со мной еще не танцевала! — Тамара смерила его взглядом и неожиданно отрезала:

— Кому Тамарка, а тебе Тамара.

Петренко опешенно посмотрел на нее и озлился:

— Ты чего козлики выкидываешь? Зазналась?

— А ты что распоряджаешься? Женись, в своем доме будешь командовать, — набросилась на него Тамара. Петренко сдержался, принужденно улыбнулся:

— Извините, Тамара Яковлевна. Позвольте Тамара Яковлевна, на вальс вас пригласить? — дурачась, поклонился он. Баянист заиграл; Тамара встала и пошла с Петренко танцевать.

Тетя Клаша села около меня.

— Понравилось вам, как Михаил Петрович пел? — спросил я.

— Очень даже понравилось, — с чувством ответила тетя Клаша. — Прямо за душу взяло. Какие раньше песни были! Не чета нынешним... Да ну их к лешему! — вдруг отмахнулась она, словно рассердилась. — Тамарочка правду говорит, нынче гулять надо, а не грустить. Ишь, как отплясывает! — показала она глазами на Тамару. По тому, каким восхищенным взглядом смотрела тетя Клаша, я понял, что она тоже живет тамариной радостью.

— Хорошая у меня крестница, — понизив голос до шопота, любовно сказала тетя Клаша. — Своевольница, а умница. Смотрите, любите её, а то грех вам будет.

Тетя Клаша смотрела добрыми, понимающими глазами и как бы благословляла взглядом. Я почувствовал себя неловко.

— А почему, тетя Клаша, Тамара подруг не позвала? Ведь у нее на заводе много подруг?

Тетя Клаша улыбнулась, как заговорщица:

— А чего их приглашать? Она их каждый день видит. И кавалеров для них нет: ребят на фронт угнали. Тамара говорила, что нынче хочет москвичей угостить. — тетя Клаша хитро прищурила глаза, лицо её расплылось в морщинках. Я молчал.

— Принести вам чайку?

— Спасибо, тетя Клаша. Я пойду лучше на крыльцо выйду, голова кружится.

— Пойдите, проветритесь. Дайте я вам дверь открою...

На дворе было тихо и тепло. От высокого корпуса падала густая длинная тень, — дальше в призрачном лунном свете спали белые домики. Я прислонился к стене, холод камня приятно освежал спину. Голова немного кружилась, а в теле была невесомость, как будто ощущение легкого небытия.

Скрипнула дверь, не глядя, я знал, что это Тамара. Она подошла и доверчиво прижалась, как к своему; подняв лицо, смотрела мне в глаза спокойно-счастливыми глазами.

— Хорошо, Тамара? — прошептал я. Она утвердительно кивнула; я обнял её за плечи, поцеловал. Тихонько смеясь, Тамара взяла мое лицо в ладони, потянулась, чтобы поцеловать, но мешали очки. Она сняла очки, я взял их у нее — взмахнув рукой, она нечаянно выбила очки из моей руки. Очки у меня были без оправы, одни стекла с держателями — звякнув о каменные ступени, они разлетелись на мелкие осколки.

— Ах, какая беда! И тогда, когда я хотела тебя поцеловать!

— Пустяки, Тамара. У меня дома другие есть.

— Нет, не потому, — встревоженно сказала она. — Нехорошо, когда что бьется, примета есть. И Михаил Петрович еще, пел... Ах, как плохо!

— Ну, Тамара, стоит ли обращать внимание? — попросил я её. — Забудь об этом. Нам ведь с тобой хорошо, да?

— Хорошо, мне очень хорошо, — легко вздохнула Тамара, опять прижимаясь ко мне.

Я перебирал её волосы, — она засмеялась и, смотря мне в глаза, шептала:

— Тебе без очков даже лучше. А ты глупый: принес мне бутылку в подарок, а не знал, что самый лучший пода-

рок ты сам. Глупый, глупый, — пьяно уверяла она, теребя за лацканы пиджака. — Сегодня мой день, и я хочу быть веселой, счастливой, как никогда. Можно, можно, да?

— Можно, Тамара, можно, — подтвердил я, заражаясь её чувством. — Сегодня твой день, та-ма-рин день.

— Вот и хорошо. Я немножко пьяная, но ведь это ничего, да? Для моего дня ничего, даже хорошо, а то бы я с ума сошла. Ведь ты ничего, ничегошеньки не понимаешь, ты и не видишь, что я хожу сама не своя. С тех пор, как с тобой познакомилась, — тихо смеясь, выдавала она свою тайну...

Первая зарядка хмеля прошла, мужчины сидели за столом и заряжались второй раз. Ольга сидела около Петренко грустная и не пила. По раздраженному виду Петренко и съездившемуся Михаилу Петровичу я увидел, что в наше отсутствие что-то произошло. Я скоро понял, что: хватив лишнее, Петренко затеял ссору.

— Ничего, Оля, мы этих москвичей коленкой под мягкое место и по шапке, — с трудом ворочая языком, бормотал он. — Проваливайтесь, откуда взялись. Тоже, из Москвы прикатили! А почему не на фронте? Вон какие ряжки наели. Наш брат воюет, а они пьянствуют. За девками ударяют, — не унимался Петренко.

Тамара подошла, села и прислушалась.

— Ты опять, Володька? Ты мне вечера не порть, помолчи лучше. Чужим трепи, а при нас заткнись, знаем тебя как облупленного, — рассердилась она.

— Чего я треплю? — огрызнулся Петренко.

— А то. Чего сам на фронт не идешь, глаза мозолишь? Все ребята на фронт пошли, а ты что? Здоровый, как бык, а прячешься. Чего ты других коришь?

— Я бригадир, нужный заводу человек. И комсомольскую нагрузку за всех несу, — пробурчал Петренко.

— Ишь, особенный какой! — вскинулась Тамара. — А другие не нужны были, один ты нужен? Знаю я твою нагрузку, девок охаживать! Меня не проведешь!

Петренко поднялся, разозленный, не находя, что сказать. Со злобой смотря на Тамару, он, наконец, выдавил:

— Ты что... ты — контру разводить? Смотри, Тамарка, потише будь...

— Ах ты, трус несчастный! — Тамара вскочила с табуретки, схватила со стола бутылку. — Я тебе такую контру дам, ты ног не соберешь!

Я отнял у нее бутылку и силой усадил на табурет.

— Ты так? — пробормотал Петренко. — Ну, смотри жалеть будешь. — Он разыскал у двери свою кепку, пальто и вышел, не попрощавшись.

— Скатертью дорога! — крикнула вдогонку Тамара и, мгновенно переменившись, со смехом повернулась к нам. — Вы что? Давайте еще выпьем! Кузьма Егорыч! — позвала она баяниста, — садитесь ближе. И мне налейте, я тоже выпью. Тетя Клаша, садись.

Но веселье не клеилось: было уже далеко за полночь, все устали. Скандал с Петренко ни на кого не произвел впечатления, кроме нас с Михаилом Петровичем: Петренко, очевидно, тут знали хорошо. Но и без этого атмосфера первого веселья больше не возникала. Мы еще выпили, Михаил Петрович спел, на этот раз что-то веселое, и встали прощаться. Последними вышли мы с Тамарой.

На улице светила луна, теплый ветер едва слышно шелестел между домами. Опираясь на мою руку, Тамара разглядывала, где идти, мы медленно пробирались через лужи грязи к её дому.

Мне не хотелось думать о Петренко, но я всё-таки спросил:

— А он тебе ничего не сделает? Ведь он ваш комсорг.

— Этот трус? — засмеялась Тамара. — Я на него цукну, он маленьким станет. Ты не думай об этом, не надо, — голос её опять стал мягким и нежным. Она остановилась. — Ух, мне жарко! Я пья-я-ная, — протянула она, сбрасывая пальто с плеч на спину. Я обхватил её под пальто и почувствовал, какая она горячая. Она прижалась ко мне всем телом, вздохнула и с силой обняла. Я целовал её щеки, шею; подняв лицо, она обожгла сияющими глазами и заторопила:

— Пойдем, пойдем. Нынче мой день, та-ма-рин день, ясно? И ты мне не возражай, глупый ты, глупый...

На веранде их дома стоял деревянный диванчик, должно быть годы стоявший здесь. Мы сели, Тамара сорвала с меня кепку, взъерошила мне волосы и порывисто целовала. Я крепко обнял её — она покорно обмякла в моих руках.

Потом мы сидели, тесно прижавшись друг к другу. Положив голову мне на плечо, Тамара тихо говорила — я мог бы опять не узнать её, если бы уже не знал. Так не похож был этот её нежный полушепот на тот голос, которым она ссорилась с Петренку! И куда девалась грубая буфетчица, в ватной телогрейке и солдатских ботинках?

— Хорошо как, милый, — шептала Тамара. — Ты смотри, как в романе: луна, теплынь, и мы с тобой. Правда, как в романе? — тихо засмеялась она.

В другое время я не преминул бы поиздеваться и над романами и над тем, что обстановка была далеко не романтической, но сейчас я охотно согласился с Тамарой:

— Правда, Тамарочка. А ты много читала?

— Я, милый, все книги в поселке прочла. И в районе тоже. У инженеров брала, у служащих. Я больше старые люблю, знаешь, растрепанные? Они может и не правда, а прочитаешь — и себя забудешь, на край света улетишь. И мы с тобой сейчас на краю света, правда? О чем ты мечтаешь? — спросила она, разглаживая пальцем морщинку у меня на лбу.

— О чем я думаю? — переспросил я.

— Нет, мечтаешь, — не согласилась Тамара. — Думают, это каждый день, об работе, о том, куда пойти, сделать что-нибудь. А так, как мы с тобой, мечтают.

Я улыбнулся.

— Нет, ты не смейся, — мягко запротестовала она. — Это правда. Я люблю мечтать. Прочитаю страничку в книге, закрою, и мечтаю, мечтаю. Хочу, чтобы со мной также было, — засмеялась Тамара. Я крепче прижал её к себе.

— Вот с тобой и случилось, как в книге, девушка моя хорошая. Разве не роман: жил я в Москве, за тысячи километров от тебя, ехал месяцы, по Сибири колесил — и к тебе приехал. Мог бы не приехать и никогда бы я Тамару не увидел, а всё-таки приехал и — тебя нашел. Чудо, правда?

— Чудо. Хорошее чудо, — чуть вздохнула она. — А говорят, судьбы нет. Значит, было в моей судьбе написано, что будешь ты ехать, ехать и обязательно ко мне приедешь. Как в сказке. И всё для меня! — воскликнула она и засмеялась. — Ты ж только подумай: для меня, для одной! Какая я богатая, счастливая! Даже страшно делается! — Тамара, смеясь, протянула руку и опять затеребила мне волосы.

— Будем с тобой жить, как сейчас, — прошептала она. — Ты мне будешь книжки приносить, мы будем вместе читать и мечтать.

— А зачем книжки, Тамара? О чем мечтать, если нам с тобой хорошо будет? — не удержался я, чтобы не возразить. Она подумала минутку, улыбнулась:

— Это я наверно глупость сказала. Нет, мы по-другому сделаем: уедем с тобой далеко, далеко, и только вдвоем будем жить. Чтобы никого больше не было.

— И никого с собой не возьмем?

Она опять подумала и засмеялась:

— Нет, тетю Клашу возьмем, Ольгу, Лёньку, дочку их Машку...

— И Михаила Петровича прихватим, пусть цыганские романсы поет, — сказал я.

— И Кузьму Егорыча, баяниста, он тоже хороший, — добавила Тамара.

— В общем, всех хороших с собой захватим, да? А то скучно станет, без людей. А кого здесь оставим?

— Если всех хороших брать, то немного останется, — убежденно сказала Тамара.

— Тогда, может, мы и не поедем никуда? Будем здесь жить, а плохих людей прогоним.

Тамара вскочила, запротестовала шутливо:

— Ах, ты вон как подвел! Нет, с тобой мечтать нельзя, с тобой думать приходится! Ты что мои мечты разрушаешь? — Я весело смеялся вместе с ней.

Успокоившись, она опять села, прижалась и зашептала:

— Знаешь, я сейчас большая, большая, вот такая, — смеясь, она широко развела руки. — И маленькая тоже, совсем маленькая, видишь, вся тут уместилась, — съежившись в комок, теснее прижалась она. — Отчего это? И потом, я сейчас такая... хорошая. Я иногда разозлюсь, накричу, а потом так, на секундочку, подумаю: какая я скверная. И опять забуду и опять кричу. А сейчас я хорошая, хорошая, правда?

— Ты всегда хорошая, — поцеловал я её. — Ты вот тут, в сердечке, хорошая.

— Сердцем все хорошие, — заметила Тамара. — А чем мы плохие, скажи? Голова у нас дурная?

Я невольно вздохнул. Как объяснить то, чего ни я и никто не в силах объяснить, чего никто не знает? Не читать же философские трактаты. Вместо ответа я теснее прижал Тамару к себе...

На другой день у Михаила Петровича была кислая, помятая физиономия. В коридоре он промямлил мне:

— Вас можно было бы поздравить, дорогуша, но не поздравляю. Ох, не влипните! Видали, каков Петренко? Дикость, дорогуша, я на вашем месте убрался бы подальше от романтики. Скрыть не скроете, уже весь поселок знает.

Я только плечами пожал... Иногда, сам посмеиваясь над своим чувством, я смутно жалел о том, что мы не можем вновь заразиться той болезнью любви, которой болеем один раз в жизни, в первый раз. Тогда, когда для нас ничего не существует, кроме захватившей нас в первый раз болезни, когда душевная боль становится физической болью. Почему мы не можем переживать такое же чувство еще раз? Мешают опыт, душевная усталость? Но к чёрту опыт и усталость, если в нас сидит потребность сбросить их и омолодиться, еще раз войти в непосредственную связь с самой жизнью, а не с выдуманной нами оболочкой её! И отчетливо зная, что прошлое не возвращается, мы пытаемся воскресить его, чаще заменяя подлинное чувство суррогатом.

Нынешнее мое чувство не было суррогатом. Но оно не было и тем, которое когда-то я пережил в первый раз. Если первое чувство можно было бы приравнять к темному наводнению, захватывающему помимо воли, то нынешнее было скорее просветлением, может быть, выздоровлением. Ничто из окружающего не утратило своего значения, но все отношения как бы просветились и заняли подобающие им места. Можно было работать не возмущаясь бессмысленностью и ненужностью того, что делаешь, потому, что работа приобретала определенный смысл и становилась где-то на последних, самых нижних, ступенях твоего бытия. Можно было жить, терпимо относясь к безобразию жизни, потому что такая любовь одна могла заполнить жизнь, а окружающее безобразие свести на степень хотя и неизбежного, но малозначащего придатка. И любя так, можно было любить других, свою любовь без эгоизма замыкая в особый круг.

Чувство Тамары было и болезнью, и выздоровлением. Она говорила, что до этого у неё было «так, баловство» и

что по-настоящему она полюбила в первый раз. Но она не думала о своей любви: она жила ею, плавая в своем чувстве, как рыба в воде.

Если не весь поселок, то во всяком случае все знавшие Тамару скоро узнали о наших отношениях. Я не зашифровал их, но и не скрывал, — Тамара вообще была не способна хитрить по-серьезному и таиться. Когда она пробовала делать это у нее все равно ничего не получалось: её чувство откровенно было написано у нее на лице. Она ходила сияющая и безотчетно старалась каждого заразить своей радостью, каждому уделить частицу своего чувства.

Она заходила в канцелярию, я спускался к ней в буфет — мы виделись по десять раз в день. Вечером она убегала от своих комсомольских нагрузок и почти каждый день мы шли на стадион или на веранду её дома. Приближалась весна — Тамара рассказывала о балках с родниками, неподалеку от поселка, и мы строили планы, как будем ходить туда, хотя у меня уже тогда было чувство, что планам этим не суждено осуществиться. Это чувство раздвоенности, как бы двойственности ощущений, было мне хорошо знакомо, — с ним можно было жить, заглушая предчувствие о вторжении грубого, реального и стараясь мимолетное, временное превращать в постоянное.

Не заглядывая в будущее, я жил настоящим, дорожа своим счастьем, но не заботясь о его сохранении. Сохранить его — от меня не зависело. Пока обстоятельства складывались так, счастье могло продолжаться. А если завтра меня пошлют в Сибирь или куда-нибудь на Урал? Я понимал, что счастье наше слишком хрупко — тем больше оснований было им дорожить.

Несколько раз я встречал Петренко — он отворачивался и не хотел кланяться. С Тамарой о Петренко мы не разговаривали.

Прошло недели три. Однажды она вызвала меня из канцелярии и торопливо повела к себе.

— Мне надо тебе кое-что сказать. Я не хотела входить, чтобы не увидели. — Голос у нее был встревоженный, лицо взволновано. Не зная её такой, я тоже встревожился.

— Я тебе не говорила, но мне всё Петренко пристает, грозит, — начала она в буфете. — Хочет, чтобы мы не ви-

делись. Я его знала, не хотела слушать. А сегодня знаешь, что он преподнес?

Она передохнула. Щеки у нее были красные, глаза горели. И я начал волноваться.

— Полчаса назад он заходил ко мне. Опять приставал, я его отругала. Тогда он мне заявление дал прочитать, он для НКВД написал. А в этом заявлении твоя фамилия и имя: ты разлагаешь рабочую обстановку и тебя с завода убрать надо...

Я засмеялся:

— И это все? Из-за этого ты так взволновалась?

Тамара смотрела недоверчиво:

— А разве мало? Он в НКВД написал, понимаешь? Ты не знаешь нашего НКВД: оно кого хочешь может забрать.

— НКВД везде одинаково. А то, что ты рассказала, еще не страшно: НКВД здесь не при чем, это Петренко решил попутать нас, вот и всё. Если бы он действительно хотел написать в НКВД, он тебе никогда об этом бы не сказал, и заявления бы не показал.

— Петренко дурак и ненормальный. Он что хочешь выкинет, — настаивала Тамара.

— Нет, Тамара, такой глупости ему не позволят делать. За нее ему первому от НКВД нагорит. Нет, это ерунда, не думай об этом. А Петренко часто к тебе приставал? Почему ты мне ничего не говорила?

Тамара смотрела еще недоверчиво:

— Раз пять — шесть подлавливал меня. Я сказала, что больше не буду его слушать. А он — эту бумажку мне. Зачем было тебе раньше говорить? Он за мной увивался, давно, когда война началась, а я его отшила, не нравится он мне. Так ты думаешь, ничего?

Я постарался её успокоить. А сам, возвратясь в канцелярию, задумался. Дело могло обернуться плохо. Петренко вполне мог сотрудничать с НКВД. Он ведь был типичным представителем той категории людей, которой управляет чувство зависти и желание «играть роль», хотя бы у них и не было данных для этой роли. И еще — внушенное им примитивное понимание равенства: эта категория не переносит не похожих на них людей и каждого хочет сделать таким же, как и они сами, а не удастся — подмять под себя, убрать, уничтожить. В средствах же они не стесняются.

И никаких гарантий, что Петренко не передал написанного в НКВД, не могло быть. Агент он неопытный и выдумать ничего серьезного не мог, но кто знает, как отнесется к его сообщению НКВД? Об этом было бесполезно думать, всё равно не угадаешь. Всё зависело от инструкций, которые имеет сейчас НКВД на соответствующий счет. И я был почти спокоен, хотя по спине у меня пробежал холодок и чувствовалось так, как не раз прежде: будто впереди опять открылась бездонная яма и каждую минуту я могу в нее упасть. Против этой ямы я был беспомощен.

А еще дня через два из секретариата принесли клочок бумаги, на нем было написано: «Звонил Райуполномоченный, вам явиться завтра к 12 в Райотдел НКВД». Прочитав, я только вздохнул и промычал: «м-да». Прошло уже около пятнадцати лет с тех пор, как я впервые познакомился с ОГПУ-НКВД и столько же лет я знал пословицу: «все мы под ГПУ ходим». Как ни сжималось тоскливо сердце, можно было оставаться спокойным: от меня всё равно ничего не зависело.

Дома я хотел было упаковать рюкзак, — неизвестно, вернусь ли я завтра? — но показалось противным заниматься этим и я только набил туго портфель всем необходимым. Перебрал документы. И на этом закончил сборы, одновременно словно застегнув свою душу на все пуговицы.

Я не хотел говорить Тамаре о вызове: пусть лучше узнает после. Но в поселке ничего не скроешь: весть о телефонном разговоре из секретариата уже разнеслась. Вечером я встретил Тамару, спешившую ко мне.

— А ты говорил, что ничего не будет! — крикнула она, только подойдя. Лицо её было искажено, как от боли. — Я же тебе говорила!

— Да еще ничего и нет, — пытался я пошутить, но она не слушала.

Мы шли по «улице Горького». Я ловил сочувственные взгляды встречных, многие кланялись, а иные отворачивались и спешили пройти мимо. Михаил Петрович, выйдя из столовой, заметил нас и поспешно вернулся в столовую, будто что забыл в ней. Тамара ничего не замечала: теперь уже не только не таясь, но и забыв, что на людях надо бы вести себя поосторожнее, она шла, почти повиснув на моей руке.

На стадионе мы сели, но Тамара тотчас же вскочила: она не находила себе места.

— Что делать, что делать! — твердила она, скручивая и разжимая пальцы, наверно совсем так, как пишется об этом в сентиментальных романах. Я машинально подумал, что романы эти не так уж смешны и успел устыдиться, что в такое время думаю об этом.

— Но, Тамара, еще ничего не известно. Может быть, ничего и не будет.

— Ах, ты ничего не знаешь! Ты ничего, ничего не знаешь! Уж если они заберут — конец! Конец понимаешь?

— Может быть, не заберут. За что им забирать меня? — кривил я душой.

— Ты как маленький! — простонала она. — Неужели ты не понимаешь, что такое НКВД?

— Но, Тамара, что мы можем сделать с тобой?

— А я разве знаю? — заплакала она. — Но ведь надо же что-нибудь сделать, так же нельзя.

Мне стало стыдно: в самом деле, мужчина, а ничего не может сделать. Старое чувство бессилия теперь было тяжело по-другому.

Положив голову мне на колени, она плакала, громко всхлипывая. Я гладил её голову и тихо, как ребенку, говорил, что оба мы беспомощные дети перед машиной НКВД и что сейчас ничто не поможет нам. Что пока существует порядок, при котором мы бессильны, мы остаемся не людьми, а вещами и нами будут распоряжаться, как заблагорассудится власти или какому-нибудь дрянному человеку, а не нам с ней. Что этот порядок унижает нас, что при нем все наши чувства, как и наша с Тамарой любовь, обращаются в ничто, в пустоту. Я знал, что многое из того, что говорю, непонятно ей, да и не нужно бы ей говорить, но говорил, чтобы хоть звуком голоса убаюкать её.

Перестав плакать, она подняла лицо:

— Они отнимают тебя у меня. А мы ничего не можем сделать. Нет, ты не то говоришь, ты только успокоить меня хочешь! — Тамара опять вскочила на ноги. Я вспомнил, как стояла она передо мной, в первый наш вечер на этом стадионе. Сколько тогда веры в себя было в ней! Теперь, с опущенной головой и дергающимися руками, рядом стояла не

молодая, полная сил девушка, а растерянная женщина, впервые почувствовавшая свое бессилие.

На минуту она превратилась в прежнюю Тамару. Выпрямившись и подняв голову, она процедила сквозь сжатые зубы:

— Я выцарапаю ему глаза. Если тебя посадят, я оторву ему голову...

Я усадил её, она тоскливо посмотрела и опять заплакала.

О чем мы говорили? Но мы и говорили мало. Тамара порывалась что-то сделать, что-то придумать; ей еще казалось, что не может быть, чтобы ничем нельзя было помочь. Она предложила бежать: мы уйдем в степь в торы, достанем у киргизов лошадей и ускорим в Китай или Афганистан. Она не знала, что у нас «границы на замке»; она не могла представить, что перед нами закрыты все входы и выходы и что мы можем идти только по приказанной нам дороге...

Утром я пошел в районное село. Уполномоченный НКВД оказался плотным мужчиной средних лет, с темным обветренным лицом. Предложив сесть, он внимательно общарил меня взглядом, как будто обнюхал. Спросил, где родился, как попал в Киргизию; раза два открыл лежавшую перед ним папку, заглянув в нее, как бы проверяя мои ответы: очевидно, сведения обо мне у него уже были.

Просмотрев мои документы, он задержался на справках об осуждении Коллегией ОГПУ и об освобождении из концлагеря после десятилетнего заключения. Прочитав их, улыбнулся:

— Вы бывалый человек, тем лучше. Скажите по совести, вы знаете причину вашего вызова? И как вы там вообще живете?

— Благодарю вас, живу, как все, — улыбнулся я. — А причина. — развел я руками, — право, не могу догадаться.

Он засмеялся. В эту минуту я подумал, что большой беды еще не будет.

— У вас там какая-то любовная история завелась? — спросил уполномоченный. Меня кольнуло: не хотелось об этом говорить в НКВД.

— В мою бытность под опекой вашего учреждения не приходилось замечать, чтобы вы интересовались такими

историями, — усмехнулся я в свою очередь. — Хотя, конечно, всякое бывает.

— Да, именно, всякое бывает, — добродушно подтвердил уполномоченный. Мне показалось, что он в нерешительности, не знает, что предпринять. «Сейчас решается моя судьба», — мелькнуло у меня в голове.

— А как у вас с военной службой? — спросил уполномоченный. — Военный билет с вами?

— У меня отсрочка на год, по состоянию здоровья, — ответил я, подавая билет. Он посмотрел его, что-то черкнул себе в блокнот и возвратил.

Выйдя из села в степь, я вздохнул полной грудью. Голова немного кружилась, должно быть оттого, что напряжение, которым я жил со вчерашнего дня только-что разрядилось. Мне стало легко: казалось, что я освободился во второй раз. И еще раз я ощутил, как непрочно и ничтожно наше мнимое спокойствие, то, которое мы по необходимости стараемся создать в себе.

Но после первого прилива радости я почувствовал, что где-то глубоко во мне еще остался и ворочается червячок сомнения. Смутно казалось, что этим еще не кончилось и что мне всё равно здесь больше не жить. Почему? Причин как будто не было, но я давно уже полагался не на логику и причинность, а больше на бродящие в нас смутные предчувствия.

А как обрадовалась Тамара! С дороги я зашел к ней в буфет. Она бросилась мне на шею, смеялась и плакала, словно я вернулся с того света. Она требовала подробностей и я должен был снова и снова рассказывать, о чем говорил с уполномоченным. Она забыла всё, что говорила вчера об НКВД; я подумал, что она расцеловала бы сейчас уполномоченного, за то, что он не посадил меня.

Тамара опять расцвела и похорошела. Снова она была счастлива, как и в первые дни. Я старался казаться таким же счастливым и следил, чтобы ни одно облачко не омрачало тамариной радости.

А спустя еще несколько дней мне прислали повестку из Райвоенкомата, призывающую на переосвидетельствование. Я сразу понял: вот и конец. Тотчас же восстановилась логика и причинность, по которым мы должны жить: очевидно, НКВД имел инструкции действовать теперь по-другому.

Люди нужны были на фронте, а не в концлагерях, и уполномоченный с успехом мог сплавить неудобного человека в армию. Я вспомнил, как он записал что-то в блокнот. Ну, да, а после моего ухода он позвонил в Военкомат. Теперь ничего не поможет: если бы даже у меня не было ног, меня всё равно взяли бы в армию.

В Военкомате пожилая женщина-врач осмотрела меня, потом полистала какую-то книжку, видимо не зная, что написать. Два раза она брала ручку, отставляла её, снова листала книжку, потом что-то написала на бланке и отнесла в соседнюю комнату. Через пять минут я получил повестку: завтра, к десяти часам, явиться на сборный пункт.

Рано утром на другой день я закинул за плечи рюкзак и неторопливо зашагал из поселка. Хотелось уйти до начала работы, чтобы ни с кем не встречаться; с друзьями я попрощался вечером. Погода стояла прекрасная: солнце уже грело сильно, дорога подсохла, идти было легко. И я бездумно шагал, чувствуя себя немного так, как будто меня не было.

С Тамарой я простился ночью, но не удивился, увидев её за украинской деревней. Она стояла у последнего двора: прислонившись к плетню. Я поравнялся с ней, она подошла, обхватила мою руку, прижалась и мы молча пошли дальше.

В поле в стороне от дороги стоял стожок полусгнившей соломы. Мы сели под ним.

Лицо Тамары за последние дни осунулось, похудело; ничего не осталось в нем от прежней детскости, оно стало повзрослевшим и строгим. Обведенные темной каймой глаза не светились и сделались глубже, серьезнее. Сжатые губы говорили об испытанной горечи.

— Так и отняли тебя у меня, — тихо сказала она и замолчала. Я положил ее голову себе на колени, она легла, вытянув ноги.

— А я знала, что так будет. Помнишь, на именинах, когда Михаил Петрович пел. И еще очки разбились. Я забыла, а как вызвали тебя, так и вспомнила. И поняла, что всегда помнила, только не хотела помнить... — Она говорила медленно, едва слышно, усталым голосом. И лицо её, с полужакрытыми глазами, было безмерно уставшим, словно погасшим. — У нас всегда так. И как это так получается! — вдруг с отчаянием прошептала она и примаса боли на секунду исказила её лицо.

— Я тоже в армию пойду. В санитарки. Или сестрой. Я тут больше не останусь... — зашелестела она снова и опять помолчала, как будто ей трудно было говорить.

— Я, наверно, глупая. О счастье мечтала, радовалась, а счастье вон оно, какое. Выходит, и нет его совсем. А что вместо него? Я и не знаю. И ты мне не сказал. Может, дольше пробыли бы, я бы и узнала. А теперь я пустая и ничего у меня нет...

Я наклонился, прижал губы к её глазам.

— Иди, Тамара, в армию иди, куда хочешь, а иди. Увидишь много других людей и всё узнаешь. Сейчас по России гроза идет, миллионы кипят в ней — прокипишь и ты и легче тебе будет, вместе со всеми узнаешь, что нужно. Ты чуткая, сердцем поймешь.

— Пойду, — прошептала Тамара. Открыв глаза, она спросила: — А ты меня не забудешь?

— Нет, Тамара, я тебя всегда помнить буду.

— Я знаю, мужчины всегда так говорят, а потом забывают. А ты не забывай. С другой будешь, а меня помни. А мне легче будет, я всегда знать буду, что есть человек, который помнит обо мне. Ты мне пиши, хоть раз в год, а пиши. Мне перешлют, а потом я тебе новый адрес напишу. Обещаешь?

Я обнял её:

— Обещаю, родная моя...

Она поднялась первая и сказала:

— А теперь иди. Поздно, опоздаешь еще.

Мы обнялись, поцеловались, уже не как любовники, а как брат и сестра. Держа мои руки в своих и продолжая смотреть мне в лицо, Тамара наклонилась, одной рукой подняла с земли рюкзак и подала его.

— Иди. А я посмотрю.

Волоча рюкзак по земле я пошёл. Через несколько шагов закинул рюкзак за плечи, оглянулся. Тамара стояла, не шевелясь, сложив на груди руки, и сурово смотрела мне в след.

Я пошел быстрее, но оборачивался через полсотню шагов. Тамара тем же неподвижным взглядом провожала меня. Я хотел не оборачиваться так часто, шел, всё ускоряя шаг; чтобы отвлечь внимание от фигурки позади, смотрел по сторонам. Наступала весна, из-под бурой прошлогодней тра-

вы кое-где просвечивала свежая зелень. Теплый ветер шуршал над степью и сушил землю. Я вспомнил, как собирались мы гулять весной в степи и еще раз обернулся. Тонкая фигура девушки черточкой виднелась рядом с копной, я не мог больше увидеть ни глаз Тамары, ни её лица. Отвернувшись, я почти побежал.

С этого дня началась армейская бестолочь, а через месяц, вместе с десятками тысяч таких же русских людей, я попал в плен. В суете переездов и фронтовой обстановки я так и не написал Тамаре письма: моя армейская жизнь оказалась короче, чем я мог предполагать. А теперь, когда я вспоминаю о том времени, то что я не написал Тамаре, гложет меня больше всего: мне иногда смутно кажется, что я обманул её...

ПРИ ВЗЯТИИ БЕРЛИНА

Свет из полузаваленной двери нехотя пробивался в убежище. Вблизи от двери еще можно было разглядеть нахохлившиеся фигуры женщин, стариков, детей, сидевших на чемоданах и узлах, дальше всё пропадало во тьме. То, что темь тоже полна людьми, угадывалось по шорохам и по какому-то особенно гнетущему настроению, пропитывающему вонючий воздух. Тишину изредка прерывал вздох, плач или крик ребенка, громкий шопот, — если говорили, то почему-то только шопотом.

Сверху доносилась винтовочная и пулеметная стрельба, автоматная трескотня, ухали орудийные взрывы: в городе шел бой.

Борис Васильевич Обухов, когда-то капитан царской армии, а потом шофер берлинского такси, сидел неподалеку от двери, прислонившись к стене и сжав руками опущенную голову. Голова болела, тело ныло: в шестьдесят пять лет не легко просидеть в подвале четверо суток безвыходно. Выходить было некуда: над подвалом развалины, вокруг тоже развалины, а в них рвутся снаряды и пронизывают воздух пули.

Теперь взрывы удалились, значит, подходят. За много лет в Берлине Борис Васильевич так и не научился сносно говорить по-немецки: жить кое-как жил, а мыслями оставался в России. Сейчас Россия входила в Берлин, Россия пришла к нему. Это волновало, влекло, но было и жутко. Какая она? Что сделает с ним? За четверо суток он всё передумал. «Расстреляют, как белогвардейскую сволочь. Хорошо, если на месте, а может, потащат в Чеку. Как она нынче называется? НКВД? Будут мучить. Или еще что?» Но в му-

чения и смерть не верилось, почему-то казалось: не может быть. А что может быть? И страшно было не за себя, не за свою жизнь, — хватит, пожил, — а за что-то еще, может быть, за свою мечту, за свою двадцатипятилетней изгнанническую и наверно слишком сентиментальную, а поэтому и немного стыдную любовь.

Проходили часы, дни, наверху не утихало, и мысли уже перепутались, притупились. Он сидел среди насмерть перепуганных немцев, в нудной паутине страха и ожидания, устав думать и ждать, и тупо смотрел в одну точку.

Борис Васильевич задремал и не видел, как в изломанной дыре двери показался красноармеец. Прижимаясь к стене, солдат осторожно переступал через камни, выставив перед собой нацеленный в темноту автомат. В подвале тихо охнуло, шелестнулось; люди непроизвольно сжались, подались назад. Солдат щелкнул фонариком: в снопе света на мертвенных лицах засветились десятки застывших в нечеловеческом страхе глаз.

Смелее переступив, с автоматом наизготовку под правым локтем, солдат повел фонариком по подвалу, потом обернулся и крикнул:

— Давай сюда, калым есть!

Спустились еще двое. В невиданных Борисом Васильевичем пилотках и в кофтах-телогрейках с тесемками вместо пуговиц, еще держа автоматы наготове, они стояли и приглядывались. Вошедший первым был невысок и широк, похож на катыш, второй, худощавый, должно быть был подвижным и юрким, третий, высокий и спокойный, наверно, был самым серьезным.

— Подкальмить можно богато! — тонким голоском воскликнул юркий и пошел вглубь.

— Не бойсь, фрицы, мы вас от Гитлера освобождаем! — хохоча, кричал первый, с круглым лицом и веселыми глазами, и тоже подался к сжавшейся толпе, лучом света прорезая себе путь. Третий остался стоять у двери.

Со смехом и прибаутками, будто они были на прогулке, двое быстро шарили среди людей и барахла. Не прошло и минуты, как Борис Васильевич услышал хватающий за сердце женский вскрик:

— Was wollt ihr von mir? *) — и хохочущий ответ курносого:

— Не бойсь, толубка, давай добром!

Борис Васильевич поднялся. Сердце колотилось, тело трясла нервная дрожь, но он собрал силы и сказал, громко передохнув:

— Вы что безобразите, вы?

Солдаты мгновенно обернулись. Три автомата нацелились на Бориса Васильевича. Катьш, светя фонариком, быстро подкатился к Обухову.

— Ты русский?

— Кто бы я ни был, а безобразничать с мирным беззащитным населением не позволю, — твердо ответил старик.

— Власовец? — не веря, протянул катьш, разглядывая седую голову, морщинистое лицо и потрепанный пиджак Бориса Васильевича.

— Не. Наверно эмигрант. Из беляков, я таких видал, — тихо сказал юркий, смущенно поглядывал на старика.

— А что ты за немцев заступаешься? Что они тебе? — уже не так смело спросил катьш. Видно было, что солдаты смущены; высокий тянул юркого за рукав и говорил: «Бросьте, ребята, пошли. Чего вы...»

— Я русский и мне стыдно за русских, если они позорят свою солдатскую честь, — продолжал Борис Васильевич, чувствуя себя как в бреду.

— Да мы что... Мы же только так... — совсем замялись двое, только катьш, скрывая смущение, еще тараторил:

— Что ты, старый! Мы что, грабители? Да нам и время нет прохлаждаться с вами! Пошли, хлопцы! — один за другим они исчезли в двери.

Борис Васильевич перевел дух и сел на прежнее место. Теперь болело и сердце. «Пришли. Россия пришла. Что ж, радоваться таким?» Как будто то, что говорили о советских, оправдывалось. Хорошего ждать не приходилось. Возникла и досада: «Я же хотел не выдавать себя, сначала присмотреться. Выскочил, неизвестно, зачем». Но и радовало сознание, что удалось защитить немцев: солдаты всё-таки ушли? Значит, не такие они плохие, на них можно повли-

*) Что вы хотите от меня?

ять? Немцы еще не оправились от волнения и сидели окаменело.

Через несколько минут в двери опять показался красноармеец. Не входя в подвал, он крикнул:

— Кто здесь русский, выходи!

Борис Васильевич встал, перекрестился. С трудом передвигая тяжелые ноги, пошел к выходу. Солдат посторонился, пропуская его. Карабкаясь по камням, завалившим ступеньки, Борис Васильевич приготовился: сейчас будет расплата и за защиту немцев, и за то, что он белый, и за его двадцатипятилетнюю любовь. Сразу за всё.

Во дворе сияло солнце. Только минуты через две он разглядел, что стоит перед двумя военными, о чем-то его спрашивающими. Они были тоже в телогрейках с тесемками, в шапках ушанках и грязных стоптанных сапогах. По ремням с пистолетами на боку и по планшеткам Борис Васильевич заключил, что они офицеры. У одного было худое, заросшее рыжеватой щетиной лицо, серое от пыли; на правой стороне пот проделал в пыли неровную дорожку от виска до подбородка. Второй, пониже ростом и поплотнее, блестел возбужденными глазами на широком лоснящемся лице. Нахмуренный и энергичный, первый хлопал по левой руке планшеткой с раскрытой картой.

— Шевелись отец! Ты здешний? Местность знаешь? — повторяя, спрашивал высокий офицер.

— Знаю. Двадцать лет в этом доме живу.

— Вот и отлично! Смотри, можешь провести вот сюда? — ткнул офицер в карту и тотчас же захлопнул планшетку: — Да чорт тут разберет! Смотри, лучше так расскажу...

Офицеры торопились. Фланги по другим улицам ушли вперед, а на этом участке продвижение задержалось. Впереди была почти уцелевшая школа, в ней засели эсэсовцы и простреливали из пулеметов и автоматов все подходы. Подойти в лоб невозможно, артиллерийский обстрел вызвать нельзя: слишком близко свои. Сил мало, а продвигаться необходимо: еще несколько часов — и конец! Победа, которую ждали сотни дней и ночей миллионы людей — вот она, за этой школой! Офицеры были распалены и нетерпеливы: школа должна быть взята. Но в развалинах ничего не понять: груды битого камня и кирпичка завалили город, где улицы, дворы, проходы, не разобрать.

Оглянувшись, Борис Васильевич не узнал, где он: всё лежало в развалинах. От дома, в котором он жил, осталась половина боковой стены. Впереди на высокой гряде кирпичача примостились солдаты и куда-то стреляли, должно быть в школу, невидную за кучей. Слева короткими очередями, нервно, в том же направлении бил пулемет.

— Скорей соображай, отец! — торопил офицер. — Ты военным не был? Нам надо...

Он не договорил и, качнувшись, упал на Бориса Васильевича. Старик инстинктивно распахнул руки и поддержал; он еще успел увидеть, как странно захлопнулись глаза офицера на неизменившемся лице: словно очень уставший офицер мгновенно уснул.

Подбежали солдаты, вместе со вторым офицером подхватили убитого и опустили на землю. Шальная пуля угодила в спину, пробила сердце: на телогрейке уже расплылось красное пятно. Офицер снял шапку, нагнулся над товарищем.

— Эх, Коля, не дотянул! — горестно воскликнул он. — Тысячи километров осилил, пустяка не одолел!

Солдаты на гряде кирпичей оглядывались. Один, круглый и крепкий, немного сполз вниз и крикнул, еще не веря: — Капитана убило? ..

Борис Васильевич узнал того, который первым вошел в подвал. Катяш поднялся; распахнув телогрейку, он вскочил на гребень кучи и, полосуюя из автомата по невидимой снизу цели, с бешенством кричал:

— Получай, гады! За моего капитана, гады! — потом взмахнул автоматом и сковырнулся вниз.

— Готов! — словно с ноткой восхищения сказал стоявший рядом с Борисом Васильевичем солдат.

Офицер провел рукой по лицу, будто стирая пот и гримасу горя. Взяв Бориса Васильевича за рукав, он отвел его немного в сторону от трупов. Продолжая начатое другим, он говорил также нетерпеливо:

— Надо обойти школу и взять. Понял, батя? Это пустяк, их там немного, от отчаяния палят, с перепугу. Обойти — вылезут. Проведешь там, правее? — показал он рукой. — Ты не военный?

— Капитан русской армии.

— Ну, чего больше! Батя, я тебе дам людей, действуй! А мы с того бока пойдём. Договорились?

— Но я не знаю ни нового оружия, ни новой тактики, — ошеломленно, не поверив ушам, сказал Обухов.

— Э, тактика!.. Ну, ладно, поведешь только. Старший сержант Семенчук! Ко мне! Бери своих людей, слушай задачу...

Через пять минут Борис Васильевич пробирался со старшим сержантом Семенчуком, таким же широколицым и курносым, как убитый солдат, среди развалин в обход школы. За ними, где пригибаясь, где ползком, двигались солдаты Семенчука. Кто-то сунул Борису Васильевичу винтовку, — он сжал её в руке и почувствовал, как захолонуло сердце: трехлинейная, образца 1893 года! На секунду остро вспомнилось, как взял впервые винтовку в руки, в военном училище, почти полвека тому назад.

Он не понимал, что происходит с ним. Эти две простые солдатские смерти, точно такие же, какие так часто приходилось когда-то видеть ему самому, тоже ежедневно подвергаясь смертельной опасности, и то, как офицер реагировал на смерть друга, жалея, но ни на минуту не забывая о своем военном долге, родили чувство, что он сам — на месте этих офицеров. Что он такой же, как они, — а то, что он снова взял в руки винтовку и ведет за собой русских солдат, вдруг спутало всё, странным образом стерло последние тридцать лет, зачеркнуло его изгнанничество, бездомность, и он опять оказался среди своих и сам им свой. Конечно, это свои: на солдатах, что ползут за ним и Семенчуком, незнакомые пилотки, у некоторых даже со звездочками, но под пилотками такие же точно лица, какие были и у солдат его роты в первую мировую войну. Это ведь те же Гришки, Петьки, Ваньки, Сашки, Семенчуки, Обуховы, Сидоренки, Степановы, грубые, нескладные, но и такие живые, непосредственные, умеющие так мирно и лихо принимать смерть. Борис Васильевич с трудом понимал, где он и что что с ним.

Семенчук вопросительно оглянулся: впереди стена, справа и слева груды камней. Куда? Усилием воли протнав мешавшие мысли, Борис Васильевич осмотрелся. На углу полуобваленной стены висел клочок плюща, под ним вдавался зеленый жолоб водосточной трубы. Борис Васильевич вспомнил: третий дом от угла. Если обойти справа, через

переулок, выйдешь к боковой стене школы. Он кивнул Семенчуку и, почувствовав давно забытый боевой азарт, нагибаясь, полез по камням в обход стены...

Спустя полчаса со школой было покончено. Офицер с чувством потряс руку Бориса Васильевича, благодаря за помощь. Семенчук, левой рукой вытирая платочком пот с лица, тоже жал ему руку и говорил:

— Пойдем с нами, папаша, из тебя солдат на все сто! Сильно воюешь! — Солдаты шутили, на прощанье совали ему кто пачку махорки, кто папиросы, кто банку консервов. Но прощанье было недолгим: они торопились. Путь к победе расчищен, надо идти вперед. И они спешно двинулись дальше.

Посмотрев им вслед, Борис Васильевич повернул назад. Горело справа, слева, пахло гарью, под ногами из-под развалин кое-где тоже курился дымок. Перебираясь через кручи камней, Борис Васильевич чувствовал себя странно. Еще трудно было освоиться с внезапным возвратом в молодые годы, на тридцать лет назад, в нем еще бродило недоумение: что произошло? Он чувствовал себя усталым и от этого внезапного превращения, и от только что пережитой схватки в школе. Но усталось была приятной, освежающей: и схватка — часть превращения. В ней он еще раз увидел, что он среди своих. Сколько у солдат ловкости, смелости, но и умения, осторожности! Как просто они шли в бой, этот последний для них бой, которым они были разгорячены до опьянения, и не жалели себя, не страшились смерти, но и как они были ловки и умелы! Такими же были его солдаты тридцать лет назад, таким же был и он сам. И Борис Васильевич чувствовал, что будто бы нашел завершение своим тяжелым многолетним думам, оправдание своей доселе безответной любви.

Около остатков своего дома он увидел других солдат. Наверно, это была резервная часть: они никуда не торопились и располагались по-домашнему. Некоторые спали, прямо на грудях кирпича, другие сидели группами и курили, разговаривали, третьи закусывали. Из подвала еще пугливо выглядывали немцы. Но и из них кое-кто уже осмелел: чуть дальше среди развалин стояла походная кухня, у нее, после прохота гранат и выстрелов в школе, был удивительно мирный вид, и рыжий рябой солдат раздавал немцам остатки пищи. Перед кухней, кучкой человек в пятнадцать, сто-

яли с мисками и тарелками старики, женщины, подростки, солдат выливал им в посуду что-то дымящееся, наверно вкусно пахнущее, и добродушно разглагольствовал:

— Не толпись, всех оделю. Оголодали с Адольфом, ну, я досыта покормлю. Теперь нацизме вашей крышка, в людей вас будем перекрещивать. То-то, садовые головы. Чего совались? Шутка вам, на Россию переть? Макитры у вас на плечах вместо голов поодеваны?

Он взгляделся в старика, протягивающего миску, взмахнул черпаком:

— Ты что, во второй раз? А совесть у тебя есть? Как всем, так и тебе, за добавком к Адольфу иди. Тут по справедливости, несознательный ты старик. Иди, иди, а то тресну по черепку, разом перевоспитаешься. Малого пропустил! — указал он на нерешительно мявщегося позади подростка. Немцы, словно понимая всё, что говорил кашевар, раздались и пропустили подростка.

Посмотрев на раздачу, Борис Васильевич почувствовал, как ком подкатил к горлу. Он сходил в подвал, достал из вещи кастрюльку и пошёл к кухне. Обождав своей очереди, протянул кастрюльку кашевару и, с трудом справившись с волнением, сказал:

— Ну, плесни и мне вашего варева...

ДВА СЕВОСТЬЯНА

Окно госпитальной дежурки выходит на прямую дорогу, уставленную унылыми черными метелками в деревянных кадках. Месяца два назад в госпиталь приезжало большое начальство, для его приема по сторонам дороги расставили кадки с пальмами, собранными со всей округи, из вилл местных фабрикантов, — когда начальство уехало, о пальмах забыли. В первые легкие заморозки пальмы померзли. — Они стоят теперь, с обвислыми лохмотьями листьев, нелепо и безобразно. За дорогой, вдалеке, начинаются домики небольшого села, затянутые сеткой мелкого, как изморозь, дождя гнилой немецкой зимы.

От дождя, или от безобразных пальм, которые ему примелькались до одури, у Севостьяна, младшего сержанта обслуживающей госпиталь команды, подавленное настроение. Он сидит на широком подоконнике и тоскливо смотрит в окно.

Севостьян, азербайджанин, призванный в армию в 1942 году, собственно, не Севостьян, но у него такое мудреное имя, непривычное русскому уху, что солдаты окрестили его, по созвучию с настоящим именем, Севостьяном. А это имя прилипло так крепко, что, пожалуй, Севостьян и сам забыл, как его зовут по-настоящему.

Севостьяну скучно. Время тянется медленно, делать Севостьяну нечего: сиди и жди, когда позовут и куда-нибудь пошлют. Севостьяна держат на побегушках: на другое он вряд ли способен. Сегодня его никто не зовет и неизвестно, куда убить время.

Вздыхнув, он опускает голову и закрывает глаза. В памяти смутно, как туманная пелена дождя за окном, проплы-

вают неясные картины. Родная деревня: глубокая лощина между холмами, подняться на них — совсем близко лиловеют вершины Кавказа. Склоны холмов в зелени садов и виноградников, желтеют домики дач: недалеко большой город. За дачами темнеет лес, а сверху пылающее солнце льет жару, истому, лень. Хорошо бы сейчас очутиться дома, бродить босиком по саду, лежать под палящим солнцем — Севостьяна мобилизовали шестнадцать лет.

Севостьян вздохнул еще раз. А какие девушки, наверно, выросли за те четыре года, что он не был дома! Какое было бы ему, Севостьяну, раздолье: мужчин мало, перебили на войне, а он молодой, здоровый. И почему его держат здесь? На днях спросил замполита — тот обругал. Что ему делать в Германии — смотреть на эту проклятую дорогу? На кой чёрт ему сдалась Германия? А дома томятся, ждут Севостьяна девушки. Теперь бы жениться, в самый раз, и спокойно жить . . .

Он чувствовал себя очень несчастным, обиженным, только неизвестно, кем или чем. Судьбой, что ли? Верно, судьба к нему несправедлива. Вот, вчера, в пивной встретил девушку, — у Севостьяна зашумело в ушах, когда он разглядел нежную белую кожу лица и рук, голубые глаза, завитые, как у барашка, волосы немки-блондинки. Мучительно, до пота, силясь придумать, что бы сказать ей для первого знакомства, он совсем собрался пересесть за столик блондинки, как пришли три летчика с соседнего аэродрома. Конечно, ничего не вышло: этим летчикам везде первое место! Блондинка смеялась, болтая с летчиками, а Севостьян остался ни с чем и бессильно злился. Почему летчикам привилегии: разве Севостьян не такой же человек? И чего они суются в пивную, облюбованную госпитальной командой?

Глубоко обиженный, он заказал у стойки пива, — пожалуй, только для того, чтобы почувствовать себя еще несчастнее: пиво было кислое, противное, пахло гнилой трухой. Глотая пиво, он увидел на стойке очки хозяина пивной, простые, круглые, в железной оправе. Севостьян вспомнил об Ольге Петровне и, незаметно взяв очки, сунул в карман. Это его обрадовало и немного примирило с жизнью: какой он, Севостьян, ловкий, как хорошо ему удалось стащить очки! Поскорее заплатив за пиво, он ушёл.

Вспомнив вчерашнее, Севостьян достал из кармана очки и повернулся. У стены за столом что-то пишет Ольга Петровна. Ворчливая старушка, но Севостьян испытывает к ней чувство, которое он не умеет объяснить. Справедливая старушка. Севостьяну иногда хочется сделать для неё что-нибудь хорошее, приятное, но получается как-то так, что он каждый раз забывает об этом. У старушки очки связаны ниткой, одно стекло лопнуло: она, наверно, плохо в них видит. Севостьян подошел и положил перед Ольгой Петровной очки.

— Возьми, тётка, тебе, — он всегда называл её тёткой.

Ольга Петровна подняла глаза, удивленно посмотрела на Севостьяна.

— Что за очки? Откуда взял?

— Тебе очки. Где ни взял, взял, тебе принес. Твои плохие, бери.

— А кто тебя просил?

Севостьян почувствовал раздражение: почему не берет? Дают, а она не берет!

— Зачем просить? Я сам захотел, для тебя. Бери, даю, — настойчиво сказал он и пододвинул очки ближе.

Ольга Петровна улыбнулась, примерила — стол перед ней расплылся. Она сунула очки в руку Севостьяна.

— Когда ты, Севостьян, чему-нибудь научишься? Очки, чудак-человек, надо подбирать по глазам, по номерам. Эти мне не годятся, возьми.

Севостьян, еще не понимая, не убирал руки со стола.

— Не берешь? Почему не берешь?

— Я уже сказала, что они мне не годятся. Где ты их взял? Небось стащил? И иди, пожалуйста, не приставай. у меня работы много.

Севостьян постоял у стола, вертя очки в руке. Судьба к нему не благоволила. Вздохнув, он огорченно отошёл на свое место, открыл окно и выбросил очки во двор. Тщательно закрыв окно, сел на подоконник и опять стал смотреть на пальмы, похожие на метелки.

Украдкой наблюдая за Севостьяном, Ольга Петровна покачала головой и тоже вздохнула. — Детинушка! Господи, что же с ним делать? Что делать с таким детинушкой, способным свалить быка? Руки, как рычаги, упрямое, цвета порыжевшего сапога лицо, а ведь сущий ребенок. И не пло-

хой, — думала Ольга Петровна. На прошлой неделе его поставили старшим в палату легочников. Он забежал на минуту к Ольге Петровне, довольный, радостный, что ему поручили такой ответственный пост, сделал таинственное лицо и сказал:

— Знаешь, кто я теперь?

— Кто? — с любопытством спросила Ольга Петровна.

— Я... я... — не находя слов, таращил глаза Севостьян; потом махнул рукой и выпалил: — Я — два Севостьяна!

Она удивилась. Заглядывая ей в глаза, Севостьян немного подождал, радуясь произведенному впечатлению.

— Не веришь? Нет? Один Севостьян — я, сам, младший сержант. Второй тоже я — старший палаты. Теперь веришь? — и столько простодушного довольства светилось у него в глазах, что оно обезоруживало.

К вечеру, впрочем, опять остался один Севостьян. В палате легочников строго запрещали курить, но легочники всё-таки иногда покуривали, — рьяно взявшийся за свои обязанности Севостьян сначала предупредил больных, а потом, застав за курением двоих, одного чуть не задушил одеялом, у другого отнял папиросу и силой уложил больного в кровать, так, что солдат жаловался, будто Севостьян сломал ему спину. Больные взбунтовались — главврач распек Севостьяна и прогнал на старое место. Севостьян не понимал, почему его прогнали: он же только наводил порядок? А как с ними поступать, если они не слушаются? ..

Эмигрантка с 1919 года, Ольга Петровна работала в госпитале переводчицей. Начальство сторонилось её, — с солдатами она была своей. Прямая характером, привыкшая «резать правду-матку в глаза», Ольга Петровна сурово выговаривала солдатам за проделки, но и писала им письма, подолгу с ними разговаривала. Отвыкшие от семьи, от матерей и жен, многие охотно поверяли ей свои думы об оставленных родных, о доме, советовались с нею. Умея слушать, Ольга Петровна внимательно выслушивала длинные рассказы, поддакивала, где надо, старалась помочь, чем могла, чтобы подбодрить, поддержать простодушных людей. За душевную ласку солдаты платили тоже, чем могли и как умели: зная, что ей живется не сладко, они старались передать ей что-нибудь из пайка, или папирос, махорки, чтобы она могла обменять у немцев на продукты. Как она ни

отказывалась, ей редко удавалось отказаться. Позавчера один из солдат позвал её и за дверью, чтобы никто не видел, сунул в руку пакетик и убежал. В канцелярии Ольга Петровна развернула сверток: в грязной газете была половина жареной курицы, почерневшей, с прилипшими обрывками бумаги, сдавленной, — солдат, наверно, прятал её под подушкой, если не под матрацем. Диэтик, он не съел курицу за обедом, а оставил Ольге Петровне. Она не знала, радоваться ей или плакать, глядя на этот подарок, который вряд ли можно будет съесть, — жалкий подарок, но и такой дорогой, щедро данный от чистого сердца.

— Дети, дети, — часто повторяла она, вспоминая вечерами окружавших её солдат.

И Севостьян, сильный, здоровый, ударом одной руки могущий сбить с ног, тоже ребенок. Надо только по-человечески относиться к нему, он послушается и не будет красть очки, чтобы потом выбрасывать их. Слушают же её другие? Но иногда Ольгу Петровну пробирал страх: да понимает ли она Севостьяна? Что может справиться с его упрямой силой? . .

В коридоре загромыхали быстрые шаги и в дежурку не вошёл, а вбежал помглаврач, за ним молодая женщина-военврач.

— Почему сразу не доложили, что лаборантки нет? — раздраженно говорил помглаврач.

— Но я вступаю на дежурство в десять, а Ильза приходит в девять. Я ничего не знала, — оправдывалась военврач.

— У нас никогда никто ничего не знает! Всегда так! — горячился помглаврач. — Севостьян! Возьми винтовку, пойдешь в село! Ольга Петровна: не вышла на работу Ильза Кранц, а сейчас прибежала её соседка и говорит, что к ним забрались какие-то два солдата и безобразят. Чёрт знает, что! Пойдите с Севостьяном, узнайте, в чем дело. Ильзе скажите, чтобы шла на работу, дело стоит. Севостьян! Действуй энергично! Солдат заberi и приведи сюда, потом отправить в комендатуру. Живо: одна нога здесь, другая там! . .

Гордый возложенной на него задачей, Севостьян так спешил, что Ольга Петровна едва поспевала за ним. Входя в село, Севостьян бубнил:

— С аэродрома солдаты, я знаю! Они всегда шлятся, где не надо. Узнают они Севостьяна! Севостьян им даст!

Он был не на шутку разозлен. Опять с аэродрома и опять за девушками! На Ильзу Севостьян не обращал внимания: маленькая, черненькая, запуганная, она тенью проскальзывая на работу, также уходила домой — посмотреть не на что. Ильза работала в госпитале, когда он еще был немецким, новые хозяева оставили её, пока не было замены. Нет, Ильзой Севостьян не интересовался, но то, что к ней пришли чужие солдаты, распалило Севостьяна.

У небольшого двухэтажного домика остановились, Севостьян забарабанил прикладом в дверь.

— Тише, не надо прикладом, — попросила Ольга Петровна, но он продолжал стучать.

Сквозь прохот было слышно, как в домике поднялась беготня. Через две-три минуты дверь открыла старая заплаканная женщина. Что-то бормоча, вскрикивая, она пропустила их.

Севостьян бегом ворвался в комнату — на столе посередине стояла пустая бутылка из-под водки, два стакана, но в комнате никого не было. В кухне легкий ветерок колыхал оборванную занавеску на открытом окне.

— Они выскочили в окно! — по-немецки кричала женщина. Севостьян подбежал, глянул. — Окно выходило в узкий дворик, никого в нем не было.

— Ушли, — буркнул Севостьян. Раздраженно захлопнув окно, он посмотрел на женщин: что предпринять? Потоптавшись, махнул рукой и недовольно поплелся в первую комнату.

Женщины вошли следом. Встав у притолоки, немкамать продолжала невнятно стонать и жаловаться, а дверь во внутреннюю комнату открылась и показалась Ильза. На её лицо спускались растрепанные пряди темных, почти чёрных волос, от них лицо казалось еще белее. Синенькая кофточка была разорвана до пояса и открывала такие же белые плечи и ничем не прикрытую жалкую и трогательную грудь. Сжавшись, нагнув голову, Ильза стояла, не шевелясь, и молчала.

Ольга Петровна начала было утешать плачущую мать, но заметила взгляд Севостьяна и остановилась: Севостьян слишком пристально смотрел на Ильзу. Медленно, словно не решаясь, он шагнул к ней, сделал еще шаг — и уже быстро подошёл к Ильзе и крепко взял за руку. Девушка

вздрагнула, еще ниже опустила голову.

Поняв, Ольга Петровна бросилась к Севостьяну, схватила за рукав:

— Ты чего? Назад Севостьян!

Не видя, он глянул на неё горящими глазами:

— Уйди!

— Оставь, Севостьян! Идем, нам время...

— Уйди.

— Что ты хочешь?

— Я сказал уйди, — бормотал Севостьян, отрывая Ольгу Петровну и оттесняя в сторону. Ольга Петровна упорствовала, борясь изо всех сил.

— Севостьян, перестань, как тебе не стыдно!

— Я тебе говорю, уйди! Хуже будет! — тяжело дыша, он оттолкнул её и бросился в комнату, втолкнув туда и девушку. Ольга Петровна вцепилась в шинель:

— Стой, Севостьян!

— А, — рассердившись, вскрикнул Севостьян. — Тебя не хватают, ты не дрыгай! — и с силой толкнул её.

Падая, Ольга Петровна видела, как захлопнулась за Севостьяном дверь. Немка стояла, притихнув, и остановившимися глазами тоже смотрела на дверь.

Ольга Петровна почти ползком добралась до кресла в углу, села, прикрыла глаза рукой. Она чувствовала себя словно окаменевшей, в ней будто всё вдруг застыло, опустело.

Через несколько минут Севостьян вышел, одной рукой опираясь на шинель, а другой волоча за собой винтовку. Хмуро и немного смущенно посмотрев на Ольгу Петровну, он буркнул:

— Идем, тетка. — Видя, что она не встает и не отнимает руки от глаз, помолчав, Севостьян добавил: — Ты не серчай. Я говорил, уйди. Зачем в мое дело мешаешься? А ей всё равно, два иль три...

БРАТЯ

Оторвав глаза от газеты, Камышов поднял голову, глянул — трамвай поворачивал за угол и собирался завести неведомо куда. «Прозевал остановку!» Ноги напряжились, сами вынесли Камышова на площадку, — сунув скомканную газету в карман, он спрыгнул. И только перебегая мостовую сообразил, что еще с площадки трамвая заметил на тротуаре полицейского.

Полицейский спокойно поджидал Камышова. Снисходительно-вежливо притронувшись двумя пальцами к козырьку черной каски, он негромко спросил:

— Вам известно, что прыгать на ходу запрещено?

«Влип, — констатировал Камышов, соображая, что бы предпринять. — Как это я сплеховал? Проехать бы чуть дальше...» Полицейский смотрел черезчур спокойно, так, как могут смотреть только непоколебимо убежденные в своей правоте представители власти. Словно даже участливо вздохнув, он предложил:

— Платите штраф, три марки.

В кармане у Камышова лежали шесть марок — отдать половину своего капитала было не легко. Досадливо смотря в лицо полицейскому, он не находил, что возразить: было очевидно, что непоколебимость полицейского ничем не пробить. Рука преодолела чувство протеста и полезла в карман.

— Может, я хотел самоубийством покончить? — проворчал он первое, что подвернулось на язык, передавая три марки. Аккуратно сложив их, полицейский вручил Камышову квитанцию и ответил, с противной любезностью в голосе:

— Пожалуйста, ничего не имеем против. Только не на улице, не таким способом: придется вызывать скорую помощь, останавливать движение, возбудится нездоровое любопытство. Порядок должен быть, — он опять приложил два пальца к каске и негромко прищелкнул каблучками, давая понять, что разговор окончен.

Камышов засмеялся и пошел по улице. Слова полицейского стладили потерю трех марок. «Это восхитительно! Порядок! — мысленно передразнил он полицейского. — А в голове у тебя порядок? Ты кто, социал-демократ, христианский демократ, коммунист, или какой еще Чёрт Иваныч? У тебя же, небось, мозги набекрень, всё вкривь и вкось, а туда же: по-ря-док! Ей-ей, не жалко трех марок заплатить: сразу вся Европа на ладони! Мне до тебя дела нет, хоть в петлю полезай, только с виду порядок соблюди! Чудеса! А самое интересное в том, что, как ни крути, а каким-то боком он прав!» — неожиданно заключил Камышов.

Надвигались сумерки. Был тот час, когда потоки служащих из учреждений и магазинов уже схлынули и по тротуарам негусто торопились домой задержавшиеся. Кое-где засветились витрины. Шедшая навстречу хорошенькая немочка в кокетливой шляпке насмешливо, как показалось Камышову, взглянула на него и прошла мимо упрямо-дразнящей походкой. Камышов невольно оглянулся:

— Ишь, как маркой подарила! А ничего, не часто такую встретишь. Впрочем, чего там! — отмахнулся он. — Когда-то я любопытничал: а что думает сейчас вот такая? Казалось, каждый человек — загадка и уж непременно таит в себе массу интересного. А что в нем может быть, кроме всякой сомнительной ерунды — мыслей о еде, о любовниках или любовницах, о шнапсе, мышинных забот о семье и прочего в том же духе? И не мыслей даже, а так, туманных представлений, вождедений, чего-то неопределенного и по большей части гнусоватого. Привлекательные тайны!

Он окинул взглядом улицу — глаза поймали десятка два-три мужчин, женщин, с портфелями, с сумками; издали грохоча приближался трамвай, с тремя пока ненужно светящимися глазами.

— Ползут по улице, расплываются, как . . . протоплазма. Факт, протоплазма: из тысячи наберется пять-шесть думающих, умеющих осознавать свои чувства и пытаться уп-

равлять ими, а у остальных так, неосознанные рефлексы, лягушачьи подрыгиванья. Всё вместе составляет человеческую массу, а каждый в отдельности... Гм, а каждый в отдельности, как никак, всё же живой человек. И ничего ты с этим фактом не сделаешь, ибо — человек! И ты, друг, не хватай через край, — мысленно погрозил он самому себе, — в дебри не забирайся. «Всё благо; бдения и сна»... и так далее. А следовательно, и шнапс и прочее в таком роде не такая уж плохая вещь, — усмехнулся Камышов.

Он прошел мимо вокзала, всё еще не отремонтированного после войны, с торчащими в небо полуразрушенными башнями над входом. Вспомнилось, что сегодняшнее настроение, которое Камышов в шутку называл «философическим», возникло еще утром и весь день он был немного в необычном состоянии.

— С чего, собственно, началось? А, да, письмо с юга... Дремучая эмигрантская история: одни не поладили с другими, а третьи со всеми вместе, в том числе и с самими собой. Монархисты, социалисты, такие, сякие, — механика! А за ней всё та же протоплазма: мелкие честолюбия, желание «играть роль» и вообще безглазость и безликость. Кричат: на бой, на бой, бороться с коммунизмом! А скажи всей этой толпе: пойдя — и умри! — мигом в кусты бросятся и опять единицы останутся... Гм, это что-же, тоже благо? — с сомнением спросил он себя.

Днем, во власти этого настроения, Камышов сказал одному из своих друзей:

— Вообще говоря, можно подумать, что на свете стало так пакостно, что вполне можно закрыть глаза и бежать, куда попадет. Например, — поехать в Калифорнию апельсины собирать.

— Или репатриироваться, вернуться в СССР? — улыбнулся друг.

В воздухе парило. Дождя не было дня три, но к вечеру с моря наплывала влажная мгла, нагретые камни домов и мостовых превращали влагу в душный пар. Похоже было, что идешь сквозь молочные испарения — и вкус воздуха напоминал тепловатое, начинавшее киснуть молоко.

— Репатриироваться, понятно, пускай дядя репатрируется, — подходя к отелю «Рейхсгоф», думал Камышов. — А вот на Донец, рыбку половить, я бы поехал! И с каким

бы еще удовольствием! Сидел бы на бережку с утра до вечера и посматривал бы на поплавок. И пускай бы ни один чебак не клюнул, лещий с ними, с чебаками, только бы на солнышке благоприятное воздыхание вдыхать и ни о какой механике не думать! Ух, добре бы было! — даже зажмурился он от удовольствия но тотчас же открыл глаза: у отеля и дальше, перед театром, толпились англичане, можно было на кого-нибудь наскочить.

Бессознательно прокладывая взглядом путь между зелеными куртками англичан, Камышов взял немного вправо, к краю тротуара, — вдруг глаза его вспыхнули, он вздрогнул:

— Неужто?

Шагах в пяти от него стоял советский офицер. Но не это взбудоражило Камышова: советских офицеров у отеля он видел нередко. Ни один из них не заставлял его так внезапно похолодеть, подобраться внутренне, напряжиться как сейчас: на краю тротуара, в форме советского офицера, стоял Антон. Сомнений не могло быть: острый, с резко-вычерченным носом профиль брата, упрямо посаженную на плечах голову, прямую спину и крепкую выпуклую грудь Камышов узнал бы всюду. С взвизгивающим чувством и бешено заколотившимся сердцем Камышов прошел за спиной брата и остановился около театра, у пестро размалеванной афиши. Косая глазами, он смотрел на офицера; мысли его скакали наперегонки с сердцем.

Сколько раз, проходя мимо «Рейхсгофа», надеялся он встретить в одном из советских офицеров близкого друга, еще лучше — одного из братьев! Думалось: почему бы нет? Шансы не велики: почему из сотен тысяч советских офицеров обязательно один из братьев или друзей появится здесь? Но случай глуп, а желание такой встречи было у Камышова огромным, до наводнения, и он всегда неуместно пристально всматривался в советских военных. И вот — мечта сбылась! Камышов посматривал на брата и лихорадочно думал: что дальше?

Антон стоял, заложив руки за спину и беспечно поглядывая перед собой. Плотная, среднего роста фигура была исполнена внушительности и беззаботности одновременно: похоже, что человек ничем не занят и бездумно предаётся отдыху.

— Один или еще с кем? — неслось в голове Камышова. Его бросало в жар и холод, он дрожал от возбуждения. — Надо не выпустить. Если повернет в отель, дело дрянь, придется дежурить до утра. Не ждет он машину? Тоже плохо... Ну, голубчик, сдвинься с места! — взмолился он.

Словно поддавшись мольбе, офицер легко шагнул на мостовую, пересек широкую улицу и не спеша двинулся по другой стороне, чуть помахивая левой рукой и покачивая корпусом: человек явно отправился на прогулку. Камышов вздрогнул, на этот раз от радости.

— Теперь не уйдешь! — едва не вслух воскликнул он, сорвался с места, но заставил себя идти медленно. На углу он тоже пересек улицу и пошел шагах в ста позади брата.

— Организуем правильную облаву, — думал Камышов, еще боясь, как бы не потерять брата. — Во-первых, нет ли случаев слежки? — Он остановился у одной витрины, у другой, незаметно присматриваясь к прохожим, завернул за угол — слежки как будто не было.

— Ну, а дальше? — беспокоился он. — Как подойти? Советчик, на него каждый глаза пялит. Надо на пустом месте захватить...

Сумерки сгущались, прохожие редели. Антон повернул к озеру, постоял, смотря на расплывавшиеся в воде отражения огней уже спрятавшихся в темноте зданий на той стороне, закурил папиросу и опять не спеша пошел по берегу, почти сливаясь с темнозеленым фоном обрамлявших озеро кустов. Камышов оглянулся: прохожих поблизости не было. Приняв решение, он быстро догнал офицера, шагов за пять до него приостановился и тихо, немного насмешливым голосом, позвал:

— Антоша! — и удивился: говорить, оказывается, было трудно, от волнения перехватывало горло.

Офицер быстро повернулся. В его глазах мелькнуло настороженное удивление, лицо вытянулось и застыло. Минуту он всматривался в медленно подходившего брата, тихо и твердо спросил:

— Ты?

Стараясь овладеть собой, Камышов заставил себя смотреть спокойно.

— Я. Не ожидал? — Несколько секунд они молча разглядывали друг друга. Позади послышались шаги. Теряя напускное спокойствие, Камышов заспешил:

— Дай папиросу и прикурить, при случае скажешь: немец, попросайничал. И иди за мной, в какой дом войду, иди следом, проведу к себе. Не бойся. — Торопливо прикурив, он даже зачем-то сказал: — Данке зэр! — и пошёл вперед.

От маковки до пяток пронизанный одним стремлением — незаметно провести брата к себе, — Камышов не чувствовал под собой ног. Механически-цепко схватывая взглядом улицы, перекрестки, он постепенно подходил к своему дому, а мысль продолжала скакать: «В каком он чине? Отстал, погон не знаю. Кажись, полковничьи. Хо-хо, Антоша, в полковниках! А здоров, еще больше поширел и раздобрел. И такой же, быком смотрит... Будет баталия, братишечка, видно, таким же сурьезным остался. Сухарь, да мне что, мне твои полковничьи погоны ноль внимания, со мной разговор особый. Посмотрим, чем вы дышите, тут дело не протоплазмой пахнет, соль земли, так сказать. Положим, не соль, а всё-таки... Но как же ладно получилось!»

Глухо шевельнулось и неудовлетворение: почему Антон, а не другой из братьев? Черствовать, самолюбивый, властный, Антон держался в семье особняком, еще в начале тридцатых годов вступил в партию и шел какой-то своей, не совсем понятной дорогой. Иногда Камышов думал о старшем брате с неприязненной горечью: «Карьерист!» — но что-то в Антоне мешало ему окончательно утвердиться в этом мнении. После школьных лет они редко встречались, а встречаясь, часто испытывали друг к другу словно насто-роженность и недоверие, плохо прикрываемые родственным чувством... Устыдившись, что он еще может быть недоволен, когда всё получилось так хорошо, Камышов вошёл в подъезд дома, подождал брата и, ухватив его за рукав, повел по темной лестнице.

— Только два пролета. Моя комната сразу против двери, пройдем незаметно. Тише сапогами греми, — шептал он. Антон молча повиновался.

В комнате Камышов плотнее задернул занавеску окна, включил электричество:

— Все в порядке, прошу!

Антон оглядел комнату, перевел взгляд на брата. По краске в лице и чуть вздрагивавшим ресницам Камышов заметил, что Антон тоже взволнован, но, конечно, скрывает это.

— А ты всё такой же. Постарел только, — улыбнулся Антон, обнажив крупные крепкие зубы.

— И ты не помолодел, — в тон ему отозвался Камышов.

— Обнимаемся, что ли? Лет десять не виделись, — смягчившись лицом и став непохожим на себя, сказал Антон.

Они обнялись, поцеловались.

— А ты по-буржуйски устроился, — садясь в кресло, сказал Антон. — Диван, шкаф с зеркалом, письменный стол, лампа с абажуром. У нас не у каждого полковника встретишь.

— Так то ж у вас. А здесь почти все так живут. Можешь наглядно, и даже на ощупь, убедиться в преимуществе «капиталистической системы».

— Ты меня на агитацию не бери, — засмеялся Антон.

— Тебя агитируешь! Да нечего времени переводить, рассказывай! А я кое-что соображу: как знал, утром полбутылку купил. Примем гостя, как положено . . .

Камышов достал водку, стопки, сделал несколько бутербродов. Поминутно оглядываясь на брата, он словно удостоверился, здесь ли Антон? — и как в прежнее время, чувствовал в непринужденно развалившейся фигуре брата будто настороженность, — и такую же настороженность чувствовал к брату в себе.

— Это чудо, Костя, что мы встретились. Даже не верится.

— И мне не верится. Я всё смотрю, ты или не ты?

— И я тоже. Я тебя совсем в пропавшие зачислил. Хотя, иногда и подумывал, когда ты на мысль попадался: Костя где-нибудь на Западе заболтался.

— Поди, на мысль-то я не часто подвертывался?

— Не часто, — улыбнулся Антон. — На дело времени не хватает. Как ты попал сюда?

— Проще простого, и говорить нечего, — Камышов коротко рассказал: попал в плен к немцам, после войны скрывался от выдачи, перешел на положение эмигранта.

— Это на тебя похоже: у тебя всегда не как у людей, — пошутил Антон.

— Или наоборот. Впрочем, разное бывает. Да ты давай, рассказывай, как наши? Что со стариками? Где Володька, Алешка?

— Хорошего мало услышишь. Старики погибли, еще в сорок втором, в Новочеркасске. От голода, наверно, точно я так и не смог установить. Эвакуироваться наотрез отказались: ты же знаешь, им советская власть хуже горькой редьки казалась. Алеша под Сталинградом погиб: танковым соединением командовал и в танке сгорел. Владимир три раза ранен был, но выдержал, здоровьем только слаб. В Ростове работает. Семья у него в целости, как и моя.

— И Алеша погиб? — Камышов помолчал. — Это, брат, тяжело. Это, это... — не находил он слова и горестно покачал головой. — Я почему-то его только живым представлял. И привык к мысли, что он должен был живым остаться... Я часто думал о вас, и так примирился: ну, старикам заварухи этой не перенести — и похоронил их мысленно. Ты — ловкий, так и думал, что вывернешься, с твоей специальностью, да еще в партийных кругах. А вот за Алексея и Владимира болел. Но как-то так решил, что Алеша перенесет: молодой. А оно по-другому получилось.

Налив стопки, Камышов поднял свою и рассматривал водку на свет.

— Мало ты хорошего рассказал. Что ж, выпьем за погибших. В голове мутится: скольких покосила война, столько мучений принесла — и всё без толку.

Выпив водку, Антон поставил стопку на стол и исподлобья посмотрел на брата:

— Ну, не совсем без толку. Для нас толк есть.

— Это для кого же для вас? — недоверчиво покосился Камышов.

— Для Советского Союза, конечно, — Антон смотрел насмешливо и словно свысока.

— Гм... В чем же толк? В голодовке прошлого года, в «укреплении колхозов», в «переходе от социализма к коммунизму»? Или в том, что концлагерей стало больше, а людей поменьше?

— Сел на своего конька и поехал, — усмеянулся Антон. — Можешь не перечислять: это я лучше тебя знаю. Бери

выше: половина Европы у нас в руках, на Востоке дела в нашу пользу и мы сила, могущая во весь рост ставить свои условия. А завтра — диктовать будем. Понятно, в чем толк?

— Чего же не понять, азбука не хитрая: жми, дави людишек, чтобы из них сок пошёл. Заводи всемирный колхоз — яснее ясного!

Антон засмеялся:

— А у тебя старая азбука: свобода, равенство, братство, мир и любовь на земле? Всё еще в бабушкины сказки веришь?

— Допустим, что так, — уклонился от ответа Камышов. — Но вы-то ведь тоже этими сказками козыряете? Других-то не имеете?

— Сказки, друг, существуют для наивных простаков, — заметил Антон. — Без них не обойдешься. А верить в них и действовать по ним могут только политические импотенты. И неизменно с проигрышем.

— По каким же сказкам вы действуете, можно осведомиться? — спросил Камышов. — И вообще, во имя чего, зачем? Зачем вы мир в ловушку загоняете? Неужто — всё-таки ради «рая земного», ради коммунизма? Так в эту сказку ты и сам не веришь!

Антон встал, прошелся по комнате, постучал папиросой по крышке портсигара. Лицо его замкнулось и поскучнело.

— Напрасный разговор затеваешь, Костя. Всё равно мы с тобой не сговоримся, значит, и говорить нечего.

— Как же напрасный? — возразил Камышов. — Надо же понять, чем вы теперь живете. Не люди, не народ, а вот вы, управители, погонялы. Не шутка: мир трещит, а ты — напрасно!

— А ты все в печальниках мира состоишь? Тебе больше всех надо? — усмехнулся Антон. Закурив папиросу, он продолжал: — Мир... А если он лучшего не заслуживает, твой мир?

— Гм, это занятно. Что же, презрение ко всему и ко всем? И потому — гни его в бараний рог?

— Не презрение, а учет реального положения. Мир твой сам просится, чтобы его к рукам прибрали.

— Это каким же образом?

— А таким... Ты, Костя, неисправим. Как в детстве: а зачем? А почему, для чего?.. Ладно, будем говорить,

только, будь добр, поменьше жалких слов, — уже нетерпеливо продолжал Антон. — Ты говоришь: рабство, миру грозим. А ты подумал, чего он хочет, твой мир? Не стоит он, как замороженный, перед нами, и втайне, где-то в потаенном углу сознания, не ждет нас? Ведь он лжет, сам себя обманывает, когда протестует, потому что втайне сам нас ждет и ни на что больше надежды не имеет. Он уже наш, вот, в руках у нас, потому что ему жить нечем, верить не во что. Откуда у него настоящая воля появится? Кто ему веру даст, кто дальше поведет, кто научит? Демократия твоя? Он и нам может не верить, противиться, но раз у него другой веры нет — всё равно ему конец! Пройдет сквозь огонь и воду, переплавится, перегорит — что-то новое получится. В этом и программа вся.

— Новое — коммунизм? — спросил Камышов.

— А, марксизм, ленинизм, коммунизм — тоже жалкие слова! — махнул рукой Антон. — Дело не в них, а в том, что старым больше жить нельзя, а новое, по вечному правилу, рождается из крови и огня. Наше дело — торопить его приход, а какое оно будет, дьявол его знает, но будет — не по бабушкиным сказкам и жалким словам.

— Ты не допускаешь, что новое может появиться более мирным путем, без твоих «крови и огня»?

— Чепуха! — отрезал Антон. Он ходил по комнате и непрерывно курил. — Без нас было бы гниение, а не мирный путь. Ты возьми такой пример: если бы не было нас, то-есть «угрозы коммунизма», выдумали бы американцы план Маршалла? Проводили бы они у себя социальные реформы, помогали бы отстающим странам? Нет и еще раз нет. Мы их заставляем шевелиться, — не важно, каким путем, важно то, что без нас они стили бы. Вот тебе и прогрессивная роль коммунизма: так или иначе, но мы заставляем мир передвигаться.

— По разному можно заставлять. В жизни острых углов и без нас хватает, и сама жизнь заставляет в конце концов к новому переходить. Новое, старое — в этом ли дело? А то, что человечеству нужно, и без вашего участия появилось бы, как говорят, нормальным путем. . .

— Ничего не появилось бы, — перебил Антон. — Осталась бы розовая водица, бордель, а не новое.

— А вы что создаете?

— Хаос. А из него новые формы возникнут. Новое из хаоса появляется, а не из борделя, в этом вся разница...

— Я же и говорю, что хаос разный бывает — заметил Камышов. — Ты говоришь, воли нет, в разброде мир? Хаос воли и может создать огонь воли — за ним и вера появится. А твой хаос в лучшем случае кончится войной: общим крахом.

— Тоже чепуха, — отмахнулся Антон. — Войны, какую вы себе представляете, не будет: она нам не нужна. А демократия твоя на нее не решится: для войны нужно кровь в жилах иметь. Мы без войны обойдемся: Азию к рукам приберем — демократы твои сами на поклон прибегут, чтобы торговлишку с ними завести. Что у них, кроме торговли, осталось? Раз нет у них веры ни в Бога, ни в дьявола, что им защищать? Шкуру свою? Она не дорого стоит. Ничего не поможет: лет через пять и Европу заберем. Тогда Америку на замок запрем: пусть преет в собственном соку. Мы её одним фактом своего существования заставим так перемениться, что она тем же, что и мы, станет. — Замолчав, Антон остановился у шкафа и исподлобья посмотрел на брата. Зеркало отражало его широкую сильную спину. — Ну, что скажешь?

Камышов сидел, перебирая край скатерти. Вздохнув, он медленно ответил:

— Ничего, пожалуй, я тебе на это не скажу, кроме того, разве, что... сумасшествием веет от твоих слов. Безумие, братец мой, бред...

— Безумие! — передернул плечами Антон. — А ты всё в разум веришь? Разум нужен немногим, тем, кто ведет, кто знает, что делать, а остальные... остальные — весь мир безумствует, у каждого пустота или каша в голове, всё трещит и с ума сходит, а ты — безумие! Жалкий твой довод...

— Какие тут доводы! — перебил Камышов. — Разве тебя убедишь, раз ты до такой точки дошел? Ты вот что только мне скажи: что тобой-то лично управляет? Почему ты во всё это веришь, если тебя самого от таких мыслей тошнить должно? Ведь ты поклонником хаоса никогда не был, ты всё себя утверждал, а в хаосе какое же утверждение? Что тебя заставляет коммунизму, советчине подчиняться?

Антон ответил не сразу. Затянувшись папиросой, он

выпустил к потолку клуб дыма, потом уперся в брата упрямым взглядом и твердо сказал:

— Я с хлюпиками никогда не был. И голову свою подставлять, как баран, не намерен. Я человек действия. В моем действии — мое утверждение. А остальное — внешние атрибуты. Вот тебе и кредо мое.

— Не очень сложно, — покачав головой, отозвался Камышов. — Еще вопрос: и много вас там, таких, как думаешь?

— Немного, но хватит, — усмехнулся Антон и отвел свой взгляд. — Разные есть, есть даже в сказки верящие. Понимающих не много, да много и не нужно. Тебе не нравится: не сложно, примитивно. А можешь ты без примитива обойтись? Дело в открытую идет: или в одну сторону, или в другую. Сложностью не отделаешься, не спасешься. И с массой, можешь ты без примитива управиться? Хоть ври, а подавай ей чёрное или белое, она в твоих нюансах не разбирается. Она — сама жизнь, прущая на рожон без разбору, — много надо, чтобы её скрутить? Она сама себя скручивает, потому что разобраться ни в чем не умеет. А мы ей еще веру даем. Не нравится вера? Принудить к ней: стерпится, слюбится. Святейшая инквизиция провозглашала: «принудь придти на пир» — не одинаково? Верно, устают люди, отходят, бегут, сопротивляются, — и концлагери нужны, — да всё равно идут: куда они денутся? Не хотят, а идут. Стадо стадом останется и за вожаками куда хочешь пойдет. А вожаки, организаторы, всегда нужны, они были и будут, тем более теперь, в машинный век. Попробуй-ка сейчас без организаторов обойтись — ничего не выйдет. Наша задача и есть — взять стадо в шоры, направить, хотя бы и по отвергаемой дороге: это дела в конечном счете не меняет. Всё равно в одном котле сидим . . .

— Да, — протянул Камышов. — А стадо-то всё-таки из людей. И мы с тобой не боги, чтобы им по своему распоряжаться. Может, помогать надо стаду, а не на закланье его вести?

Антон покосился на брата и, ничего не ответив, сел в кресло.

В комнате повисла тишина. Камышов поднялся с дивана, подошел к окну, раздвинул немного занавеску — темная пустота за окном, едва освещенная с боку тусклым газовым фонарем, казалась глухой и мертвой. Камышов присел на

край письменного стола — и комната, в холодном тумане табачного дыма, была полна неоткликающейся, будто враждебной тишины.

— Много ты наговорил, — задумчиво начал Камышов, — а пожалуй, только доказал, что и у тебя сумбур в голове. И сумбур-то особенный: послушать — много дельного говоришь, живого, а вникнуть — мертвечиной несет. . . Знаешь, я сейчас подумал, что одно обидно: мы, русские, сулили миру новый свет показать, откровение принести. Революцию устроили, потом вы, коммунисты, пыжились, из кожи вон лезли, Россию на дыбы подняли. Теперь и других туда же тянете. И верно, удивили: весь мир на Россию с надеждой смотрел, и сейчас еще многие от вас чуда ждут. . . И ведь обиднее всего, заметь, то, что действительно могли мы, — ну, если не новый свет, то хоть щелку в него приоткрыть, — могли, потому что здоровый же мы народ, и есть у нас качества, которых у других, может, в самом деле нет и которые здесь нужны. Потому нужны, что, ты прав, нечем больше людям жить, оттого и идет всё кувырком. Могли — да не сделали, потому что вы огрубели, испохабили наше дело, испоганили его в конец. Вы к нему не по-человечески, не по-жизненному подошли, а с тряпными руками, со схемочками вашими, с «железом и кровью», — а кроме них вы ничего не знаете и знать не хотите. Человеческое вы уничтожили, оставили одно животное — и упробили этим мечту человеческую. А теперь всякую чушь несете, в оправдание свое. Обанкротились, а сознаться не хотите, и лезете на рожон, как ты сказал. Ну, и кончится всё — пшиком. Пожаром кончится, в котором мы все сгорим. Позором великим кончится — и в этом главная вина на вас, «организаторах», утверждающих себя. . .

Антон сидел, глубоко утонув в кресле, огрузший, с прикрытыми веками глазами.

— Опять жалкие слова говоришь, — нехотя возразил он. — «Мечта», «позор». В чем твоя мечта была? В тех же сказках? В брюхе сытом? А позор — кто о нем вспомнит через сто, двести лет? Прош цена ему будет, он в историю уйдет. А история важна только архивным душам. . . — Помолчав, он открыл глаза, усмехнулся. — А я, Костя, другое подумал. Ты такой же остался, как был, и переучиваться не хочешь. А такому, понятно, трудно теперь жить. Я и посо-

ветую тебе, по-братски: езжай ты, друг, лучше всего куда-нибудь на Огненную Землю, женись там на экзотической туземке, и живи. Может быть, своей смертью помрешь. Уединись, если, конечно, ранней смерти себе не желаешь или в быдло превращаться не хочешь.

Камышов засмеялся. Смех получился невеселым, а лицо его вдруг стало похожим на лицо Антона.

— Уезжать? Нет, браток, никуда я не уеду, — возразил он. — Я делом займусь. Не быдло, а людей буду против тебя утверждать. Мечту восстанавливать — ту самую, которую вы от сытого брюха отличить не можете. Ты в одну сторону, а я в другую: против тебя.

Антон хмуро посмотрел на брата:

— Пустое дело, не советую. Ты спрашивал, сколько нас, — а вас сколько? Решает сила — где она у тебя? Чем ты её создашь? Призывом к «нормальной жизни»? Этим не зажигают: материал не горючий. В чем твоя вера? Ты убеди меня — и я за тобой пойду. Может, без оглядки побегу. Чем ты меня зажжешь? Ты здесь на свободе — попробуй в твою веру хоть здесь людей обратить, что получится? Кто за тобой пойдет, кто тебе поможет? Пустые разговоры...

— Решает не сила, а идеи и люди, ты сам это знаешь. Ты на себя надеешься? А забыл, что мы — от одних отца и матери?

Антон поднял голову — Камышов с вызовом смотрел на него.

— Ошибку, дорогой мой, даешь, — распалаясь, продолжал Камышов. — И ошибка твоя в том, что ты самой жизни не веришь, не доверяешь ей, а потому и считаешь, что её «организовывать» нужно, всегда и всюду, до всякой мелочи последней. Потому у вас, «организаторов», и люди — только стадо, и его постоянно взнуздывать надо. А они кроме того еще и люди. И вот они-то и есть сила. У меня союзников миллионы, — столько, что все вы, «организаторы», без остатка потонете в них. На стадо рассчитываете, на бесловесность, на то, что вы стадо в железы взяли? И думаете, что вы стадо это в животных или в рабов покорных превратите? Ошибаетесь: никогда вам этого не добиться! Выньте у человека мозг и душу — тогда согласен, а до этого — нет большего вам врага, чем стадо человеческое. Верно, вы хитры, умны, умеете стадо вокруг пальца обводить, да это

до поры, до времени: у стада ведь не только желудок, а и чувства человеческие есть. И вожаки другие найдутся. Заметь: в нашем прошлом все было, трудности, муки, жестокость, — а вот вашего, вами заведенного порядка, еще не было. Потому что русский человек умел всякое скотство и жестокость душевным теплом лечить, сглаживать, и этим преодолевал и скотство свое, и муки. А вы от тепла-то, от души отказались, на одно брюхо да на хитрость поставили, — от них и весь ваш порядок, на «огне и крови» построенный. Так ведь и лисица, и волк только хитростью и брюхом живут — с ними вы людей сравнивали? А себя в богов превратили? Ну, раз не было этого никогда у нас, то и не будет: не вы нас, а мы вас в порошок сотрем. Сама жизнь, вот эта «нормальная», sereneкая, с которой вы ничего сделать не можете, как ни насилуете её, измочалит вас. Потому что вы руку на то подняли, на что не человеку её поднимать. И этим только себя искалечили, свою душу уничтожили — от этого и бесчеловечие ваше, от этого всё, к чему ни прикасаетесь вы, сразу в мертвечину обращается. А у людей душа жива, расшевелим её — от вас одно скверное воспоминание останется. . .

Антон передернул плечами, деланно зевнул, посмотрел на часы.

— Что ж, попробуй. Тебе не запретишь. А мне пора, половина второго. Завтра ехать, вставать рано. Провожай меня.

— Иди. Обо всем переговорили, больше не о чем.

— Да, разговорчик чисто русский получился, — пробормотал Антон, не смотря на брата и надевая фуражку. — Говорил тебе, не надо затевать: разговор вполне бестолковый. Ну, выпроваживай меня.

Следя за братом, Камышов не сдвинулся с места. Он успокоился после своей вспышки, в глазах его засветился уже насмешливый огонек.

— Я тебя не держу, иди.

Антон удивленно взглянул.

— Я подумал: а пусть сам идет, — насмешливо продолжал Камышов. — Может, нарвется на кого, глядишь, до МГБ дойдет, что полковник Камышов был у брата-эмигранта в гостях. Что тогда из вашей самоутверждающейся личности получится, хотел бы я знать?

Антон нахмурился:

— Дуришь, Костя. Этим не шутят.

Смеясь, Камышов достал ключи и пошёл к двери.

— Эх, дорогой, тут, поди, и собака зарыта! Конечно, шу-чу, а ты, Аника-воин, перепугался. И с перепуту идеологи-ческую надстройку над базисом страха возвел. Ну, не так разве? Ты подумай об этом хорошенько, на досуге, — с из-девкой шутил он, открывая дверь. Ничего не ответив, Ан-тон молча вышел.

Спускаясь по лестнице, Камышов освещивал карман-ным фонариком перед собой, на широкую спину идущего впереди брата; в голове плыло обрывками: «Вот и все. А чего другого можно от него ждать? Упрям, чортушка. Ой, упрям! Крепкий орешек, — а раскусывать надо. Ничего не поде-лаешь: зубы обломай, а раскуси. Задача!»

Выпустив брата на улицу, Камышов показал направо:

— До угла дойдешь, поверни, увидишь вокзал. А там и отель твой.

Антон полуобернулся, протянул руку:

— Прощай, сказочник.

Камышов задержал его руку в своей:

— Надо бы на тебя злиться, да злости нет. Видно, вас не переучишь, а вась сама жизнь выучит. Как говорится, не по-минай лихом, и я тебя так не помяну. А там, глядишь, пере-мелется, — да молоток-то, заметь, вместе бы надо, чтобы вместе из ямы выбираться. Так, что ли?

Антон освободил руку, насмешливо сверкнул глазами:

— А может, порознь удобней? В целом всё равно вый-дет вместе, — не ожидая ответа, повернулся и пошёл.

«Нечего выкручиваться!» — мысленно откликнулся Камышов. Он постоял, посмотрел вслед, пока фигура брата не растаяла в тени домов. Шаги замолкли — ночная тиши-на стала непроницаемой. Камышов глубоко и спокойно вздохнул. На душе было тихо и только чуть прустно. «Что ж, всё ясно, как тульский самовар. И можно ложиться спать», — улыбаясь, прошептал он и поднялся к себе.

БУДЕТ ХОРОШО

Фрау Шлоссер вбежала всклокоченная, с перекошенным от ужаса лицом, и пронзительно заголосила:

— Они отняли велосипед! Мы погибнем: трамваи не ходят, Альфред не сможет ездить на работу! О, Господи, помогите нам!

И хотя и велосипед и работа были теперь явной нелепостью и было непостижимо, как еще можно помнить о них, а то, что квартирная хозяйка взмолилась к ней, как к Богу, было не только нелепым, но и нестерпимо, до истерики смешным, отчаянный крик перехлестнул какой-то край и заставил Ксению Александровну выскочить из комнаты.

Сбежать два пролета лестницы и вынестись из подъезда было делом полминуты. Рядом с подъездом, на тротуаре, прислонив к дому велосипед, стоял солдат, с велосипедным насосом в руках. Невзрачный, в полинялой пилотке и пропотевшей гимнастерке, он хозяйственно оглядывал машину, собираясь, видимо, подкачать шины. Ксения Александровна подлетела к нему со сжатыми кулаками; она не знала, что скажет, что сделает, но она готова была броситься на него, молотить его кулаками, царапать, рвать, так, чтобы от него полетели ключья, — и кричать при этом что-то бессмысленное, чтобы выместить, отплатить, свалить с себя неподъемную тяжесть... Подбежав, она остановилась.

Солдат обернулся. Он смотрел не враждебно, а немного недоуменно, — недоумение скрадывалось великим пренежением и чувством грубого превосходства, которыми были полны и его лицо, и приземистая фигура. Похоже, он хотел сказать: ты откуда взялась? И чего тебе нужно? Катись к чёртовой матери...

— Ты у кого берешь? — срываясь на низкой ноте, выкрикнула Ксения Александровна. — Ты у буржуя берешь? Ты у бедного человека взял, у него куча детей, ему на работу не на чем ездить! Как ты смеешь? Отдай сейчас же! — и властно схватилась за руль велосипеда.

Может быть, солдат не был бы так поражен, если бы внезапно налетевшая женщина не выпалила всего этого на чистом звонком русском языке. Он в замешательстве сделал шаг назад; с лица его слетело и превосходство, и пренебрежение, — он растерянно смотрел на Ксению Александровну и не знал, что сказать.

— А ты... что... ты что кричишь? — наконец, нашелся он. Потом словно озлился: — А, да возьми его к едрене фене! Подумаешь! Пусть они подавятся своими велосипедами! — С силой швырнув насос под колеса, он рывком повернулся и быстро пошел, размахивая руками.

Подхватив насос, Ксения Александровна повела велосипед в подъезд, еще дрожа от возбуждения и ничего не сообщая. Внизу, у лестницы, бормоча слова благодарности, велосипед перехватила фрау Шлоссер, — не слушая её, Ксения Александровна убежала к себе, захлопнула дверь и, схватившись за голову, повалилась на кушетку.

Полежав с полчаса, она встала, выпила воды — стало как будто немного легче. Легла опять; вспоминая историю с велосипедом, мучительно морщилась: это, конечно, тоже было смешно и глупо. Почему она крикнула: «у буржуя берешь»? Откуда взялся у нее этот «буржуй»? Инстинктивно подлаживалась под их язык? Гнуснее ничего не придумать. И до чего она должна была быть смешной и безобразной, когда как фурия вылетела на улицу!

Но ведь то, что творилось, совсем не было смешным. Только три дня, как перестало прохотать, кончилась война, и они, измученные и одичавшие от страха, ожидания, голода, потемок вылезли из подвала. Улица была завалена обломками, горели дома, но их дом уцелел. Заткнув и завесив выбитые стекла тряпьем, Ксения Александровна ничего не хотела больше, как закрыться в своей комнате, лечь на кушетку и лежать без движения, как лежит в норе избитый, изнуренный зверь.

И это не удавалось. То хозяйка, то соседки ловили её в коридоре, заходили к ней и путаясь, сбиваясь, суматошно

рассказывали о том, что происходит в городе. Русские ходят одиночками и группами, по два-три человека, отбирают у прохожих часы, кольца; немцы прячутся по домам — солдаты врываются в квартиры, роются в шкафах, забирают всё, что попадется под руку. Одежду, комкая, они варварски запикивают в свои мешки, часы цепляют на руки; забирают радиоприемники, велосипеды, патефоны, даже будильники, если они поновей. Пьяные, распаленные, они приносят с собой водку, угощают хозяев, а потом ищут еще вина, ломают мебель, разбрасывают вещи и ходят по ним, гадят и коверкают добро. Женщин иногда насилуют, не смотрят и на возраст: в соседнем доме изнасиловали четырнадцатилетнюю девочку и двое — старуху семидесяти лет. Не слышно, чтобы убивали, но, наверное, и убивают. Никто их не останавливает: офицеры ведут себя также, как и солдаты... Непонятный, сокрушительный, не оставляющий камня от привычной жизни шквал несется по Берлину — и кончится ли он? А надо есть, кормить детей, но нельзя выйти на улицу, магазины закрыты или разгромлены и карточки, наверно, теперь пропадут...

Всполошенные немки знали Ксению Александровну десяток лет и смотрели на нее так, как будто она могла объяснить: она ведь тоже русская! Она видела в их взглядах, слышала в тоне голосов, что они осуждают или готовы осудить и её — и их вытаращенные глаза и сведенные синие губы, болтавшие об ужасе и какую-то непостижимую чепуху о карточках, которые могут пропасть, были непереносимы. Ксения Александровна слушала, стараясь не слышать — рассказанное против воли входило в мозг и мутило, лихорадило, сводило с ума.

Вспомнив, что хочется есть, она вставала, брала кусок хлеба, но есть не могла и забывала о голоде. Взглядывала в зеркало: на нее смотрело темное, исхудавшее, совсем не её лицо, с расширенными и иступленными темно-коричневыми глазами, которыми она когда-то гордилась. Когда? Вечность назад? Переводила взгляд дальше, на стену — с увеличенной фотографии внушительно смотрело гордое, с большими усами и бородкой лицо бравого полковника, её отца.

— Твои ведь! — с отчаянием шептала Ксения Александровна, зная, что упрекать отца не в чем и совсем не в

этом дело. А в чем? И снова ложилась на кушетку, часами лежала, смотря в потолок сухими глазами.

Матери она не знала: мать умерла, рожая её. Ксению Александровну вырастил отец. Он воспитал её в почтительной и восторженной любви к родине, хотя родины и не было. Родина — это там, где лежит её мать. Позже, когда умер отец, а она превратилась в балерину и танцевала сначала в опере, в кордебалете, потом в варьете, на эстраде, любовь эта потускнела: нелегкая беженская жизнь обломала Ксению Александровну, сделала её трезвой, деловой, немного даже циничной, — тем, что принято называть «человеком без предрассудков», — и ей казалось, что так и должно быть и что даже лучше бы, если бы можно было совсем, без остатка, превратиться в немку.

А сейчас, когда она могла размышлять, она думала о том, что вся её трезвость, оказывается, была ничего нестоящей оболочкой — она вмиг рассыпалась, как только обрушился этот разнузданный, уничтожающий её, Ксению Александровну, шквал. Оказалось, что она и не знала о том, что где-то в глубине души попрежнему оставалась и любовь к родине, и что-то еще, почти неопределимое словами, накопленное в детстве, — разве не поэтому она и не могла теперь отгораживаться своей трезвостью от происходившего в породе? И разве не было это сохранившееся с детства единственно верным и прочным — ведь именно поэтому ей было теперь так стыдно за своих, русских, за себя, как будто тоже виноватую в чем-то, за весь мир, в котором может происходить такое?

Но не помогали ни объяснения, ни выручавшая её прежде трезвость, ни даже насмешки над собой. И можно было только пытаться замкнуться, загнать отчаяние глубже — и молча лежать, стараясь не шевелиться и даже не думать...

Вечером захохотали во входную дверь; опять прибежала перепуганная хозяйка:

— Это могут только русские! Никто не будет так стучать! Умоляю вас!

Ксения Александровна встала, вышла в коридор. Выждав, чтобы стук прекратился, промком спросила: «Кто там?» — повернула ключ, вышла на лестничную площадку, приотворила дверь и встала перед ней, словно защищая её собой. Два солдата, может быть остановленные вопросом или ви-

дом Ксении Александровны, — перед ними стояла худощавая, непреклонная женщина, с суровыми, осуждающими глазами, — молча смотрели на нее.

— Что вам нужно? В этом доме живут бедные люди, как и вы, — спокойно и строго сказала Ксения Александровна. — Вам нечего здесь делать, ступайте... — Ни слова не ответив, солдаты застучали по лестнице вниз, недоуменно оглядываясь...

А на следующий день пришли к ней. Она слышала, как вошли в коридор и кто-то на плохом немецком языке спросил, где живет «фрау Белова». По тону голоса и властным шагам Ксения Александровна поняла, что этих не спровадишь. Либо донесли немцы, либо рассказали солдаты...

Первым вошел круглоголовый, с розовыми упитанными щеками майор, — острыми глазами мгновенно оглядев хозяйку, комнату, он прошёл внутрь. За ним вошли еще два офицера: высокий, костлявый капитан, с длинными болтающимися руками и развинченными ногами, повидимому, развязный и хамоватый. Третий, тоже упитанный, среднего роста, спокойный и уверенный, — да и у всех трех лица были полны уверенности и превосходства, — такие и должны быть у победителей, успела подумать Ксения Александровна.

— Гражданка Белова? Русская? — спросил майор тоном, который мог перейти либо в вежливый и приветливый, либо в резкий и грубый. Холодно глядя на майора, Ксения Александровна ответила утвердительно.

— И давно живете здесь? Я разумею, за границей?

— Давно. Меня отец девочкой привёз.

— А, вон что! Значит, вы из белых эмигрантов? — уже с любопытством спросил майор. — Документы имеете?

— Имею. — Ксения Александровна вынула из столика в углу немецкий паспорт для иностранцев, подала. С шевельнувшимся в глубине души чувством вызова достала затем коробку с другими бумагами и с усмешкой сказала:

— Это документы отца. Хотите взглянуть?

— С удовольствием. — Майор возвратил паспорт, раскрыл коробку.

Наверху лежала плотная книжечка с вытесненным на обложке орлом, Майор осторожно взял её, повертел, взвешивая и любуясь, открыл и кивнул спутникам:

— Смотрите: сама российская империя... — Он улыбался, смеялись и его глаза — усмешка не была надменной, она скорее была любовной.

— А фогокарточки нет, — пренебрежительно сказал ко-стлявый капитан.

— Тогда, друже, без карточек верили, — толкнул его в бок третий.

За паспортом лежала желтая от времени фотография — увеличенная её копия висела на стене. Майор внимательно рассмотрел фотографию, сравнивая, взглянул на стену.

— В каком чине был ваш папаша?

— Полковник. Командовал полком, потом бригадой. Три раза ранен в германскую войну, получил два георгиевских креста, — почти с удовольствием, чтобы досадить, выговаривала Ксения Александровна. Но нужно ли досаждать? Посетители явно доброжелательно рассматривали фотографию.

— Серьезный, должно быть, воин был, — задумчиво сказал майор и обратился к спутникам: — Вот, кто до нас немцев бил. Чувствуете? Наша порода.

— Вояка, что надо, — уважительно отозвался капитан. — Подходящий. Такому и к нам бы можно, подошел бы вполне.

— Только мы бы ему подошли или нет, это вопрос, — насмешливо возразил третий.

— До Берлина дошли, значит подошли бы, — безапелляционно решил майор. — Чем же вы занимаетесь? Где работаете? — участливо спросил он у Ксении Александровны.

— Нигде. Да вы садитесь, — нашла, наконец, нужным пригласить Ксения Александровна.

— Нет, спасибо, мы на минутку, сейчас уйдем. Как же нигде не работаете? А живете чем?

— Я балерина, и мне уже сорок стукнуло: стара для танцев. Перебиваюсь кое-как...

— Ну, стара! Да вы еще хоть куда! — запротестовал майор. — Это не дело. Как это у них неорганизованно: ну, выступать не можете, у нас вы где-нибудь в клубе детишек бы учили танцевать. Как же иначе? Немцы! — пренебрежительно заключил майор, как бы говоря: что они понимают?

— Не обижают они вас?

— Кто?

— А немцы?

Ксения Александровна усмехнулась:

— Немцы — нет. Я здесь десять лет живу, меня знают. А вот солдаты ваши...

— Что солдаты? И у вас были? А вы их в шею, и никаких! — рассердился майор. — В шею, с ними один разговор! Развинтились! А в случае чего — сейчас же к нам, в комендатуру. Спросите меня, или вот капитана, мы живо порядок наведем. Это тут, вторая улица.

— Спасибо.

— Да, да, не теряйтесь. Чего теряться? Свои люди, поможем... Ну, рад был познакомиться, — майор протянул руку.

Они ушли, радушно распрощавшись и приглашая обязательно заходить. Ксения Александровна проводила их до лестницы; вернувшись, села и прислушивалась к смутному чувству, вызванному их приходом. Кто же они? Не ведут ли они себя так, как будто что-то знают или имеют, такое, чего нет у неё, Ксении Александровны, и что придает им силу и уверенность, которых лишена она? Или эта сила — только от чувства победителей? Но они и не заносятся, не отталкивают её... На минуту мелькнуло неопределенное желание — может быть, ей захотелось покориться, поддаться, уйти под эту силу, как под крепкое укрытие... Но ведь ничего не изменилось, за окном продолжается то же самое и этот короткий приход ничего не объяснял, не оправдывал, — по-прежнему на душе оставалась мучительная неснимаемая тяжесть...

В этот же вечер кто-то позвонил два раза — к ней. Она вышла, открыла — костлявый капитан, ухмыляясь, боком вошел, отгеснив Ксению Александровну в сторону.

— Принимай гостя! — скаля зубы, заявил он, проходя в комнату.

Бросив на стол засаленный вещевой мешок, капитан встал, уперев руки в бока; глаза и лицо его светились весельем, смешанным с вызовом и нахальством.

— Я тут кой-чего принес, давай выпьем, закусим, — словно у себя дома, предложил он, и с искрой тепла добавил: — Знаешь, со своими, по-холостому, надоело, составляй компанию, по-домашнему...

Это было совсем не кстати. Но она пересилила себя и сухо сказала:

— Пришел, садись.

— И сяду, не бойся. — Капитан вынул из мешка бутылку: — Трофейный, коньяк! — Остальное просто вытряхнул на стол: посыпались банки консервов, буханка хлеба, кусок сала, колбаса; пакет с селедками разорвался и они, одна за другой, шлепнулись на цветную скатерть. — Чёрт, прорвался! — воскликнул капитан, стрёб селедки и бросил поверх мешка. — Организуй, дорогая! И садись, — продолжал капитан, плюхаясь на кушетку и приглашающе хлопнул ладонью рядом. — Как живешь-то? Небось, живот подводит? — подмигнул он. — Давай, заправляйся, у нас добра хватит...

В ней поднималось негодование, злость — на его бесцеремонность, на то, что он, видимо, считал само собой разумеющимся, что она должна, обязана равняться по нему и принимать его, как своего, — она всё же старалась сдерживаться, может быть, и из любопытства, чтобы посмотреть, что будет. Достав скатерть и посуду, она сдвинула принесенное капитаном на край стола и начала накрывать.

— Если хочешь по-человечески, надо приготовить, — попрежнему сухо выдавила она.

— Ты только поскорей, а то разведешь вольнку, — усмехнулся капитан. Взяв селедку за хвост, он разорвал её вдоль, кинул на мешок и вытер об него же пальцы. — Видала? И фертик, как немцы говорят. Да ты мне посудину настоящую дай, эта чёрт-те что! — запротестовал он, когда Ксения Александровна поставила две рюмки. — Стакан есть?

Она дала чайную чашку — он налил до краев, и ей рюмку — она отстранила:

— Спасибо, не могу.

Капитан вскинул изумленный взгляд:

— Ты что, больная?

— В горло не лезет, не до того.

— Хо, не лезет! Как это может не лезть? Смотри, как надо: за твое здоровье! — он одним духом опрокинул коньяк в рот.

То, что лежало на столе, было давно невиданным богатством. Ксения Александровна не могла оценить его: горло у неё было словно перехвачено спазмой. Она глотнула из рюмки — коньяк обжег рот огненной горечью. Капитан нас-

тойчиво угощал — она через силу пожевала кусочек колбасы. Капитан тоже мало ел, больше налегал на коньяк. Он и пришел уже выпившим, и скоро опьянел. Продолжая болтать и не обращая внимания на её настроение, он ухватил Ксению Александровну за руку, перетащил на кушетку рядом с собой — она подчинялась, почти безвольно. Негодование её смягчилось, прошло — оставалось только ноющее, противное чувство безразличия, переходящее в тупое отчаяние. Обняв её плечи, капитан с силой притянул к себе, хотел поцеловать — она едва сумела вывернуться и отодвинулась.

— Э, какая ты неговорчивая! — безобидно засмеялся капитан. — Чего ты? Что, не хорош для тебя? — дурачась, он выпятил грудь, расправил плечи.

— Ты хорош, да я для тебя не пожусь.

— А это мое собственное дело! Я решаю! А ты не клепи на себя: баба что надо! — и опять полез к ней, обхватив жесткими руками.

Отбиваясь, она не чувствовала отвращения. Но всё это было так не нужно, глупо, ни к чему, а потому и противно-тягостно.

— Пусти, — разрывая его руки, твердила она. — Что ты во мне нашел? Худющая старуха, как кощей. Ищи молодую: что мы с тобой, костями греметь будем?

Шутка ему понравилась: захохотав, он выпустил Ксению Александровну, снова налил себе коньяку. Ксения Александровна встала, поправила у зеркала волосы. Ну, а дальше что? И зачем это, для чего?

В дверь постучали. Ксения Александровна открыла — Марта, молодая соседка-немочка, хотела войти, но, увидев капитана, извинилась и сказала, что зайдет после. Впрочем, она не торопилась уходить и Ксения Александровна сама закрыла дверь.

Капитан смотрел с жадностью:

— Кто такая?

— Соседка.

— Слушай, мировая же девка! Будь другом, доставь её сюда, а? Услуги . . .

Ксения Александровна секунду подумала: почему бы нет? Всё-таки избавление. И не всё ли равно?

Марта не заставила себя просить: она ела с прожорливостью изголодавшейся молодости. А выпив, быстро развеселилась. Капитан хлопал её по спине, тискал — она только повизгивала. Ксения Александровна стояла у окна, в отверстия между тряпками смотрела в темноту ночи, почти не прислушиваясь к визгу Марты и хохоту капитана. Пусть делают, что хотят. Капитан, наверно, мог и забыть, что она тоже здесь.

Но он вспомнил. Подняв разгоряченное лицо, капитан нетерпеливо позвал:

— Хозяйка! Может, выйдешь на минутку?

Она не ответила, но потядела так, что он поднялся.

— Ладно, мы к ней пойдём... Ком, фролен, ком... —

Они ушли, обнявшись

Оставшись одна, Ксения Александровна тоскливо думала о том, что когда-то она гордилась своей независимостью; как бы ни было плохо, ей казалось, что она что-то значит и у неё есть свой мир, в который она никому не позволит вторгнуться. Она — это она. А вот пришли свои, пришел капитан — и ничего не осталось. Он мог выставить её из комнаты и на этой кушетке заняться с Мартой. И ничего нельзя сделать: что значит её протест? Она ведь пыталась не сдаваться, боролась, прогоняла солдат. Можно пойти и на смерть, но что изменит, кому поможет её смерть? Да и капитан ведь ничего не сделал; может быть, — да и наверно так, — он даже с хорошим чувством принес продукты, коньяк и не хотел ничего плохого. Разве он виноват в том, что не умеет иначе, что его не учили по-другому?.. Да, но и это ничего не дает, не помогает, никак не снимает свалившегося на неё... Она села на кушетку — и вдруг слезы, которые она втайне ждала все эти дни и которых не было, прорвались, хлынули из глаз потоком — зажав руками лицо, она склонилась, дрожа от рыданий. Слезы неостановимо лились сквозь пальцы, еще не облегчая, но выливая всё, что накопилось за последние дни, а может быть и за всю жизнь, которая, оказывается, так безотрадна. Слезы залили колени — машинально скомкав угол скатерти, она попыталась вытереть их и бросила: пусть льются, как у девчонки, как у слабого, бедного, беспомощного — она и есть слабый, жалкий, беззащитный человек...

Когда капитан вернулся, она сидела с ногами на кушетке, откинув голову к стенке, с неподвижным заплаканным лицом; по нему еще скатывались редкие слезинки. Он вошел довольный, плутовато ухмыляющийся — увидев её, изменился: в глазах мелькнула растерянность, испуг.

— Ты чего? Что с тобой?

Она не отвечала; он сел рядом, обнял за плечи, пытался заглянуть в полузакрытые глаза.

— Тебя обидел кто? В чем дело, скажи? — допытывался он, ничего не понимая. Она молча покачала головой, сделала движение, чтобы отодвинуться — он крепче прижал её к своему плечу и говорил:

— Ну, чего ты так? .. Эх, чудачка ... Ничего же нет, чего ты плачешь? Вот бедолага ... Нервы у тебя, брат, ни к чёрту ... — Он гладил её плечи, волосы, не зная чем утешить. — Ты, сестренка, не обращай внимания ... Ну, если на счет меня ... так тоже ничего такого нет ... Просто, понимаешь, разрядиться надо ... И ты уж извини, если с моей стороны что ... Ты не плачь, ну, зачем плакать? Оно же всё пройдет, верно говорю, и опять будет хорошо. Понимаешь, всё будет хорошо, ты только не плачь ...

Смущенно и настойчиво он повторял, что всё пройдет и всё будет хорошо — и она понемногу успокаивалась, хотя слезы снова сильнее потекли по лицу. Она не могла больше думать, она только поддавалась теплу его голоса и верила ему, словно догадываясь о том, что ничего больше и не нужно, потому что, наверно, ничего больше и нет, или, может быть, ничего не осталось, как только верить, что всё будет хорошо. Не может же не быть хорошо, должно быть хорошо. .. Она прижала лицо к его груди и плакала, теперь уже слезами облегчения, и, всхлипывая, шептала:

— Да, да, всё будет хорошо ... Будет хорошо ...

ПОКОЙ

Открыв глаза, Федор Иванович испуганно вскочил с дивана, не понимая, как он мог уснуть. Но тотчас же вспомнил, что он теперь свободен и снова вытянулся во весь рост на податливо опустившихся пружинах.

В последнее время, — это «последнее время» тянулось годами, — Федор Иванович был перегружен работой. Десятки неотложных местных дел, всегда срочные, нервные телеграммы, запросы из Москвы, доклады, отчеты, приемы, разъезды по области заполняли день целиком, не оставляя свободного времени даже на обед. Он уже не помнил, когда обедал как следует, по-человечески: есть всегда приходилось урывками, на бегу, часто довольствуясь стаканом холодного чая и куском хлеба. А вечера, до полуночи, занимали собрания, пленумы, заседания и двадцати четырех часов в сутки решительно не хватало. Часто не было времени даже для сна, и чуть не каждую ночь у его постели звонил телефон, прерывая и без того короткий сон. И Федор Иванович давно уже чувствовал себя автоматом, работающим без всяких мыслей и желаний.

Сегодня всему этому наступил конец: утром из Москвы пришла телеграмма о том, что его, Федора Ивановича, снимают с работы. Ни одна мысль о возможных последствиях не возникла в мозгу Федора Ивановича. Он только почувствовал, будто огромный груз сняли с его плеч и ему вдруг стало странно, непривычно легко. Он радостно сказал: «Довольно, конец», наскоро познакомил преемника с неотложным, пошел домой и завалился спать.

Сейчас, проснувшись, он чувствовал себя бодрым, свежим, точно он помолодел. Спать больше не хотелось, но не

хотелось и вставать и он продолжал лежать, лениво и еще сонно вглядываясь в темноту.

В комнате было очень темно. Чуть яснили большие прямоугольные окон, завешенных гардинами, да из-под двери в соседнюю комнату сочился разбавленный свет. На фоне окон совсем чёрными пятнами вырисовывались листья фикусов.

Размеренно и четко, не спеша, тикали за стеной часы. И Федору Ивановичу показалось, что он слышит, как спокойно и ровно, так же, как часы за стеной, стучит его сердце и кровь мерными плавными толчками разливается по телу, наполняя его непривычной тишиной и спокойствием. Он не подумал, а почувствовал, как хорошо и покойно всё вокруг: окна и фикусы, тишина и стук часов за стеной, диван под ним и биение его собственного сердца. Так хорошо и покойно, как и должно быть. А что есть еще в его комнате? Он улыбнулся, силясь припомнить: так мало замечал он всё раньше, что даже не помнит, что есть в комнате, в которой он прожил два года! Но нет, помнится, вот тут, посередине, — Федор Иванович широко открыл глаза, всматриваясь в темноту, — да, вот он, стол, под цветной скатертью. А тут, по бокам дивана, такие старомодные, уютные плюшевые кресла. Да и вообще весь дом старомоден, точно из девятнадцатого столетия, дедовское поместье. Там, в простенке, должна быть картина. Однажды он пытался разобрать, что изображено на ней, но так и не разобрал, до того она темна. Сплошное чёрное пятно, усиженное мухами.

Теплая волна покоя и нежности ко всем этим чужим и мертвым, но таким уютным и приятным вещам, в первый раз замеченным, охватила Федора Ивановича. Так хорошо, тихо и мирно в комнате. Так хорошо, как только хотелось бы ему, и ему совсем не хочется, чтобы было как-то иначе, по-другому. Он снова беспричинно и весело улыбнулся.

— А ты и не замечал никогда, как хорошо здесь, — сказал ему кто-то в нём.

— Зато вижу сейчас, — ответил он, ни на секунду не задумавшись.

— А не поздно? — снова спросил кто-то.

— Ерунда! Еще успеется, наверстаем! — беззаботно возразил он.

— Но за это удовольствие, может быть, придется дорого заплатить, — напомнил кто-то об утренней телеграмме.

— Глупости! — рассердился вдруг Федор Иванович. Он быстро встал, ощупью нашел на стене около двери плащ, фуражку, оделся и вышел.

На улице тоже было темно, но чуть светлее, чем в комнате. Не было ни звезд, ни месяца: город закутался в плотное одеяло осенней ночи. Только далеко впереди светилась точка единственного фонаря; в его слабом свете едва проступали по обеим сторонам улицы деревянные дома. Тускло поблескивал скользкий, тоже деревянный, тротуар: должно быть недавно прошел дождь, в воздухе пахло сыростью.

Федор Иванович шел, глубоко вдыхая свежий воздух, отчетливо, со стуком ставя ноги на доски тротуара. Отдохнувший, он чувствовал удовольствие от того, что идет, не зная, куда, без всякой надобности. Это и было приятно: идти просто так, без цели, никуда не спеша и ни о чем не заботясь. Идти, переставлять ноги, вглядываясь в доски тротуара, с боку которого угадывалась густая грязь.

— А я вот не попаду в грязь, — задорно, будто кого-то дразня, подумал Федор Иванович, и довольно, по-мальчишески, засмеялся. Он и в самом деле чувствовал себя очень молодым, крепким и радостно шагал, легко неся своё начавшее тучнеть тело.

Наверно было еще не поздно, потому что из-за ставень домов проскальзывали полоски света. Но пройдя несколько улиц, Федор Иванович не встретил ни души. Это тоже было приятно: идти одному по пустым улицам, зная, что вокруг, в домах, живут, ходят, говорят люди, а ты можешь идти один и не знать никого и не иметь никакого дела со всеми этими людьми.

Дойдя до площади, Федор Иванович вспомнил, что давно, когда он только еще приехал сюда, видел место над рекой, у монастыря, будто специально назначенное для прогулок. Ему ни разу не пришлось там побывать. Он вспомнил об этом месте и направился туда.

Осторожно пробравшись мимо стен полуразрушенного монастыря, Федор Иванович нашел под деревьями скамейку, сел, подвернув под себя плащ, закурил папиросу.

Черным сводом нависла над ним листва деревьев, почти касаясь головы. Позади, он чувствовал её, тянулась кирпич-

ная стена монастыря. И Федор Иванович ощущал себя здесь, как в надежном укрытии, где никто не помешает ему сидеть, курить и бездумно вглядываться в темноту ночи.

Впереди, в нескольких шагах, земля обрывалась и начиналась черная пустота. А в ней, далеко внизу, в километре, если не больше, чуть видны были точки фонарей, едва освещавших пристань. Там текла река, но её не было видно: может быть, от воды поднимался туман и поэтому фонари не могли осветить её и только чуть освещали пристань.

Федор Иванович подумал, что он ездил по этой реке много раз, но, в сущности, так и не видел её. Опять-таки не было времени: когда ехал, сидел в каюте и то готовился к докладам, то просматривал отчеты, сводки, и никогда у него не было времени, чтобы просто так, любопытствуя, посмотреть на реку. Да никогда и мысли не приходило об этом. А стоило посмотреть. По этой реке плавали еще новгородские ушкуйники, по ней уходил Ермак завоевывать Сибирь; здесь торговали Строгановы, ставили соляные варницы, церкви и монастыри, закладывали новые русские города.

Неожиданно появилась озорная мысль: хорошо бы сейчас, не заходя домой, спуститься к пристани, сесть на пароход и уехать. Всё равно, куда. Просто — забраться в каюту и пусть плывет пароход, куда знает.

Федор Иванович тихонько засмеялся. «А что, в самом деле?» — словно дурачась сам с собой, задорно подумал он. — «Так вот, сесть и уехать. Фью — поминай, как звали! Был, да весь вышел. Могу же я хоть раз для себя, безо всяких там соображений, сесть и поехать? Уеду, и пусть ищут, если им нужно».

Он вспомнил, с каким чувством зависти и сожаления давно, в детстве, смотрел на дальние поезда и пароходы, уходившие из их города куда-то в неизвестные ему места. Они всегда манили его: казалось, что они идут куда-то в чудесные, полные таинственных приключений страны. Куда-то, где жизнь в тысячу раз интереснее, чем в скучном, пыльном городишке, в котором прошло его детство. И сейчас почти тоже чувство появилось у него: да, уехать, всё равно, куда. Куда-нибудь, где нет этой бестолочи, неразберихи и кутерьмы, в которых он крутится уже столько лет.

— Что ж, поезжай, — опять сказал кто-то в нем. — Уедешь, так уж обязательно посадят. Найдут и посадят. Скажут — сбежал, дезертир, значит — виноват. . .

Федор Иванович зябко съежился.

— Куда же поедешь? — Он знал, что нет тех мест, куда уходили поезда его детства. Разве не всюду одинаково? И не всё ли равно, где ты будешь жить и работать — на Урале или на Севере, в Крыму или в Сибири? И он вздрогнул, пронизанный мыслью о том, что никуда не уедешь и не скроешься, и что где бы он ни был, во Владивостоке или Минске, в Баку или в Архангельске, на ответственной работе или в концлагере, ему всё равно придется тянуть ту же ляжку, ненужную ни ему, ни людям, но нужную кому-то там, «в центре», кому он почему-то должен беспрекословно повиноваться. Он — нуль, абсолютно лишенный своей воли, и никакая сила в мире не избавит его от этой унижительной и неизбежной участи. . . Он швырнул погасшую папиросу и встал, рывком запахнув плащ, будто стараясь защититься от ненужной, неприятной, мешающей ему сейчас мысли.

— Завтра, — сквозь зубы пробормотал он. — Завтра посмотрим. . .

Домой Федор Иванович возвращался опять бодрым, весело, будто с вызовом стуча сапогами по тротуару. Ему удалось отбросить так не шедшие к его нынешнему настроению мысли и чувство радости снова владело им.

Подходя к дому, он заметил в окнах своей комнаты свет. А войдя, увидел за столом, у ручной швейной машинки, дочь хозяев с шитьем в руках. Она поднялась, как только он вошел:

— Извините, что работаю здесь. Я сейчас уберу, — и стала складывать шитье. Федор Иванович остановил её: нет, нет, она ему не мешает, он еще не будет спать. — Пожалуйста, продолжайте, если вам здесь удобнее, — говорил он.

— Там дети спят, — объяснила она и улыбнулась: — А вас я не ждала так скоро. Но я сейчас закончу, еще немного осталось. — Она принялась снова шить, но через минуту подняла голову: — Не хотите закусить? Папа вчера пару зайцев подстрелил, хотите?

— С удовольствием, — Федор Иванович только теперь вспомнил, что с утра ничего не ел, и почувствовал голод.

Она принесла жареного мяса с картофелем, хлеб и чай. Сев к столу, Федор Иванович с аппетитом принялся за ужин, не переставая наблюдать за женщиной.

У неё было широкоскулое, некрасивое лицо, с большим ртом и приплюснутым носом. Но когда она говорила, она как будто улыбалась и от этой улыбки её некрасивое лицо мгновенно преображалось и становилось мягким и удивительно женственным. И глаза — несомненно, у неё красивые глаза. Глубокие, и такие спокойные, ясные. Добрые глаза, — подумал Федор Иванович, и добавил: лучистые, материнские.

Он словно с удивлением смотрел на то, чего давно не видел: в его комнате — женщина с шитьем, у швейной машины, и машинка стрекочет деловито и тоже спокойно, — он будто уже забыл о существовании женщин, не сидящих за пишущими машинками или с бумагами в руках. И опять новое или давно забытое чувство тепло и тревожно шевельнулось в груди Федора Ивановича.

— А ты и её не замечал, — снова упрекнул его кто-то в нем, но он даже не возразил.

Он припомнил, что иногда встречал эту женщину в коридоре, в передней. Она, кажется, вдова, у неё есть дети. Сколько ей может быть лет? Двадцать пять, тридцать?

— Что вы шьете? — прихлебывая чай, спросил он.

— А вот, детям, — улыбаясь, показала она детскую рубашку.

Взволнованный новым, непривычным ощущением, Федор Иванович медленно допил чай, закурил папиросу, встал и, стараясь ступать тихо, неслышно прошелся по комнате. Зашел за стол, остановился позади женщины, заглядывая на её быстрые и ловкие руки. И неожиданно для себя осторожно, ладонью, отвел от её лба мешавшую ей прядь волос.

Перестав шить, женщина повернула голову, немного запрокинув её. В её лучистых глазах, показалось Федору Ивановичу, он увидел не только удивление, но и смущение и как будто нежность. Тихонько обняв мягкие теплые плечи, он наклонился и крепко прижал губы к её вздрогнувшему полуоткрытому рту. . .

Когда она уснула, Федор Иванович еще долго смотрел на ставшее таким близким доверчиво прижавшееся к его груди лицо. Оно было спокойно и светилося тихим довольством. Ему казалось, что и сквозь закрытые веки она про-

должает смотреть на него ласковыми, блестящими глазами. Он благодарно улыбнулся ей, спящей, осторожно, боясь разбудить, нагнулся и прикоснулся губами к горячему виску. Потом откинул голову на подушку, еще раз обвел взглядом комнату и сознание его снова отметило, что всё хорошо, тихо и покойно у него на душе, — так, как и должно быть. И с этой мыслью уснул...

О Г Л А В Л Е Н И Е

О черки

На стыке двух эпох

Из воспоминаний

Глава первая — Второе рождение	9
„ вторая — Заем у леса	37
„ третья — Схема и люди	51
„ четвертая — Социализированная частная инициатива	71
„ пятая — Социализм есть учет	97
„ шестая — Мы — лесозаготовители	122
„ седьмая — Перед бурей	147
„ восьмая — Бегство из Москвы	176

Р а с с к а з ы

Под знойным небом	213
Тамара	245
При взятии Берлина	278
Два Севостьяна	286
Братья	293
Будет хорошо	309
Покой	320